

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж у р н а л

К Н И Г А

В О С Ь М Я

А В Г У С Т

М О С К В А
1 . 9 . 2 . 8

Москва. Главлит № А 17768.

21.000 экз.

Гипография „Известий ЦИК СССР и ВЦИК“, Страстная площ., Б. Путинковский пер., 5.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
1. МАКСИМ ГОРЬКИЙ.—Жизнь Клим Самгина, <i>роман</i> , продолжение:	5
2. А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.—Парки, <i>поэма</i>	55
3. Г. НИКИФОРОВ.—Запоздавшая весна, <i>рассказ</i>	66
4. ВС. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.—Парижские работницы, <i>стихотворение</i>	92
5. Г. ШЕНГЕЛИ.—Трудовые слова, <i>стихотворение</i>	93
6. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ.—Поэт и чернь, <i>повесть</i> , окончание.	95
7. А. ЧАЧИКОВ.—Конное, <i>стихотворение</i>	131
8. АЛЕКСЕЙ ПЛАТОНОВ.—Калоши, <i>рассказ</i>	132
9. М. ГЕРАСИМОВ.—На жарком пляже, <i>стихотворение</i>	142
10. А. МИНИХ.—Спичка, <i>стихотворение</i>	143
.	
11. М. БРАЗ.—Больные места спецства	144
12. И. ТАЙГИН.—Японский империализм и Китай	156
13. Ф. НЮРИНА.—Гримасы быта	166

ЛИТЕРАТУРА

14. А. ШАФИР.—Победитель или обреченный (О Яковлеве)	174
15. Г. ЯКУБОВСКИЙ.—О крестьянск. писателе Семене Под'ячеве.	180
16. А. ЛЕЖНЕВ.—Два молодых (О Панферове и Слетове).	183

СОВЕТСКАЯ ЗЕМЛЯ

17. Ф. МАЛОВ.—Середняк	189
----------------------------------	-----

ЗА ЧЕРТОЙ

18. Р. ДОРЖЕЛЕС.—В стране миражей	199
19. С. ВИНОГРАДСКАЯ.—Марсель	208

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
И. НУСИНОВ.—Д. Горбов «У нас и за рубежом»	214
Н. БОГОСЛОВСКИЙ. — Н. А. Крашенинников «Столп Огненный».	217
А. ЕФРЕМИН.—А. Караваева «Лесозавод» и «Голубая заводь».	218
А. Р. ПАЛЕЙ.—Н. Никитин «Обояньские повести».	219
В. КРАСИЛЬНИКОВ.—Ф. Гладков «Кровью сердца».	221
М. РУДЕРМАН.—О. Мандельштам «Стихотворения»	222
ВАЛ. ДЫННИК.—А. Завалишин «Пепел»	223

Жизнь Клима Самгина

Вторая часть трилогии „Сорок лет“

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

(Продолжение *).

Бывали минуты, когда Клим Самгин рассматривал себя, как иллюстрированную книгу, картинки которой были одноцветны, разнообразно неприятны, а объяснения к ним, не удовлетворяя, будили грустное чувство сиротства. Такие минуты он пережил, сидя в своей комнате, в темном уголке и тишине.

Он был крайне смущен внезапно вспыхнувшей обидой на отца, брата и чувствовал, что обида распространяется и на Айно. Он пытался посмотреть на себя, обидевшегося, как на человека не знакомого и стесняющего, пытался отнестись к обиде иронически.

— Мелочно это и глупо, — думал он и думал, что две, три тысячи рублей были бы не лишними для него и что он тоже мог бы поехать за границу.

Обида ощущалась, как опухоль, где-то в горле и все твердела.

— Разумеется, суть не в деньгах...

Вспомнилось, как назойливо возился с ним, как его отягощала любовь отца, как равнодушно и отец и мать относились к Дмитрию. Он даже вообразил мягкую, не тяжелую руку отца на голове своей, на шее и встряхнул головой. Вспомнилось, как отец и брат плакали в саду якобы о «Русских женщинах» Некрасова. Возникали в памяти бессмысленные, серые как пепел, холодные слова:

— Семья — основа государства. Кровное родство. Уже лет десяти я чувствовал отца чужим... т.-е. не чужим, а — человеком, который мешает мне. Играет мною, — размышлял Самгин, не совсем ясно понимая: себя оправдывает он или отца?

Покручивая бородку, он осматривал стены комнаты, выкрашенные в неопределенный, тусклый тон; против него на стене висел этюд маслом, написанный резко, сильными мазками: сочно-синее небо и зеленоватая волна, пенясь, опрокидывается на оранжевый песок.

— В сущности, уют этих комнат холоден и жестковат. В Москве, у Варвары, теплее, мягче. Надобно ехать домой. Сегодня же. А те-

*) См. «Новый Мир», №№ 5, 6 и 7 с. г.

они поднимут разговор о завещании. Великодушный разговор, конечно. Да, домой...

Он выпрямился, поправил очки. Потом представил мать с лиловым, напудренным лицом, обиженную тем, что постарела раньше, чем перестала чувствовать себя женщиной, Варавку, круглого, как бочка...

— Поживу в Петербурге с неделю. Потом еще куда-нибудь с'езжу. А этим скажу: получил телеграмму. Айно узнает, что телеграммы не было. Ну, и пусть знает.

Но затем он решил сказать, что получил телеграмму на улице, когда выходил из дома. И пошел гулять, а за обедом объявил, что уезжает. Он видел, что Дмитрий поверил ему, а хозяйка, нахмурилась, заговорила о завещании.

— Не вижу никаких оснований изменять волю отца, — решительно ответил он.

Айно молча пожала плечами.

После обеда в комнате Клима у стены столбом стоял Дмитрий, шевелил пальцами в карманах брюк и, глядя под ноги себе, неумело пытался выяснить что-то.

— Знаешь, это — дьявольски неловко. Ты верно сказал о беззаконии симпатий. Дурацкая позиция у меня.

Клим чувствовал, что брат искренно и глубоко смущен.

— Тем хуже для него.

Айно простилась с Климом сухо и отчужденно; Дмитрий хотел проводить брата на вокзал, но зацепился ногою за медную бляшку чемодана и разорвал брюки.

— Ой, — сказала Айно. — Как вы пойдете? Есть у вас другие брюки? Нет? Вам нельзя итти на вокзал!

Самгин младший был доволен, что брат не может проводить его, но подумал:

— Она не хочет этого. Хитрая баба. Ловко устроилась.

Уезжая, он чувствовал себя в мелких мыслях, но находил, что эти мысли, навязанные ему извне, насильно и вообще, всегда, недостойные его, на сей раз обещают сложиться в какое-то определенное решение. Но, так как всякое решение есть самоограничение, Клим не спешил выяснить его.

В Петербурге он узнал, что Марина с теткой уехали в Гапсаль. Он прожил в столице несколько суток, остро испытывая раздражающую неустроенность жизни. Днем по улицам летала пыль строительных работ, на Невском рабочие расковыривали торцы мостовой, наполняя город запахом гнилого дерева; весь город казался вспотевшим. Белые ночи возмутили Самгина своей нелепостью и угрозой сделать нормального человека неврастеником; было похоже, что в воздухе носится все тот же гнилой осенний туман, но высохший до состояния прозрачной и раздражающе светящейся пыли.

Ночные женщины кошмарно навязчивы, фантастичны, каждая из них обещает наградить прогрессивным параличем, а одна — высокая, тощая, в невероятной шляпе, из-под которой торчал большой, мертвенно-серый нос, — долго шла рядом с Климом, нашептывая:

— Идешь, студент? Ну? Коллега?

Потом она стала мурлыкать в ухо ему:

«Милый мой,
Пойдем со мной...»

А когда он пригрозил, что позовет полицейского, она, круто свернув с панели, не спеша и какой-то размышляющей походкой пошла мостовую и скрылась за монументом Екатерины Великой. Самгин подумал, что монумент похож на Царь-колокол, а Петербург не похож на русский город.

— Мне нужно переместиться, переменить среду, нужно встать ближе к простым, нормальным людям, — думал Клим Самгин, сидя в вагоне по дороге в Москву, и ему показалось, что он принял твердое решение.

Предполагая на другой же день отправиться домой, с вокзала он проехал к Варваре, не потому, что хотел видеть ее, а для того, чтоб строго внушить Сомовой: она не имеет права сажать ему на шею таких суб'ектов, как Долганов, человек, несомненно, из того угла, набитого невероятным и уродливым, откуда вылезают Лютовы, Дьякона, Диомидовы и вообще люди с вывихнутыми мозгами.

Необ'ятная и недоступная воздействию времени Анфимьевна, встретив его с радостью, которой она была богата, как сосна смолою, об'явила ему с негодованием, что Варвара уехала в Кострому.

— Актеришки увезли ее играть, — а чего там играть? Деньгами ее играть будут, вот она, игра!

И вытирая фартуком лицо свое, цвета корки пшеничного хлеба, она посоветовала, осудительно причмокивая:

— Женился бы ты на ней, Клим Иваныч, что уж, право! Тянешь, тянешь, а девушка мотается, как собачка на цепочке. Ох, какой ты терпеливый на сердечное дело!

С ловкостью, удивительной в ее тяжелом теле, готовя посуду к чаю, поблескивая маленькими глазками, круглыми, как бусы, и мутными, точно лампадное масло, она горевала:

— Тоже, вот, и Любаша: уж как ей хочется, чтобы всем было хорошо, что уж я не знаю, как! Опять дома не ночевала, а наемни прихожу я утром будить ее — сидит в кресле, спит, один башмак снят, а другой и снять не успела, как сон ее свалил. Люди к ней так и ходят, так и ходят, а женишка-то все нет, да нет! Вчуже обидно, право: девушка сочная, как лимончик...

Добродушная преданность людям и материнское огорчение Анфимьевны, вкусно сваренный ею кофе, комнаты, напитанные сложным запахом старого, устойчивого жилья, все это настроило Самгина

тоже благодушно. Он вспомнил Таню Куликову, няньку, баушку Дронова, нянек Пушкина и других больших русских людей.

— Вот об этих русских женщинах Некрасов забыл написать. И никто не написал как значительна их роль в деле воспитания русской души, а, может быть, они прививали народолюбие больше, чем книги людей, воспитанных ими, и более здоровое, — задумался он. — «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», — это красиво, но полезнее войти в будничную жизнь вот так глубоко, как входят эти, простые, самоотверженно очищающие жизнь от пыли, сора.

Мысль эта показалась ему очень оригинальной, углубила его ощущение родственности окружающему, он тотчас записал ее в книжку своих заметок и удовлетворенно подумал:

— Да, здесь потеплее Финляндии!

Просмотрел несколько номеров «Русских Ведомостей», незаметно уснул на диване и был разбужен Любашей:

— Что ты спишь среди дня! — кричала она кольцовским стихом, дергая его за руку.

Она расслабленно сидела на стуле у дивана, вытянув коротенькие ножки в пыльных ботинках, ее лицо празднично сияло, она обмахивалась платком, отклеивала пальцами волосы, прилипшие к потным вискам, развязывала синенький галстук и говорила ликующим голосом:

— Клим, голубчик! Знаешь, — вышел «Манифест российской с.-д. партии». Замечательно написан! Нет, ты подумай, — у нас — партия!

— У кого это, у нас? — спросил Клим, надевая очки.

— Ну, господи! У нас, в России! Ты пойми: ведь это значит — конец спорам и дразгам, каждый знает, что ему делать, куда идти. Там прямо сказано о необходимости политической борьбы, о преемственной связи с народниками, — понимаешь?

От восторга она потела все обильнее. Сорвав галстук, расстегнула ворот кофточки:

— Задыхаюсь!

И сопровождая слова жестами марионетки, она стала цитировать «Манифест», а Самгин вдруг вспомнил, что когда в селе поднимали колокол, он, удрученно идя на дачу, заметил молодую растерянную бабу или девицу с лицом полуумной; стоя на коленях и крестясь на церковь, она кричала фабриканту бутылок:

— Господи! Дай тебе господи! Пошли тебе господи!

Найдя в Любаше сходство с этой бабой, Самгин невольно рассмеялся и этим усилил ее радость, — похлопывая его по колену пухлой лапкой, она вскрикивала:

— Неправда ли? Главное: хорошие люди перестанут злиться друг на друга, и — все за живое дело!

Самгин тихонько ударил ее по руке, хотя желал бы ударить сильнее.

— О «Манифесте» ты мне расскажешь после, а теперь...

— Варвара?—спросила она.—Представь, поехала играть; хочу, говорит, проверить себя...

— Я — не о ней. Актриса она — не более, чем ты и всякая другая женщина.

Любаша показала ему язык.

— Дурачек ты, а не скептик! Она — от тоски по тебе, а ты... какой жестокосердный Ловелас! И чего ты зазнаешься, не понимаю? А, знаешь, Лида отправилась, — тоже с компанией, в Заволжье, на Керженец. Писала, что познакомилась с каким-то Берендеевым, он исследует сектантство. Она — то же, от скуки все это. Анти-социальная натура, во что... Анфимьевна, мать родная, дайте чего-нибудь холодного!

— Не дам холодного, — сурово ответила Анфимьевна, входя с охапкой стираного белья. — Сначала поесть надо, после — молока принесу, со льда...

Самгин не находил минуты, чтобы сделать выговор, да уже и не очень хотел этого, забавное возбуждение Любаши несколько примирало с нею.

— Да, забыла сказать, — снова обратилась она к Самгину. — Маракуев получил год «Крестов». Ипатьевский признан душевнобольным и выслан на родину, в Дмитров, рабочие сидят, за исключением Сапожникова, о котором есть сведения, что он болтал. Впрочем, еще один выслан на родину, Одинцов.

Вскочив со стула, она пошла к двери.

— Переоденусь, пока не растаяла.

Но в дверях круто повернулась и, схватясь за голову, пропела:

— Ой, Климуша, с каким я марксистом познакомилась! Это, я тебе скажу... ух! Голос бархатный. И, понимаешь, точно корабль плавает... эдакий — на всех парусах! И — до того все в нем определенно... Ты смеешься? Глупо. Я тебе скажу: такие, как он, делают историю. Он... на Желябова похож, да!

Исчезая, она еще раз повторила через плечо:

— Да!

Самгин чувствовал себя несколько засоренным ее новостями. «Манифест» возбуждал в нем острое любопытство.

— Вероятно, какая-нибудь домашняя стряпня студентов. Надобно сходить к Прейсу.

И, вспомнив неумеренную радость Любаши, брезгливо подумал, что это объясняется, конечно, голодом ее толстенького тела, возбужденного надеждой на бархатного марксиста.

— Все-таки я ее проберу.

Она снова явилась в двери, кутая плечи и грудь полотенцем, бросила на стол два письма:

— Давно уже получены.

В одном письме мать доказывала необходимость с'ездить в Финляндию. Климу показалось, что письмо написано в тоне обиды на отца

за то, что он болен, и, в то же время с полным убеждением, что отец должен был заболеть опасно. В конце письма одна фраза заставила Клима усмехнуться:

«Я не думаю, что Иван Акимович оставил завещание, это было бы не в его характере. Но если б ты захотел, — от своего имени и от имени брата, — ознакомиться с имущественным положением И. А., Тимофей Степанович рекомендует тебе хорошего адвоката». Дальше следовал адрес известного цивилиста.

Второе письмо было существеннее.

«Пишу в М., так как ты все еще не прислал адрес гостиницы в Выборге, где остановился. Я очень расстроена. На долю Елизаветы Львовны выпала роль героини крупного скандала, который, вероятно, кончится судом и тюрьмой для известного тебе Инокова. Он взбесился и у нас, во дворе изувечил регента архиерейского хора, который помогал Лизе в ее работе по «О-ву любителей хорового пения» и, кажется, немножко ухаживал за нею. Она не отрицает этого, говоря, что нет мужчины, который не ухаживал бы за женщинами. Она, конечно, очень взволнована, но из самолюбия скрывает это. В дело вмешался владыка Иоасаф, и это может иметь для Инокова роковое значение. Он правдив до глупости, не хочет, чтоб его защищали, и утверждает, что регент запугивал Лизу угрозами донести на нее, — она, будто бы, говорила хористам, среди которых много приказчиков и ремесленников, что-то политическое. Но, зная Лизу, я, конечно, не допускаю ничего подобного. Тут всего хуже то, что Иноков не понимает, как он повредил моей школе. Лиза удивляет меня: как можно было допустить, чтоб влюбился мальчишка? У нее какое-то ненормальное любопытство к людям, очень опасное в наше время. Ты совершенно правильно писал, что время становится все более тревожным и что вполне естественно, если власти, охраняя порядок, действуют несколько бесцеремонно».

О порядке и необходимости защищать его было написано еще много, но Самгин не успел дочитать письма, — в прихожей кто-то закашлял, плюнул и на пороге явился маленький человечек:

— Можно?

— Пожалуйста.

— Сомова дома?

— Я сию минуту, — крикнула Любаша, приоткрыв свою дверь.

Человек передвинулся в полосу света из окна и пошел на Самгина, глядя в лицо его так требовательно, что Самгин встал и назвал свою фамилию, сообразив:

— Очевидно — «об'ясняющий господин».

— Так, — сказал гость, положил на ладонь Климу сухую холодную руку и, ожидая пожатия, спросил: — Вы не родственник ли Якову Акимовичу?

— Это дядя мой.

— Ага. Я с ним сидел в саратовской тюрьме.

— Помер он.

— Совершенно верно. При мне.

Человек сел на стул против Клима. Несколько секунд посмотрев на него смущающим взглядом мышиных глаз, он пересел на диван и снова стал присматриваться, как художник к натуре, с которой он хочет писать портрет. Был он ниже среднего роста, очень худенький, в блузе цвета осенних туч и похожей на блузу Льва Толстого; он обладал лицом подростка, у которого преждевременно вырос седоватый клинушек бороды; его черненькие глазки неприятно всасывали Клима, лицо украшал остренький нос и почти безгубый ротик, прикрытый белой щетиной негустых усов.

— Здешнего университета?

— Да.

— Юрист, — утвердительно сказал человек, снова пересел к столу, вынул из кармана кожаный мешочек, книжку папиросной бумаги и, фабрикуя папиросу, сообщил: — Юриста от естественника сразу отличишь.

— Каждый из них так или иначе подчеркивает себя, — сердито подумал Самгин, хотя и видел, что в данном случае человек подчеркнут самой природой. В столовую вкатилась Любаша, вся в белом, точно одетая к причастью, но в ночных туфлях на босую ногу.

— Ну, что, дядя Миша?

— Не согласен, — сказал тот, отрицательно покачав головой.

— Ах, трусишка! — воскликнула Любаша, жестоко дернув себя за косу, сморщила лицо от боли и спросила:

— Значит, будет так, как предлагали вы?

— Именно, — тихо, но твердо ответил дядя Миша и с наслаждением пустил в потолок длинную струю дыма, а Любаша обратилась к Самгину:

— Вот дядя Миша хорошо знал Ипатьевского.

— Сына и отца, обоих, — поправил дядя Миша, подняв палец.

— С сыном я во Владимире в тюрьме сидел. Умный был паренек, но — нетерпим и заносчив. Философствовал излишне... как все семинаристы. Отец же — обыкновенный неудачник духовного звания и алкоголик. Такие, как он, на конце дней становятся странниками, бродягами по монастырям, питаются от богобоязненных купчих и сеют в народе различную ерунду.

Голосок у дяди Миши был тихий, но неистощимый и светленький, как подземный ключ, бесконечные годы источающий холодную и чистую воду.

Нетерпеливо притопывая ногою, Сомова спросила:

— Прочитали «Манифест»?

— Ну, и — что?

— Событие весьма крупное, — ответил дядя Миша, но тоненькие губы его с'ежились так, как-будто он хотел свистнуть. — Может быть даже историческое событие...

— Конечно!..

— Жаль, написана бумажка щеголевато и слишком премудро для рабочего народа. И затем модное преклонение пред экономической наукой. Разумеется,—наука есть наука, но следует помнить, что Томас Гоббэс сказал: наука — знание условное, безусловное же знание дается чувством. Переполнение головы плохо влияет на сердце. Михайловский очень хорошо доказал это на Герберте Спенсере...

Любаша бесцеремонно прервала эту речь, предложив дяде Мише покушать. Он молча согласился, сел к столу, взял кусок ржаного хлеба, налил стакан молока, но затем встал и пошел по комнате, отыскивая куда сунуть окурки папиросы. Эти поиски тотчас упростили его в глазах Самгина, он уже не мало видел людей, жизнь которых стесняют окурки и разные иные мелочи, стесняют, разоблачая в них обыкновенное человечье и будничное.

В столовую влез как-то боком, точно в трамвай, человек среднего роста, плотный, чернородый, с влажными глазами и недовольным лицом.

— Пимен Гусаров, — назвала его Любаша. Он дважды кивнул головой и, положив пред Сомовой пачку журналов, сказал металлическим голосом:

— Страницы указаны на обложках.

Он тоже сразу заговорил о «Манифесте», но—сердито.

— Давно пора. У нас все разговаривают о том, как надобно думать, тогда как говорить надо о том, что следует делать.

Дядя Миша согласно наклонил голову, но это не удовлетворило Гусарова, он продолжал все так же сердито.

— Либеральные старички в журналах все еще стонут и шепчут: «так жить нельзя», а наше поколение уже решило вопрос как и для чего надо жить.

— Вы — марксист? — спросил Клим.

— Гусаров взглянул на него одним глазом и отвернулся, уставясь в тарелку.

— Я — смешанных воззрений. Роль экономического фактора — признаю, но и роль личности в истории—тоже. Потом — материализм: как его ни толкуйте, а это учение пессимистическое, революции же всегда делались оптимистами. Без социального идеализма, без пафоса любви к людям революции не создашь, а пафосом материализма будет цинизм.

Говорил он мрачно, решительно, очень ударяя на о и переволя угрюмые глаза с дяди Миши на Сомову, с нее на Клима. Клим подумал, что возражать этому человеку не следует, он, пожалуй, начнет ругаться, но все-таки попробовал осторожно спросить его по поводу цинизма; Гусаров грубовато буркнул:

— Эристикой не занимаюсь. Я изъявил мои взгляды, а вы,—как хотите. Прежде всего надо самодержавие уничтожить, а там разберемся.

Любаша смотрела на него неласковыми глазами; дядя Миша, одобрительно покачивая редковолосой, сивой головой, чистил шпилькой мундштук, Гусаров начал быстро кушать малину с молоком, но морщился так, как будто глотал уксус. Губы у него были яркие, кожа лица и шеи бескровно белая и как бы напудренная там, где она не заросла густым волосом, блестящим, как перо грача. Костюм табачного цвета был узок ему, двигался Гусаров осторожно, его накрахмаленная рубашка поскрипывала, он совал руку за пазуху, дергал там подтяжки и они громко щелкали по крахмалу. Скушав две тарелки малины, он вытер губы, бороду платком, встал, взглянул в зеркало и ушел так же неожиданно, как явился.

— Добротный парень, — похвалил его дядя Миша, а у Самгина осталось впечатление, что Гусаров только-что приехал откуда-то издалека, по важному делу, — может быть венчаться с любимой девушкой или ловить убежавшую жену, приехал, зашел в отделение, где хранят багаж, бросил его и помчался к своему счастью или к драме своей.

Вскоре ушел и дядя Миша, крепко пожав руку Самгина, благосклонно улынувшись; в прихожей он сказал Любаше:

— Ну, ну, — не надо торопиться!

Проводив его, Сомова начала рассказывать:

— Кто такой дядя Миша, ты, конечно, знаешь...

Самгин не знал, но почему-то пошевелил бровями так, как будто о дяде Мише излишне говорить; Гусаров оказался блудным сыном богатого подрядчика малярных и кровельных работ, от отца ушел еще будучи в шестом классе гимназии, учился в Казанском Институте ветеринарии, был изгнан со второго курса, служил приказчиком в богатом поместье Тамбовской губернии, матросом на волжских пароходах, а теперь без работы, но ему обещано место табельщика на заводе.

— Говорят, он замечательный пропагандист. Но мне не нравится, — он груб, самолюбив, и ты обратил внимание, какие у него широкие зубы? Точно клавиши гармоники.

— Он, кажется, глуп? — спросил Самгин.

— Нет, это у него от самолюбия, — объяснила Любаша. — Но кто симпатичен, так это Долганов, — понравился тебе? Ой, Клим, сколько новых людей! Жизнь...

Клим досказал:

— Выбрасывает негодных, ненужных, и вот они плуτούν из дома в дом...

Это было его предисловие к выговору Любаше, но она, взглянув на часы, испуганно схватилась за голову.

— Ой, опаздываю! Мне — в Петровский парк, — бегу, бегу!

И убежала, оставив в дверях свалившуюся с ноги туфлю.

Самгин походил по комнате в мелких мыслях о матери, Инокове, Спивак, но все это было далеко от него, неинтересно, тревожил во-

прос: что это за «Манифест»? Неужели возможна серьезная политическая партия, которая способна будет организовать интеллигенцию, взять в свои руки студенческое и рабочее движение и отместить прочь болтунов, истериков, анархистов? В партии культурных людей и он нашел бы место себе. Он отправился к Прейсу, но там Казя весело сообщила ему, что Борис Викторович уехал за границу. Самгин зашел в ресторан, поел, затем часа два просидел в опереточном театре, где было скучно и бездарно. Домой он возвратился около полуночи. Анфимьевна сказала ему, что Любаша недавно пришла, но уже спит. Он тоже лег спать и во сне увидел себя сидящим на эстраде, в темном и пустом зале, но из темной пустоты кто-то внушительно кричит ему:

— Извольте встать!

Встать он не мог, на нем какое-то широкое тяжелое одеяние; тогда голос налетел на него, как ветер, встряхнул и дунул прямо в ухо:

— Встаньте!

Самгин проснулся, вскочил.

— Ваша фамилия? — спросил его жандармский офицер и, отступив от кровати на шаг, встал рядом с человеком в судейском мундире; с бока от них стоял молодой солдат, подняв руки со свечей без подсвечника, освещая лицо Клима, дверь в столовую закрывала фигура другого жандарма.

— Ваша фамилия? — строго повторил офицер, молодой, с лицом очень бледным и сверкающими глазами. Самгин нащупал очки и, вздохнув, назвал себя.

— Как? — недоверчиво спросил офицер и потребовал документы; Клима, взяв тужурку, долго не мог найти кармана, наконец, нашел, вынул из кармана все, что было в нем, и молча подал жандарму.

— Свети! — приказал тот солдату, развертывая бумаги. В столовой зажгли лампу и чей-то тихий голос сказал:

— Сюда.

Потом звонко и дерзко спросила Любаша:

— Что это значит?

— Обыск, — ответил тихий голос и тоже спросил: — Вы — Варвара Антропова?

— Я — Любовь Сомова.

— А где же хозяйка квартиры?

— И дома, — хрипло произнес кто-то.

— Что?

— И домохозяйка. Как я докладывал — уехала в Кострому.

— Кто еще живет в этой квартире?

— Никого, — сердито ответила Любаша.

Самгин, одеваясь, заметил, что офицер и чиновник переглянулись, затем офицер, хлопнув по своей ладони бумагами Клима, спросил:

— Давно квартируете здесь?

— Остановился на сутки проездом из Финляндии.

Офицер наклонился к нему:

— Из... откуда?

— Из Выборга. Был и в других городах.

Чиновник усмехнулся и, покручивая усы, вышел в столовую, офицер, отступив в сторону, указал пальцем в затылок его и предложил Климу:

— Пожалуйте.

В столовой, у стола, сидел другой офицер, небольшого роста, с темным лицом, остроносый, лысоватый, в седой щетине на черепе и верхней губе, человек очень пехотного вида, мундир его вздулся на спине горбом, воротник наехал на затылок. Он перелистывал тетрадки и, когда вошел Клим, спросил, взглянув на него плоскими глазами:

— Это что-то театральное?

И снова наклонясь над столом, сказал сам себе:

— Лекции.

Он взглянул на Любашу, сидевшую в углу дивана с надутым и обиженным лицом. Ад'ютант положил перед ним бумаги Климa, наклонился и несколько секунд шептал в серое ухо. Начальник, остановив его движением руки, спросил Климa:

— Вы из Финляндии? Когда?

— Сегодня утром.

— А зачем ездили туда?

— Хоронить отца.

Офицер встал, кашлянул и пошел в комнату, где спал Самгин, ад'ютант и чиновник последовали за ним, чиновник шел сзади, выдерживая из усов ехидные улыбочки и гримасы. Они плотно прикрыли за собою дверь, а Самгин подумал:

— Вот и я буду принужден сопровождать жандармов при обысках и брезгливо улыбаться.

Он понимал, что обыск не касается его, чувствовал себя спокойно, полусонно. У двери в прихожую сидел полицейский чиновник, поставив шашку между ног и сложив на эфесе очень красные кисти рук, дверь закупоривали двое неподвижных понятых. В комнатах, позванивая шпорами, рылись жандармы, передвигая мебель, снимая рамки со стен; во всем этом для Самгина не было ничего нового.

— Чорт знает, что такое! — вдруг вскричала Сомова; он отошел подальше от нее, сел на стул, а она потребовала громко:

— Полицейский, скажите, чтобы мне принесли пить!

Не шевелясь, полицейский хрипло приказал кому-то за дверью.

— Скажи, Петров.

Через минуту вошла с графином воды на подносе Анфимьевна; Сомова, наливая воду в стакан, высоко подняла графин, и Клим слышал, как она что-то шепчет сквозь бульканье воды. Он испуганно оглянулся.

— Наскандалит она...

Из двери выглянул ад'ютант, спросил:

— Телефон есть в квартире?

— Ищите, — ответила Любаша, прежде чем один из жандармов успел сказать:

— Никак нет, ваше благородие!

Анфимьевна ушла, в дверях слепо наткнулась на понятых и проворчала:

— Не видите, — с посудой иду!

А посуды в руках ее не было.

К удивлению Самгина все это кончилось для него не так, как он ожидал. Седой жандарм и товарищ прокурора вышли в столовую с видом людей, которые поссорились; ад'ютант сел к столу и начал писать, судейский, остановясь у окна, повернулся спиною ко всему, что происходило в комнате. Но седой подошел к Любаше и негромко сказал:

— Прошу вас одеться.

Она встала, пошла в свою комнату, шагая слишком твердо, жандарм посмотрел вслед ей и обратился к Самгину:

— И вас прошу.

Часа через полтора Самгин шагал по улице, следуя за одним из понятых, который покачивался впереди него, а сзади позванивал шпорами жандарм. Небо на востоке уже предрассветно зеленело, но город еще спал, окутанный теплой душноватой тьмой. Самгин немножко любовался своим спокойствием, хотя было обидно итти по пустым улицам за человеком, который, сунув руки в карманы пальто, шагал бесшумно, как бы не касаясь земли ногами, точно он себя нес на руках, охватив ими бедра свои.

-- Вот и я привлечен к отбыванию тюремной повинности, — думал он, чувствуя себя немножко героем и не сомневаясь, что арест этот — ошибка, в чем его убеждало и поведение товарища прокурора. Шли переулками, в одном из них шагов на пять впереди Самгина открылась дверь крыльца, на улицу вышла женщина в широкой шляпе, сером пальто, невидимый мужчина, закрывая дверь, сказал:

— Так уж вы не забудьте...

Женщина шагнула встречу Климу, он посторонился и, узнав в ней знакомую Лютова, заметил, что она тоже как будто узнала его.

— Завтра будет известно, что я арестован, — подумал он не без гордости. — С нею говорили на вы, значит это конспирация, а не роман.

Он очень удивился, увидав, что его привели не в полицейскую часть, как он ожидал, а, очевидно, в Жандармское Управление, в маленькую комнату полуподвального этажа: ее окно снаружи перекрещивала железная решетка, нижние стекла упирались в кирпичи ямы, верхние показывали квадратный кусок розоватого неба.

— Переменил среду, — подумал Самгин, усмехаясь и чувствуя себя разбитым усталостью, тотчас же разделся и лег спать. Проснулся около полудня, сообразив время по тому, как жарко в комнате. Стены ее были многократно крашены и все-таки исчерчены царапинами стертых

надписей. Стоял запах карболовой кислоты и плесени. Его пробуждения, очевидно, ждали, щелкнула задвижка, дверь открылась и потерявший старый жандарм ласково предложил ему умыться. Потом дали чаю, как в трактире: два чайника, половину французской булки, кусок лимона и четыре куска сахара. Выпив чаю, он стал дожидаться, когда его позовут на допрос; настроение его не падало, но на допрос не позвали, а принесли обед из ресторана, остывший, однако, вкусный. Первый день прошел довольно быстро, второй оказался длиннее, но короче третьего, и так, нарушая законы движения земли вокруг солнца, дни становились все длиннее, каждый день усиливал бессмысленную скуку, обнажал пустоту в душе и, в пустоте, обиду, которая хотя и возрастала день ото дня, но побороть скуку не могла. В доме стояла монастырская тишина, изредка за дверью позванивали шпоры, доносились ворчливые голоса и только один раз ухо Самгина поймало укоризненную фразу:

— Да не Оси-лин, дурак, а — Оси-нин! Не — люди, а — наш...

Только на одиннадцатый день вахмистр, обильно декорированный медалями, открыв дверь, уничтожающим взглядом измерил Самгина и, выправив из-под седой бороды большую золотую медаль, командовал:

— Пожалуйте.

Через минуту Самгин имел основание думать, что должно повториться уже испытанное им: он сидел в кабинете у стола, лицом к свету, против него, за столом, помещался офицер, только обстановка кабинета была не такой домашней, как у полковника Попова, а — серьезнее, казенней. Офицер показался Климу более молодцеватым, чем он был на обыске. Лицо у него было темное, как бывает у белокожих северян, долго живших на юге, глаза ясные, даже как будто веселые. Никакой особенной черты в этом лице типично военного человека Самгин не заметил и это очень успокоило его. Жандарм благодушно спросил:

— Скучали?

— Немножко, — сознался Самгин. — Чему я обязан...

Но не дав ему договорить, жандарм пожаловался на отсутствие дождей, на духоту, осведомился:

— Курите?

И вдруг, положив локти на стол, сжав пальцы горкой, спросил вполголоса:

— Ну-с, так как же?

Самгин помолчал, но, не дождавшись объяснения вопроса, тоже спросил:

— Вы — о чем?

— О вас.

Офицер вскинул голову, вытянул ноги под стол, а руки спрятал в карманы, на лице его явилось выражение недоумевающее. Потянув воздух носом, он крякнул и заговорил негромко, размышляющим тоном.

— По долгу службы я ознакомился с письмами вашей почтенной родительницы, прочитал заметки ваши—не все еще! — и, признаюсь, удивлен! Как это выходит, что вы, человек, рассуждающий наедине с самим собою здраво и солидно, уже второй раз попадаете в сферу действий офицеров жандармских управлений?

— Вам это известно,—ответил Самгин, улыбаясь, но тотчас же сообразил, что ответ неосторожен, а улыбаться—не следовало.

— Факты—знаю, но—мотивы? Мотивчики-то не понятны! — сказал жандарм, вынул руки из карманов, взял со стола ножницы и щелкнул ими.

— Вот что-с,—продолжал он, прихмутив брови,—мне известно, что некоторые мои товарищи, имея дела со студенчеством, употребляют прием, так сказать, отеческих внушений, соболезнают, уговаривают и, вообще, сентиментальничают. Я—не из таких,—сказал он и, держа ножницы под столом, начал отстригать однозвучно сухие слова:—Я, по совести, делаю, любимое, мною, дело, охраны государственного порядка, и если я вижу, что данное лицо — враждебно порядку, я его не щажу! Нет-с, человек— существо разумное, и если он заслужил наказание, я сделаю все для того, чтобы он был достойно наказан. Иногда полезно наказать и сверх заслуг, авансом, в счет будущего. Вы понимаете?

Самгин едва удержался, чтобы не сказать—да!—и сказал:

— Я слушаю.

Офицер снова громче щелкнул ножницами и швырнул их на стол. а глаза его, потеряв естественную форму, расширились, стали как будто плоскими.

— Так как же это выходит, что вы, рискуя карьерой, вращаетесь среди людей, политически неблагонадежных, антипатичных вам...

— Из моих записок вы не могли вынести этого,—торопливо сказал Самгин, присматриваясь к жандарму.

— Чего я не мог вынести?—спросил жандарм.

— Клим не ответил; тонко развитое в нем чувство недоверия к людям подсказывало ему, что жандарм вовсе не так страшен, каким он рисует себя.

— Ведь не ведете же вы ваши записки для отвода глаз, как говорится!—воскликнул офицер.—В них совершенно ясно выражено ваше отрицательное отношение к политиканам, и, хотя вы не называете имен, мне ведь известно, что вы посещали кружок Маракуева...

— Вы не можете сказать, что я член этого кружка или что мои воззрения...

— Нам известно о вас многое, вероятно,—все!—перебил жандарм, а Самгин, снова чувствуя, что сказал лишнее, мысленно одобрил жандарма за то, что он помешал ему. Теперь он видел, что лицо офицера так необыкновенно подвижно, как будто основой для мускулов его служили не кости, а хрящи: оно, потемнев еще более, все сдвину-

лось к носу, заострилось и было бы смешным, если б глаза не смотрели тяжело и строго. Он продолжал, возвысив голос:

— И этого вполне достаточно, чтобы лишить вас права прохождения университетского курса и выслать из Москвы на родину под надзор полиции.

Замолчав, он медленно распустил хрящи и мускулы лица, выкатил глаза и чмокнул.

— Но власть—гуманна, не в ее намерениях увеличивать количество людей, не умеющих устроиться в жизни, и тем самым пополнять кадры озлобленных личными неудачами, каковы все революционеры.

Щелкнув ножницами, он покосился на листок бумаги, постучал по ней пальцем:

— Вот, вы пишете: «Двух станов не боец», я не имею желания быть даже и «случайным гостем» ни одного из них»,—позиция совершенно невозможная в наше время! Запись эта противоречит другой, где вы рисуете симпатичнейший образ старика Козлова, восхищаясь его знанием России, любовью к ней. Любовь, как вера, без дел—мертва!

И снова собрав лицо клином, он именно отеческим тоном стал уговаривать:

— Нет, вам надо решить: мы или они?

«Не умен»,—мельком подумал Самгин.

— Мы,—это те силы России, которые создали ее международное блестящее положение, ее внутреннюю красоту и своеобразную культуру.

В этом, отеческом, тоне он долго рассказывал о деятельности крестьянского банка, переселенческого управления, церковно-приходских школ, о росте промышленности, требующей все более рабочих рук, о том, что правительство должно вмешаться в отношения работодателей и рабочих; вот оно уже сократило рабочий день, ввело фабрично-заводскую инспекцию, в проекте — больничные и страховые кассы.

— Могу вас заверить, что власть не позволит превратить экономическое движение в политическое, нет-с! — горячо воскликнул он и, глядя в глаза Самгина, второй раз спросил:

— Так, — как же-с, а?

— Не понимаю вопроса, — сказал Клим. Он чувствовал себя умнее жандарма, и поэтому жандарм нравился ему своей прямолинейностью, убежденностью и даже физически был приятен, такой крепкий, стремительный.

— Не понимаете? — спросил он, и его светлые глаза снова стали плоскими. — А понять — просто: я предлагаю вам активно выразить ваши подлинные симпатии, решительно встать на сторону правопорядка... ну-с?

Этого Самгин не ожидал, но и не почувствовал себя особенно смущенным или обиженным. Пожав плечами, он молча усмехнулся, а

жандарм, разрезав ножницами воздух, ткнул ими в бумаги на столе и, опираясь на них, привстал, наклонился к Самгину, тихо говоря:

— Я предлагаю вам быть моим осведомителем... стойте, стойте! — воскликнул он, видя, что Самгин тоже встал со стула.

— Вы меня оскорбляете, — сказал Клим очень спокойно. — В шпионы я не пойду.

— Ничего подобного я не предлагал! — обиженно воскликнул офицер. — Я понимаю, с кем говорю. Что за мысль! Что такое шпион? При каждом посольстве есть вденный агент, вы его назовете шпионом? Поэму Мицкевича «Конрад Валленрод» читали? — торопливо говорил он. — Я вам не предлагаю платной службы; я говорю о вашем сотрудничестве добровольном, идейном.

Он сел и, продолжая фехтовать ножницами с ловкостью парикмахера, продолжал тихо и мягко:

— Нам необходимы интеллигентные и осведомленные в ходе революционной мысли, — мысли, заметьте! — информаторы, необходимы не столько для борьбы против врагов порядка, сколько из желания быть справедливыми, избегать ошибок, безошибочно отделять овец от козлиц. В студенческом движении страдали немало юношей случайно...

Самгин тоже сел, у него задрожали ноги, он уже чувствовал себя испуганным. Он слышал, что жандарм говорит о «Манифесте», о том, что народники мечтают о тактике народовольцев, что во всем этом трудно разобраться, не имея точных сведений, насколько это — слова, насколько — дела, а разобраться нужно для охраны юношества, пылкого и романтического или безвольного, политически малограмотного.

— Так, — как же, а? — снова услышал он вопрос, должно быть, привычный языку жандарма.

— На это я не пойду, — ответил Самгин, спокойно, как только мог.

— Решительно?

— Да.

Офицер, улыбаясь, встал, качнул голову.

— Не стану спрашивать вас, почему, но скажу прямо: решению вашему не верю-с! Путь, который я вам указал, — путь жертвенного служения родине, — ваш путь. Именно: жертвенное служение, — раздельно повторил он. — Затем, — вы свободны... в пределах Москвы. Мне следовало бы взять с вас подписку о невыезде отсюда, — это не надолго! Но я удовлетворяюсь вашим словом, — не уедете?

— Разумеется, — облегченно вздохнул Клим.

— Часть ваших бумаг можете взять — вот эту! — Вы будете жить в квартире Антроповой? Кстати: вы давно знакомы с Любовью Сомовой?

— С детства.

— Что это за человек?

— Очень... добрая девушка, — не сразу ответил Самгин.

— Гм? Ну, до свидания.

Он протянул руку. Клим подал ему свою и ощутил очень крепкое пожатие сильных и жестких пальцев.

— Подумайте, Клим Иванович, о себе, подумайте без страха перед словами и с любовью к родине, — посоветовал жандарм, и в голосе его Клим услышал ноты искреннего доброжелательства.

По улице Самгин шел, согнув шею, оглядываясь, как человек, которого ударили по голове и он ждет еще удара. Было жарко, горячий ветер плутал по городу, играя пылью; это напомнило Самгину дворника, который нарочно сметал пыль под ноги партии арестантов. Прозвучало в памяти восклицание каторжника:

— Лазарь воскрес!, — и Клим подумал, что евангельские легенды о воскресении мертвых как-то не закончены, ничего не говорят ни уму, ни сердцу. Над крышами домов быстро плыли облака, в сизой туче за Москвой-рекой сверкнула молния. Самгин прислушался сквозь шум города, ожидая грома, но гром не долетел, увяз в туче. Толкались люди. Шагая встречу, обгоняя, уходя от них, Самгин зашел в сквер храма Христа, сел на скамью, и первая ясная его мысль сложилась вопросом: чем испугал жандарм? Теперь ему казалось, что задолго до того, как офицер предложил ему службу шпиона, он уже знал, что это предложение будет сделано. Испугало его не это оскорбительное предложение, а что-то другое. Самгин не мог не признать, что жандарм сделал правильный вывод из его записок, и, дотронувшись рукою до пакета в кармане, решил:

— «Сожгу... И больше не буду писать».

Думалось бессвязно, мысли разбивались о какое-то неясное, но подавляющее чувство. Прошли две барышни, одна, взглянув на него, толкнула подругу локтем и сказала ей что-то, подруга тоже посмотрела на Клима, обе они замедлили шаг.

— «Как на самоубийцу, дуры, — подумал Самгин.— Должно быть у меня лицо нехорошее».

Встал и пошел домой, убеждая себя:

— «Разумеется, я оскорблен морально, как всякий порядочный человек. Морально.

Но он смутно догадывался, что возникшая необходимость убеждать себя в этом утверждает обратное: предложение жандарма не оскорбило его. Пытаясь погасить эту догадку, он торопливо размышлял:

— «Если б теория обязывала к практической деятельности, — Шопенгауер и Гартман должны бы убить себя. Ленау, Леопарди»...

Но Самгин уже понял: испуган он именно тем, что не оскорблен предложением быть шпионом. Это очень смутило его и это хотелось забыть.

«Клевещу я на себя, — думал он. — А этот полковник или ротмистр — глуп. И — нахал. Жертвенное служение... Активная борьба против Любаши. Идиот»...

Шел Самгин медленно, но весь вспотел, а в горле и во рту была горьковатая сухость.

Анфимьевна, встретив его, захлебнулась тихой радостью.

— Ой, голубчик, выпустили! Слава тебе! Господи! А я уж думала, что, как Петрушу Маракуева, надолго засадят.

Крестясь, она попутно отерла слезы, потом, с великой осторожностью поместив себя на стул, заговорила шопотом:

— А — Любаша-то — как? Вот, — допрыгалась! Ах, ты, господи, господи! Милые вы мои, на что вы обрекаете за народ молодую вашу жизнь...

Но вздохнув с силою поршня машины и закатывая рукава кофты к локтям, она заговорила деловито:

— А я, в то утро, как увели вас, взяла корзинку, будто на базар иду, а сама к Семену Васильичу, к Алексею Семенычу, так и так говорю. Они в той же день Таничку отправили в Кострому, узнать — Варя-то цела ли?

Снова всплакнув, при чем ее тугое лицо не морщилось, она встала:

— Кушать будете, али чайку?

Есть и пить Самгин отказался, но пошел с нею в кухню.

— Вот бумаги надо сжечь.

— Дайте-ко мне, я сожгу.

Самгин остался в кухне и видел, как она сожгла его записки на шестке печи, а пепел бросила в помойное ведро и даже размешала его там венником. Во всем этом было нечто возмутительное. Самгин почувствовал в горле истерический ком, желание кричать, ругаться, с полчаса бессмысленно походил по комнате, рассматривая застывшие лица знаменитых артистов и, наконец, решил сходить в баню. Часа через два, разваренный, он сидел за столом, перед кипевшим самоваром, пробуя написать письмо матери, но на бумагу сами собою ползли из-под пера слова унылые, жалобные, он испортил несколько листков, мелко изорвал их и снова закружился по комнате, поглядывая на графюры и фотографии.

— «Жертвенное служение, — думал он, всматриваясь в чахоточное лицо Белинского».

В прихожей кто-то засмеялся и сказал простонародным говорком, по московски подчеркивая а.

— А ты, полно, мать! Привыкай...

В столовую вошел хлыщеватый молодой человек, светловолосый, гладкопричесанный, во фланелевом костюме, с соломенной шляпой в руке, с перчатками в шляпе.

— Алексей Семенов Гогин, — сказал он, счастливо улыбаясь, улыбалась и Анфимьевна, следуя за ним, он сел к столу, бросил на диван шляпу; перчатки, вылетев из шляпы, упали на пол.

— Не беспокойся, — сказал гость Анфимьевне, хотя она не беспокоилась, а, стоя в дверях, сложив руки на животе, смотрела на него умильно и ожидая чего-то.

— Быстро отделались, поздравляю!—сказал Гогин, бесцеремонно и как старого знакомого рассматривая Клима. — Кто вас пиявил?—спросил он.

Он был похож на приказчика из хорошего магазина галантереи, на человека, который с утра до вечера любезно улыбается барышням и дамам; имел самодовольно глупое лицо здорового парня; такие лица без особых примет настолько обычны, что не остаются в памяти. В голубоватых глазах — избыток ласковости, и это увеличивало его сходство с приказчиком.

— Ага, полковник Васильев! Это — шельма! ему бы лошадьми торговать, цыганской морде.

— Вы его знаете? — спросил Клим.

— Ну, еще бы не знать! Его усердием я из университета вылетел, — сказал Гогин, глядя на Клима глазами близорукого, и засмеялся булькающим смехом толстяка, а был он сухощав и строен.

Самгину не верилось, что этот франтоватый парень был студентом, но он подумал, что «осведомители» полковника Васильева наверное вот такие люди, без лица.

— Вас игемон этот по поводу Любаши о чем спрашивал? — осведомился Гогин.

— О ней — ни слова.

— Так-таки — ни слова?

Самгин отрицательно покачал головой, но вслед за тем сказал:

— Спросил только, давно ли я знаком с нею.

— М-да, — промычал Гогин, поглаживая пальцем золотые усики. — Видите ли, папахиен мой желает взять Любашу на поруки, она ему приходится племянницей по сестре...

— Значит, — двоюродная сестра вам, — заметил Самгин, чтоб сказать что-нибудь и находя в светловолосом Гогине сходство с Любашей.

— Нет, я — приемыш, взят из воспитательного дома, — очень просто сказал Гогин. — Защитники престол-отечества пугают отца, дескать Любовь Сомова и есть воплощение злейшей крамолы, и это несколько понижает градусы гуманного порыва папаши. Мы с ним подумали, что, может быть, вы могли бы сказать: какие злодеяния приписываются ей, кроме работы в «Красном кресте»?

— Не знаю, — сухо ответил Клим, но это не смутило Гогина, он продолжал:

— В Нижний ездила она, — не там ли зацепилась за что-нибудь? Вы, кажется, нижегородец?

— Нет, — сказал Самгин и тоже спросил: не знает ли Гогин чего-нибудь о Варваре?

— Цела, — ответил тот, глядя в самовар и гримасничая. — По некоторым признакам дело Любаши затеяно не здешними, а из провинции.

Самгин слушал и утверждался в подозрениях своих: этот человек, столь обыкновенный внешне, манерой речи выдавал себя: он не

так прост, каким хочет казаться. У него были какие-то свои слова, и он обнаруживал склонность к едкости.

— Самопрыгающая натура, — сказал он о Любаше, приемного отца назвал «иже еси в либералех сущий», а постукав кулаком по «Русским Ведомостям», заявил:

— На медные деньги либерализма в наше время не проживешь. Держался небрежно, был излишне словоохотлив, и сквозь незатейливые шуточки его проскальзывали слова не глупые. Когда Самгин заметил испытующим тоном, что революционное настроение растет, — он спокойненько сказал:

— Весьма многими командует не убежденность, а — незаконная дочь ее, самонадеянность.

Самгин почти обрадовался, когда гость ушел.

— Кто это? — спросил он Анфимьевну.

— Али вы не знаете? — удивилась она. — Семен Васильич, папаша его, знаменитый человек в Москве.

— Чем знаменит?

— Ну, как же! Богатый. Детскую лечебницу построил.

— Доктор?

— Что это вы! У него — свое дело, — как будто даже обиделась Анфимьевна.

На другой день явился дядя Миша, усталый, запыленный, он благосклонно пожал руку Самгина и попросил Анфимьевну:

— Дайте стакан воды, с вареньем, если найдется, а то — кусочек сахару.

Затем сообщил, что есть благоприятные сведения о Любаше и сказал:

— Пожалуйста, найдите в книгах Сомовой «Философию мистики». Но, может быть, я не верно прочитал, — ворчливо добавил он, — какая же философия мистики возможна?

Когда Самгин принес толстую книгу Дю-Преля, — дядя Миша удивленно и неодобрительно покачал головой.

— Подумайте, оказывается есть такая философия!

Развернув переплет книги, он прищурил глаз, посмотрел в трубочку корешка.

— Дайте что-нибудь длинненькое.

Он вытолкнул карандашом из-под корешка бумажку, сложенную, как аптекарский пакетик порошков, развернул ее, и прочитав что-то, должно быть, приятное, ласково усмехнулся.

— Оказывается, из мистики тоже можно извлечь кое-что полезное.

Наблюдая за его действиями, Самгин подумал, что раньше все это показалось бы ему смешным и недостойным человека, которому, вероятно, не менее пятидесяти лет, а теперь вот, вспомнив полковника Васильева, он невольно и сочувственно улыбнулся дяде Мише.

Дядя Миша, свернув бумажку тугой трубочкой, зажал ее между большим и указательным пальцами левой руки.

— Не заметили, следят за домом? — спросил он.

— Не заметил.

— Должны следить, — сказал маленький человек не только уверенно, а даже как-будто требовательно. Он достал чайной ложкой остаток варенья со дна стакана, с'ел его, вытер губы платком и с неожиданным ехидством, которое очень украсило его лицо сына, спросил, дотронувшись пальцем до груди Самгина:

— Как же это у вас: выпустили «Манифест российской социал-демократической партии» и тут же печатаете журнальчик «Рабочее Знамя», но уже от «Русской» партии и более решительный, чем этот «Манифест», — как же это, а?

Клим сказал, что он еще не видел ни того, ни другого.

— То-то вот, — весело сверкая черными глазками, заметил дядя Миша. — Торопитесь так, что и столкнуться не успели. До свидания.

Самгин, открыв окно, посмотрел, как он, не торопясь, прошел двором, накрытый порыжевшей шляпой, серенький, похожий на старого воробья. Рыжеволосый мальчик на крыльце кухни акушерки Гюнтер чистил столовые ножи пробкой и тертым кирпичем.

— Жизнь — сплошное насилие над человеком, — подумал Самгин, глядя, как мальчишка поплеывает на ножи. — Вероятно, полковник возобновит со мной беседу о шпионаже... Единственный человек, которому я мог бы рассказать об этом, — Кутузов. Но он будет толкать меня в другую сторону...

Со двора поднимался гнилой запах мыла, жира; воздух был горяч и неподвижен. Мальчишка, вдруг, точно его обожгло, запел пронзительным голосом:

Что ты, суженец, не весел,
Беззаботный сорванец?
Что ты голову...

Из окна кухни высунулась красная рука и, выплеснув на певца ковш воды, исчезла, мальчишка взвизгнул, запрыгал по двору.

— Этот жандарм, в сущности, боится и потому...

Размышляя, Самгин любовался, как ловко рыжий мальчишка увертывается от горничной, бегавшей за ним с мокрой тряпкой в руке; когда ей удалось загнать его в угол двора, он упал под ноги ей, пробежал на четвереньках некоторое расстояние, высоко подпрыгнул от земли и выбежал на улицу, а в ворота, с улицы, вошел дворник Захар, похожий на Николая Угодника, и сказал:

— Ты бы, Машь, постарше с кем играла, повзрослее.

— Еще поиграю, — откликнулась горничная.

В часы тяжелых настроений, Клим Самгин всегда торопился успокоить себя, чувствуя, что такие настроения колеблют и расшатывают его веру в свою оригинальность. В этот день его желание вернуться к себе самому было особенно напряженно, ибо он, вот уже несколько дней, видел себя рекрутом, который неизбежно должен отбывать воин-

скую повинность. Но он незаметно для себя почти привык к мыслям о революции, как привыкают к затяжным дождям осени или к местным разговорам. Он уже не вспоминал возмущенный окрик горбатенькой девочки:

«Да, — что вы озорничаете!»

Но хорошо помнил скептические слова:

«Да, был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

Клим был уверен, что он не один раз убеждался: «не было мальчика», и это внушало ему надежду, что все, враждебное ему, захлебнется словами, утонет в них, как Борис Варавка в реке, а поток жизни неуклонно потечет в старом, глубоко прорытом русле.

За три недели, одиноко прожитых им в квартире Варвары, он убедился, что Любаша играет роль, более значительную, чем он приписывал ей. Приходила нарядная дама под вуалью, с кружевным зонтиком в руках, она очень расстроилась и, кажется, даже испугалась, узнав, что Сомова арестована. Ковыряя зонтиком пол, она нервно сказала:

— Но я — приезжая, и мне совершенно необходимо видеть кого-нибудь из ее близких друзей!

Близких — она подчеркнула, и это понудило Клима дать ей адрес Алексея Гогина. Потом явился угрюмый, плохо одетый человек, видимо, сельский учитель. Этот — рассердился.

-- Арестована? Ну, вот... А вы не знаете, как мне найти Марью Ивановну?

Клим не знал. Тогда человек ушел, пробормотав:

— Как же это у вас...

Приходил юный студентик, весь новенький, тоже, видимо, только-что приехавший из провинции; скромная, некрасивая барышня привезла пачку книг и кусок деревенского полотна, было и еще человека три, и после всех этих визитов Самгин подумал, что революция, которую делает Любаша, едва ли может быть особенно страшна. О том же говорило и одновременное возникновение двух социал-демократических партий.

На двадцать третий день он был вызван в жандармское управление и там встречен полковником, парадно одетым в мундир, украшенный орденами.

— Так как же, а? — торопливо пробормотал полковник, но, видимо, сообразив, что вопрос этот слишком часто срывается с его языка, откашлялся и быстро, суховато заговорил:

— Вот-с, извольте расписаться в получении ваших бумаг. Внимательно прочитав их, я укрепился в своей мысли. Не передумали?

— Нет, — сказал Самгин, очень твердо.

— Весьма сожалею, — сказал полковник, взглянув на часы. — Почему бы вам не заняться журналистикой? У вас есть слог, есть прекрасные мысли, например: об эмоциональности студенческого движения, — очень верно!

— Считаю себя недостаточно подготовленным для этого, — ответил Самгин, незаметно всматриваясь в распустившееся, оплывшее лицо жандарма. Как в ночь обыска, лицо было усталое, глаза смотрели мимо Самгина, да и весь полковник как-то обмяк, точно придавлен был тяжестью парадного мундира.

— Тоже, вот, о няньках написали вы, любопытнейшая мысль, вот бы и развить ее в статейку.

«Жертвенное служение», — думал Клим с оттенком торжества, и ему захотелось сказать: «Вы — не очень беспокойтесь, революцию делает Любаша Сомова!»

Он даже не мог скрыть улыбку, представив, какой эффект могла бы вызвать его шутка.

А полковник, вытирая лысину и как бы поймав его мысль, задумчиво спросил:

— А, скажите, Любовь Антоновна Сомова давно занимается спиритизмом и, вообще, — этим? — он пошевелил пальцем перед своим лбом.

— Она еще в детстве обнаруживала уклон в сторону чудесного, — нарочито небрежно ответил Самгин.

Полковник взглянул на него и отрицательно потряс головою.

— Непохоже, — сказал он. И бесцеремонно, ожившими глазами разглядывая Клима, повторял с ударением на первом слове:

— Совсем непохоже.

Самгин пожал плечами и спросил:

— Вы, полковник, не можете сообщить мне причину ареста?

Тот подтянулся, переступил с ноги на ногу, позвонев шпорами и зорко глядя в лицо Клима с галантной улыбочкой:

— Не должен бы, но — в качестве компенсации за приятное знакомство... В общем — это длинная история, автором которой, отчасти, является брат ваш, а отчасти провинциальное начальство. Вам, вероятно, известно, что брат ваш был заподозрен в попытке бегства с места ссылки? Кончив ссылку, он выхлопотал разрешение местной власти сопровождать какую-то научную экспедицию, для чего ему был выдан соответствующий документ. Но раньше этого ему было выписано проходное свидетельство во Псков, и вот этим свидетельством воспользовалось другое лицо.

Сделав паузу, полковник щелкнул пальцами и вздохнул:

— Установлено, что брат ваш не мог участвовать в передаче документа.

— А тот — бежал? — неосторожно спросил Самгин, вспомнив Долганова.

Полковник присел на край стола и мягко спросил, хотя глаза его стали плоскими и посветлели.

— Почему вы знаете, что бежал?

— Я — спрашиваю.

— А, может быть, знаете, а?

Клим сухо сказал:

— Если человек воспользовался чужим документом...

— Да, да — небрежно сказал полковник, глядя на ордена и поправляя их. — Но не стоит спрашивать о таких... делах. Что тут интересного?

Он встал, протянул руку.

— Все-таки я не понял, — сказал Самгин.

— Ах, да! Ну, вас приняли за этого, который воспользовался документом.

«Это он выдумал», — сообразил Самгин.

— Его, разумеется, арестовали уже...

«Врет» — подумал Клим.

— Честь имею, — сказал полковник, вздыхая. — Кстати: я еду в командировку... на несколько месяцев. Так в случае каких-либо недоразумений или вообще... что-нибудь понадобится вам, — меня замещает здесь ротмистр Роман Леонтович. Так уж вы — к нему. С богом-с!

Самгин вышел на улицу с чувством иронического снисхождения к человеку, проигравшему игру, и, едва скрывая радость победителя:

«Этот дурак все-таки не потерял надежды видеть меня шпионом. Долганов, несомненно, удрал. Против меня у жандармов, наверное, ничего нет, кроме желания сделать из меня шпиона».

Он чувствовал себя окрепшим. Все испытанное им за последний месяц утвердило его отношение к жизни, к людям. О себе, сгоряча, подумал, что он, действительно, независимый человек и в сущности ничто не мешает ему выбрать любой из двух путей, открытых перед ним. Само собою разумеется, что он не пойдет на службу жандармов, но если б издавался хороший, независимый от кружков и партий орган, он, может быть, стал бы писать в нем. Можно бы неплохо написать о духовном родстве Константина Леонтьева с Михаилом Бакуниным.

Жизнь очень похожа на Варвару, некрасивую, пестро одетую и — не умную. Наряжаясь в яркие слова, в стихи, она, в сущности, хочет только сильного человека, который приласкал бы и оплодотворил ее. Он вспомнил, с какой смешной гордостью рассказывала Варвара про обыск у нее Лидии и Алине, вспомнил припев дяди Миши:

— Я с ним сидел в тюрьме. Он со мной сидел в тюрьме.

Все люди более или менее глупы, хвастуны, и каждый стремится хоть чем-нибудь подчеркнуть себя. Даже несокрушимая Анфимьевна хвастается тем, что она никогда не хворала, но если у нее болят зубы, то уж так, что всякий другой человек на ее месте от такой боли разбил бы себе голову об стену, а она — терпит. Да, хвастаются и силою зубной боли, хвастаются несчастиями. Лютов — своим уродливым и неудачным романом, Иноков — нежеланием работать, Варавка — умением хватать, строить, богатеть. Писатель Катин явно гордился тем, что живет под надзором полиции. И все так. Кутузов, который мог бы гордиться голосом, подчеркивает себя тем, что не ценит свой дар певца.

Через несколько дней он был дома, ужинал с матерью и Варавкой, который, наполнив своим жиром и мясом глубокое кресло, говорил, чавкая и задыхаясь:

— Так тебя, брат, опять жандармы прижимали? Эх, ты... А, впрочем, черт ее знает, может быть, нужна и революция! Потому что — действительно: необходимо предствительное правление, т. е. три — четыре сотни деловых людей, которые драли бы уши губернаторам и прочим администраторам, в сущности — ар-рестантам, — с треском закончил он, и лицо его вспухло, налилось кровью.

— Дурацкой этой стране все нужно: ласки и встряски, страхи, землетрясение нужно ей, дьявольщина! Вот именно, — встряхнуть, размесить это кислое тесто, заставить всех работать по-римски, по-египетски, с бичами, вот как! Дорог нет, передвигаться нельзя, — понимаешь? Я, вот, лес купил, з-замечательный! Даром купил, за семь копеек, хотел бумажную фабрику строить, лесопилку, спирт гнать хотел. Надули, мерзавцы. Прежде, чем строить, нужен канал по болотам на семнадцать верст! Ты можешь это понять, а? Я, братец мой, стал ругаться, как солдат...

— Ужасно, — сказала Вера Петровна, закрыв обесцвеченные глаза и качая головою.

— Если б вы, мадам, что-нибудь делали, вы бы тоже ругались, — огрызнулся Варавка.

— Но, ведь, не то ужасно, что вы ругаетесь...

— Все — не то! Все!

Варавка вытащил бороду из-под салфетки, положил ее на ладонь, полюбовался ею и снова начал есть, не прерывая своих жалоб. Самгин отметил, что раньше Варавка ел жадно, однако, спокойно, с уверенностью, что он успеет с'есть, сколько хочет. А теперь он, видимо, потерял эту уверенность, неприятно торопится, беспорядочно хватает с тарелок все, что попало под руку, ест неряшливо. Он сильно разбух, щеки оплыли, под глазами вздулись мешки, но глаза стали еще острее, злей, а борода выцвела, в ней явился свинцовый блеск.

— У меня жандармы тоже прищучили одного служащего, знаешь, молодчину: американец, марксист и, вообще, — коловорот, ф-фа! Но я с Радеевым так настроил прокурора и губернатора, что болван полковник Попов отсюда вылетел. На его место присылают из Петербурга или из Москвы какого-то Васильева; тоже, должно быть, осел, умного человека в такой чортов угол не пошлют. Ты, брат, взгляни, какой домишко изобрел я прокурору, — он выходит в отставку и промышленным делом заняться намерен. Эдакий, знаешь, стиль фен-де-сьекль, декаданс и вообще — пирог с вареньем!

— Ужасно, — негромко повторила Вера Петровна, сморщив лиловое лицо. — Это для кокотки.

— А — мне что? — вскинулся Варавка. — Вкус хозяина, он мне картинку в немецком журнале показал, спросил: можете эдак? А — пожа-

луйста! Я—как вам угодно могу, я для вас могу построить собачью конуру, свинарник, конюшню...

— Этого ты ему не мог сказать, — заметила Вера Петровна.

— Не хотел, а не—не мог. Я, матушка, все могу сказать.

Варавка, упираясь руками в ручки кресла, тяжело поднял себя и на подгибающихся ногах пошел отдохнуть.

— Через полчаса надо ехать в клуб, ругаться, — сообщил он Климу.

Мать, медленно поворачивая шею, смотрела вслед ему, как смотрят на извозчика, который, проехав мимо, едва не задел возом.

— Ужасно много работает, это у него душевная болезнь, — сказала она, сокрушенно вздохнув. — Он оставит Лидии очень большое состояние. Пойдем, посидим у меня.

В ее комнате стоял тяжелый запах пудры, духов, и от обилия мебели было тесно, как в лавочке старьевщика. Она села на кушетку, приняв позу Юлия Рекамье с портрета Дивида, и спросила об отце. Но узнав, что Клим застал его уже без языка, тотчас же осведомилась, произнося слова в нос.

— Эта женщина показала тебе завещание? Нет? Ты, все-таки, наивен.

И, вздохнув, сказала:

— Любовницы всегда очень жадны.

О Дмитрии она спросила:

— Что же он — здоров? На севере люди, вообще, здоровее, чем на юге, как говорят. Пожалуйста, дай мне папиросы и спички.

Закуривая, она делала необычные для нее жесты, было в них что-то надуманное, показное, какая-то смешная важность, этим она заставила Клима вспомнить комическую и жалкую фигуру богатой, но обнищавшей женщины в одном из романов Диккенса. Чтоб забыть это сходство, спросил о Спивак.

Ах, боже мой, Елизавета ведет себя ужасно бестактно! Она ничуть не считается с тем, что у меня в школе учатся девицы хороших семейств, — заговорила мать тоном человека, у которого начинают болеть зубы. — Повезла мужа на дачу и взяла с собою Инокова, — она его, почему-то, считает талантливым, чего-то ждет от него и вообще, бог знает, что! И это после того, как он устроил побоище, которое, может быть, кончится для него тюрьмой. Тут какой-то странный романтизм, чего я совершенно не понимаю при ее удивительно спокойном характере и... и при ее холодной энергии! Но все-таки я ее люблю, она человек хорошей крови! Ах, Клим, кровь—это много значит!

И тяжело вздохнув, она спросила:

— Ты не знаешь, это правда, что Алина поступила в оперетку и что она, вообще, стала доступной женщиной? Да? Это — ужасно! Подумай, кто мог ожидать этого от нее!

— Вероятно, — все мужчины, которым она нравилась, — мудро ответил Клим.

— Это — остроумно, — нашла мать, но не улыбнулась.

Четырех дней было достаточно для того, чтоб Самгин почувствовал себя между матерью и Варварой в невыносимом положении человека, которому двое людей навязчиво показывают, как им тяжело жить. Варавка, озлобленно ругая купцов, чиновников, рабочих, со вкусом выговаривал неприличные слова, как будто забывая о присутствии Веры Петровны, она всячески показывала, что Варавка «ужасно» удивляет ее, совершенно непонятен ей, она относилась к нему, как бабушка к «настоящему старику» дяде Акиму.

Вечерами Самгин гулял по улицам города, выбирая наиболее тихие чтоб не встретить знакомых; зайти в «Наш Край» ему не хотелось; Варавка сказал о газете:

— Газета? Чепуха — газета! Там какие-то попы проповеди печатают, а редактор — благочинный. Нет, брат, Россия до серьезной, деловой прессы не дожила.

Клим смотрел на каменные дома, построенные Варавкой за двадцать пять лет; таких домов было десятка три; в старом, деревянном городе они выступали резко, как заплаты на изношенном кафтане, и казалось, что они только уродуют своеобразно красивый городок, обиталище чистенького и влюбленного в прошлое историка Козлова. Самгин думал, что вот таких городов больше полусотни, вокруг каждого из них по десятку маленьких уездных и по нескольку сотен безграмотных сел, деревень спрятано в болотах и лесах. В общем это — Россия, и как-то странно допустить, что такой России необходимы жандармские полковники, Любаша, Долганов, Маракуев, люди, которых, кажется, не так волнует жизнь народа, как шум, поднятый марксистами, отрицающими самое понятие — народ. Еще менее у места в России Кутузов и люди, издавшие «Манифест», «Рабочее Знамя». И уж совсем не нужны, как бородавки на лице, полуумные Дьяконá, Лютовы, Иноковы.

За городом работали сотни три землекопов, срезая гору, расковыривая лопатами зеленоватые и красные мергеля, — расчищали с'езд к реке и место для вокзала. Согнувшись горбато, ходили люди в рубахах без поясов, с растегнутыми воротами, обвязав кудлатые головы мочалом. Точно избитые собаки визжали и скулили колеса тачек. Трудовой шум и жирный запах сырой глины стоял в потном воздухе. Группа рабочих тащила волоком по земле что-то железное, уродливое, один из них ревел:

— Иди-ет, идет, да-о-о-о!

Другая группа билá с копра сваю, резкий голос надсадно и озлобленно запевал:

— Ой, ребята, бери дружно!
Хозяину деньги нужно!
Ой, дубинушка, охнем, —

устало подхватывал хор.

Чугунная баба грузно падала на сваю, земля под ногами Клима вздрагивала и гудела.

С детства слышал Клим эту песню, и была она знакома, как унылый, великопостный звон, как панихидное пение на кладбище, над могилами. Тихое уныние овладевало им, но было в этом унынии нечто утешительное, думалось, что сотни людей, ковырявших землю короткими, должно быть неудобными лопатами, и усталая песня их, и грязноватые облака, развешанные на проводах телеграфа, за рекою,—все это дано надолго, может быть навсегда, и во всем этом скрыта какая-то несокрушимость, обреченность.

И не одну сотню раз Клим Самгин видел, как вдали, над зубчатой стеной елового леса краснеет солнце, тоже как-будто усталое, видел облака, спрессованные в такую непроницаемо плотную массу цвета кровельного железа, что можно было думать: за нею уж ничего нет, кроме «черного холода вселенской тьмы», о котором с таким ужасом говорила Серафима Нехаева.

В последний вечер пред отъездом в Москву Самгин сидел в Монастырской роще, над рекою, прислушиваясь, как музыкально колокола церковью благовестят ко всеобщей, сидел, рисуя будущее свое: кончит университет, женится на простой, дворовой девушке, которая не мешала бы жить, а жить надобно в провинции, в тихом городе, не в этом, где слишком много воспоминаний, но в таком же вот, где подлинная и грустная правда человеческой жизни не прикрыта шумом нарядных речей и выдумок и где честолюбие людское понятней, проще. Жизнь вовсе не ошалелая тройка Гоголя, а—старая лошадь—тяжеловоз; покачивая головою, она медленно плетется по избитой дороге к неизвестному, и прав тот, кто сказал, что все—разумно. Все, кроме тех людей, которые считают себя мудрецами и Архимедами.

Впереди его и несколько ниже, в кустах орешника, появились две женщины: одна — старая, сутулая, темная, как земля после дождя; другая—лет сорока, толстуха с большим румяным лицом. Они сели на траву, под кусты, молодая достала из кармана полбутылки водки, яйцо и огурец, отпила немного из горлышка, передала старухе бутылку, огурец и, очищая яйцо, заговорила певуче, как рассказывают сказки.

— Ну и вот: муженек ей не удался — хвор, да и добытчик плохой...

— Дети-то у ней от него ли? — угрюмо спросила старуха.

— А, конечно, от неволи, — сказала молодая, видимо, не потому что хотела пошутить, а потому что плохо слышала. — Вот она, детей ради, и стала ездить в Нижний, на ярмарку, прирабатывать,—женщина она видная, телесная, характера веселого...

— Чего уж веселее, — проворчала старуха, высасывая беззубым ртом мякоть огурца, и выпила еще.

— Четыре года ездила, заработала, крышу на дому прикрыла, двух коров завела, ребят одела — обула, а на пятый заразил ее какой-то голубок дурной болезнью...

— От судьбы, матушка, не увернешься, — назидательно сказала старуха, разглядывая лодочку огурца.

— Чего?

— От судьбы, говорю, в подпечек не спрячешься...

— Видно, нет! — соглашалась молодая — И начала она пить. Пьет и плачет, али песни поет. Одну корову продала...

— И другую продаст, — уверенно сказала старуха.

Самгин встал и пошел прочь, думая, что вот, рядом с верой в бога все еще не изжита языческая вера в судьбу.

— Писатель, в роде Катина или Никодима Ивановича, сделал бы из этого анекдота жалобный рассказ, — думал он, шагая по окраине города мимо маленьких, придавленных к земле домиков неизвестно чем и зачем живущей бедноты.

— Вы сюда как попали? — остановил его радостный и удивленный возглас; — со скамьи, у ворот, вскочил Дунаев, схватил его руку и до боли сильно встряхнул ее.

— Я — здешний, — не очень любезно ответил Самгин.

— Вот как? Я — тоже, это дворец тетки моей. Ну-те-ко, — присядьте!

Дунаев подтянул его к пристройке в два окна, с крышей на один скат; обмазанная глиной, пристройка опиралась на бревенчатую стену недостроенного, без рам в окнах, дома с обгоревшим фасадом.

Сбросив со скамьи на землю какие-то планки, проволоку, клещи, Дунаев усадил Клима, заглянул в очки его и быстро, с неизменной своей улыбочкой, начал выпрашивать.

— Дошел до нас слухок — посидели несколько? Под надзор сюда? Меня — под надзор...

Самгин взглянул направо, налево, людей нигде не было, ходили три курицы, сидела на траве шершавая собака, внимательно разглядывая что-то под носом у себя.

— Верно, что «Манифест» марксисты выпустили? У вас — нет? А достать не можете? Эх, жаль...

— Что вы делаете? — спросил Самгин, торопясь окончить свидание.

— Мышеловки; пустяковое дело, но гривен семь, даже целковый можно заработать. Надолго сюда?

— Завтра уезжаю.

— Ну?..

Дунаев был босой, в старенькой рубаше, подпоясанный ремнем, в заношенных брюках, к правому колену привязан бечевкой кусок кожи. Был Дунаев растрепан, и волосы на голове и курчавая борода — взлохмачены. Но несмотря на это он вызвал у Самгина впечатление зажиточного человека, из таких, — с хитрецей, которым все удается, они всегда настроены самоуверенно, как Варавка, к людям относятся недоверчиво, и может быть именно в этом недоверии — тайна их успе-

хов и удач. Людей такого типа Дунаев напоминал Климу и улыбочкой в зрачках глаз, которая как бы говорила:

«Я тебя знаю!»

Но он искренно обрадовался встрече, это было ясно по торопливости, с которой он рассказывал и допрашивал.

— Долго вы сидели? — сказал Клим.

— Долго, а не зря! Нас было пятеро в камере, книжки читали, а потом шестой явился. Вначале мы его за шпиона приняли, а потом, оказалось, он бывший студент, лесовод, ему уже лет за сорок, тихой такой и как-будто даже не в своем уме. А затем оказалось, что он замечательный знаток хозяйства.

«Прежде всего — хозяйство, — подумал Самгин. — Лавочником будет.

Он вспомнил прочитанный в юности роман Златовратского «Устой»; в романе было рассказано, как интеллигенты пытались воспитать деревенского парня революционером, а он стал «кулаком».

— Он нам замечательно рассказывал, прямо — лекции читал о том, сколько сорных трав зря сосет землю, сколько дешевого дерева — ольхи, ветлы, осины, растет бесполезно для нас. Это, говорит, все паразиты, и надобно их истребить с корнем. Дескать, там, где растет репей, конский щавель, крапива, там подсолнухи и всякая овощь может расти, а на месте дерева, которое даже для топлива плохо, надо сажать поделочное, ценное, — дуб, липу, клен. Произрастание, говорит, паразитов неразумно допускать, неэкономично.

Говоря, Дунаев ловко отщипывал проволоку клещами, проволока лежала у него на колене, покрытом кожей, щипцы голодно щелкали, проволока ровными кусками падала на землю.

— Ну, тут мы ему говорим: да вы, товарищ, валяйте прямо! не о крапиве, а о буржуазии, ведь мы понимаем о каких паразитах речь идет! Но он осторожен, — одобрительно сказал Дунаев. — Очень осторожен! Что вы, говорит, ребята! Это все не политика, а моя фантазия с точки зрения науки. Я, говорит, к чужому делу ошибочно пришит, политикой не занимаюсь, а служил в земстве, вот именно по лесному делу. Ну, ладно, говорим, мы точки зрения понимаем, катай дальше! Мы, ведь, не шпионы, а — рабочие, бояться нас нечего. Однако, его, вскоре, перевели от нас...

Рассказ Дунаева не понравился; Клим даже заподозрил, что рабочий выдумал этот анекдот. Он встал, Дунаев тоже поднялся, тихо спросив:

— А, что, есть тут кто-нибудь поднадзорные?

— Ведь я в Москве живу, — напомнил Самгин, простился и пошел прочь быстро, как человек опоздавший. Он был уверен, что если оглянется, то встретит взгляд Дунаева, эдакий прицеливающийся взгляд.

— Да, этот устроится...

Но проще всего было не думать о Дунаеве.

Возвратясь в Москву, он остановился в меблированных комнатах, где жил раньше, пошел к Варваре за вещами своими и был встречен самой Варварой. Жестом человека, которого толкнули в спину, она протянула ему руки, улыбаясь, выкрикивая веселые слова. На минуту и Самгин ощутил, что ему приятна эта девица, смущенная несдержанным взрывом своей радости.

— А я приехала третьего дня и все еще не чувствую себя дома, все боюсь, что надобно бежать на репетицию, — говорила она, набросив на плечи себе очень пеструю шерстяную шаль, хотя в комнате было тепло, и кофточка Варвары глухо, до подбородка, застегнута.

— Как я играла? — переспросила она, встряхнув головою и виновато усмехнулась: — Увы, скверно!

Она казалась похорошевшей, а пышный воротник кофты сделал шею ее короче. Было странно видеть в движениях рук ее что-то неловкое, как-будто руки мешали ей, делая не то, чего она хочет.

— Но, знаете, я — довольна; убедилась, что сцена — не для меня. Таланта у меня нет. Я поняла это с первой же пьесы, как только вышла на сцену. И как-то неловко изображать в Костроме горести глупых купчих Островского, героинь Шпажинского, французских дам и девиц.

Смеясь, она рассказала, что в «Даме с камелиями» она ни на секунду не могла вообразить себя умирающей, и ей мучительно со-вестно пред товарищами, а в «Чародейке» не решилась удавиться косою, боясь, что привязная коса оторвется. Быстро кончив рассказывать о себе, она стала подробно спрашивать Клим об аресте.

— Вас тоже тревожили там? — спросил он.

— Нет. Приходил полицейский, спрашивал заведующего, когда я уехали из Москвы. Но — как я была поражена, узнав, что вы... Совершенно не могу представить вас в тюрьме! — возмущенно вскрикнула она: Самгин, усмехаясь, спросил:

— Почему?

— Не знаю. Не могу.

— Побывав на сцене, она как-будто стала проще, — подумал Самгин и начал говорить с нею в привычном, небрежно-шутливом тоне, но скоро заметил, что это не нравится ей; вопросительно взглянув на него раз, два, она сжалась, примолкла. Несколько свиданий убедили его, что держаться с нею так, как он держался раньше, уже нельзя, она не принимает его шуточек, протестует против его тона молчаливым; подожмет губы, прикроет глаза ресницами и — молчит. Это и задело самолюбие Самгина и обеспокоило его, заставив подумать:

— Неужели влюбилась в другого?

А еще через некоторое время, он, поняв, что ему выгоднее относиться к ней более серьезно, сделал ее зеркалом своим, приемником своих мыслей.

— В логике есть закон исключенного третьего, — говорил он, — но мы видим, что жизнь строится не по логике. Например: разве логична проповедь гуманизма, если признать борьбу за жизнь неустра-

нимой? Однако, вот, вы, и гуманизм не проповедуете, но и за горло не хватаете никого.

— Удивительно просто говорите вы, — отзывалась Варвара.

Она очень легко убеждалась, что Константин Леонтьев такой же революционер, как Михаил Бакунин, и ее похвалы уму и знаниям Клима довольно быстро приучили его смотреть на нее, как на оселок, об который он заостряет свои мысли. Но являлись моменты и разноречий с нею, первый возник на дебюте Алины Телепневой в «Прекрасной Елене».

Алина выплыла на сцену маленького, пропыленного театра такой величественно и подавляюще красивой, что в темноте зала проплыл тихий гул удивления, все люди как-то покачнулись к сцене и казалось, что на лысины мужчин, на оголенные руки и плечи женщин, упала сероватая тень. И чем дальше, тем больше сгущалось впечатление, что зал, приподнимаясь, опрокидывается на сцену.

Пела Алина плохо; сильный голос ее звучал грубо, грубо подчеркивал бесстыдство слов, и бесстыдны были движения ее тела, обнаженного разрезом туники снизу до пояса. Варвара тотчас же и не без радости прошептала:

— Боже, как она вульгарна!

— Кажется, это будет повторением первого дебюта Нана, — согласно заметил Клима, хотя и редко позволял себе соглашаться с Варварой. Но и голос, и томная лень скупых жестов Алины, и картинное лицо ее действовали покоряюще. Каждым движением и взглядом, каждой нотой она заставляла чувствовать ее уверенность в неотразимой силе тела. Она не играла роль царицы, жены Менелая, она показывала себя, свою жажду наслаждения, готовность к нему, ненужно вламывалась в группы хористов, расталкивая их плечами, локтями, бедрами, как-бы танцуя медленный и пьяный танец под музыку, которая казалась Самгину обновленной и до конца обнажившей свою острую, ироническую чувственность.

— Дебют Нана, — повторил он, оглядывая напряженно молчащую публику, и заметил, что Варвара взглянула на него уже искоса, неодобрительно. С этого момента он стал наблюдать за нею. Он видел, что у нее покраснели уши, вспыхивают щеки, она притоптывала каблучком в такт задорной музыке, барабанила пальцами по колену своему; он чувствовал, что ее волнение опьяняет его больше, чем вызывающая игра Алины своим телом. После первого акта публика устроила Алине овацию, Варвара тоже неистово аплодировала, улыбаясь хмельными глазами; она стояла в такой позе, как будто ей хотелось прыгнуть на сцену, где Алина, весело показывая зубы, усмехалась так, как будто все люди в театре были ребятишками, которых она забавляла. Из оркестра ей подали огромный букет роз, потом корзину орхидей, украшенную широкой оранжевой лентой.

— Вам, кажется, все-таки понравилась она — спросил Самгин, идя в фойе.

— Да, — сказала Варвара.

— Но, ведь, вы нашли ее вульгарной.

— Нашла, — но... Это такая вульгарность... вакхическая. Вероятно, вот так Фрина в Элевзине... Я готова сказать, что это — не вульгарность, а священное бесстыдство... Бесстыдство силы. Стихии.

Она говорила торопливо, как-то перескакивая через слова, казалась растроенной, опечаленной, и Самгин подумал, что все это у нее от зависти.

— Ого, — насмешливо воскликнул он и этим заставил ее замолчать. Она отошла от него, увидав своих знакомых, а Самгин, оглянувшись, заметил у дверей в буфет Лютова во фраке, с папиросой в зубах, с растрепанными волосами и лицом в красных пятнах. Раньше Лютов не курил, да и теперь, очевидно, не научился, — слишком часто втягивал дым, жевал мундштук, морщился; борта его фрака были осыпаны пеплом. Он мешал людям проходить в буфет, дымил на них, его толкали, извинялись, он молчал, накручивая на палец бородку, подстриженную очень узко, но длинную и совершенно лишнюю на его лице, голом и опухшем.

— Здравствуй, — не сразу и как бы сквозь сон присматриваясь к Самгину неукротимыми глазами забормотал он. — Ну, как? А? Вот, видишь, — артистка! Да, брат! Она — права! Коньяку хочешь?

Оттолкнувшись плечом от косяка двери, он пошатнулся, навалился на Самгина, схватил его за плечо. Он был так пьян, что едва стоял на ногах, но его косые глаза неприятно ярко смотрели в лицо Самгина с какой-то особенной зоркостью, даже как-будто с испугом.

— Макаров — ругает ее. Ушел, маньяк. Я ей орхидеи послал, — бормотал он, смяв папиросу с огнем в руке, сжег ладонь, посмотрел на нее, сунул в карман и снова предложил:

— Коньяку выпьем? Для храбрости, а? Ф-фу, — вот красива, а? Чорт...

Покачнулся и пошел в буфет, толкая людей, как слепой.

— До чего жалок, — подумал Самгин, идя в зал.

До конца спектакля Варвара вела себя так нелепо, как-будто на сцене разыгрывали тяжелую драму. Актеры, возбужденные успехом Алины, усердно смешили публику, она особенно хохотала, когда Калхас, достав из будки суфлера три стаканчика водки, угостил царей Агамемнона и Манелая, а затем они трое акробатически ловко и весело начали плясать трепака.

— Какая пошлость, — отметил Самгин. Варвара промолчала, наклонив голову, не глядя на сцену. Климу казалось, что она готова заплакать, и это было забавно, что он, с трудом скрывая улыбку, спросил:

— Вы плохо чувствуете себя?

— О, нет, ничего! Не обращайтесь внимания, — прошептала она, а Самгин решил:

«Конечно, это муки зависти».

Кончился спектакль триумфом Алины, публика неистово кричала и выла:

— Р-радимову-у!

— Хотите пройти за кулисы к ней? — предложил Самгин.

— Нет, нет, — быстро ответила Варвара.

На улице он сказал:

— Странно действует на вас оперетка.

— Вам — смешно? — тихонько спросила Варвара, взяла его под руку и пошла быстрее, говоря тоном оправдывающейся: — Я понимаю, что — смешно. Но если б я была мужчиной, мне было бы обидно. И — страшно. Такое поругание...

Прижав ее руку, он спросил почти ласково:

— Немножко завидуете, да?

— Чему? Она — не талантлива. Завидовать красоте? Но когда красоту так унижают...

Шагая неравномерно, она толкала Клима, итти под руку с ней было неудобно. Он сердился, слушая ее.

— Знаете, Лидия жаловалась на природу, на власть инстинкта; я не понимала ее. Но — она права! Телепнева — величественно, даже до слез красива, именно до слез радости и печали, право — это так! А, ведь, чувство она будит лошадиное, не правда ли?

— Оно-то и есть триумф женщины, — сказал Самгин.

— Как жалко, что вы шутите, — отозвалась Варвара и всю дорогу, вплоть до ворот дома шла молча, спрятав лицо в муфту, лишь у ворот заметила, вздохнув:

— Должно быть я не сумела выразить свою мысль понятно.

Самгин принял все это, как попытку Варвары выскользнуть из-под его влияния, рассердился и с неделю не ходил к ней, уверенно ожидая, что она сама придет. Но она не шла, и это беспокоило его. Варвара, как зеркало, была уже необходима, а кроме того он вспомнил, что существует Алексей Гогин, франт, похожий на приказчика и, наверное, этим приятный барышням. Тогда, подумав, что Варвара, может быть, нездорова, он пошел к ней и в прихожей встретил Любашу в шубке, в шапочке и, по обыкновению ее, с книгами под мышкой.

— Ну, вот, а я хотела забежать к тебе, — закричала она, сбросив шубку, сбивая с ног ботики. — Посидел немножко? Почему они тебя держали в жандармском? Иди в столовую, у меня не убрано.

В столовой она свалилась на диван и стала расплетать косу.

— Башка болит. Кажется — остригусь. Я сидела в сырой камере и совершенно не приспособлена к неподвижной жизни.

Румяное лицо ее заметно выцвело и, должно быть зная это, она растирала щеки, лоб, гладила пальцами тени в глазницах.

— Выпустили меня третьего дня, и я все еще не в себе. На родину, — а где у меня родина, дураки! Через четыре дня должна ехать, а мне совершенно необходимо жить здесь. Будут хлопотать, чтоб меня оставили в Москве, но...

— Тебя допрашивал Васильев? — спросил Клим, чувствуя, что ее нервозность почему-то заражает и его.

Любаша, подскочив на диване, хлопнула ладонью по колену.

— Вот болван! Ты можешь представить, — он меня начал пугать, точно мне пятнадцать лет! И так это глупо было, — ах, урод! Я ему говорю: вот что, полковник: деньги на «Красный крест» я собирала, кому передавала их — не скажу и кроме этого мне беседовать с вами не о чем. Тогда он начал: вы человек, я — человек, он — человек; мы люди, вы люди и какую-то чепуху про тебя...

— Он? Про меня? — спросил Клим, встав со стула, потому что у него, вдруг, неприятно забилось сердце.

— Что ты советуешь женщинам быть няньками, кормилицами, что-ли — вообще невероятно глупо все! И что доброта неуместна, даже преступна, и все это, знаешь, с таким жаром, отечески строго... бездельник!

— Что же еще говорил он про меня? — осведомился Самгин.

— А, — чорт его знает! Вообще — чепуху...

Самгин сел, настолько успокоенный, и, думая о полковнике: «Негодяй».

Глядя, как Любаша разбрасывает волосы свои по плечам, за спину, как она, хмурясь, облизывает губы, он не верил, что Любаша говорит о себе правду. Правдой было бы, если б эта некрасивая неумная девушка слушала жандарма, вздрагивая от страха и молча, а он бы кричал на нее, топал ногами.

— Будто бы ты не струсил? — спросил он, усмехаясь, — она ответила, пожав плечами:

— Ну, знаешь, «волков бояться — в лес не ходить».

— Не вспомнила о Ветровой?

— Что ж — Ветрова? Там, очевидно, какая-то истерика была. В изнасилование не верю.

— И не вспомнила, что женщин на Каре секли? — настаивал Клим.

— Древняя история... Подожди, — сказала Любаша, наклоняясь к нему. — Что это странно говоришь? Подразнить меня хочется?

— Немножко, — сознался Клим, смущенный ее взглядом.

— Странное желание, — обиженно заметила Любаша. — И лицо злое, — добавила она, снова приняв позу усталого человека. — Хотя сознаюсь: на первых двух допросах боялась я, что при обыске они нашли один адрес. А в общем, я ждала, что все это будет как-то серьезнее, умнее. Он мне говорит: вот вы Лассалья читаете. А вы — спрашиваю — не читали? Я, говорит, — эти вещи по обязанности службы, а вам, девушке, — зачем? Так и сказал.

Самгин спросил: где Варвара?

— Ушла к Гогиным. Она — не в себе, сокрушается — и даже до слез! — что Алинка в оперетке.

— А что такое — Гогин?

— Дядя мой, оказывается. Это — недавно открылось. Он — не совсем дядя, а был женат на сестре моей матери, но он любит семейственность, родовой быт и желает, чтоб я считалась его племянницей. Я — могу! Он — добрый и полезный старикан.

Про Алексея она сказала:

— Очень забавный, но — лентяй и бродяга.

И, тяжело вздохнув, пожаловалась:

— Ах, Клим, еслиб ты знал, как это обидно, что меня высылают из Москвы!

На жалобу ее Самгину нечем было ответить; он думал, что доигрался с Варварой до необходимости изменить или прекратить игру. И когда Варвара, раздранная морозом, не раздеваясь, оживленно влетела в комнату, — он поднялся навстречу ей с ласковой улыбкой, но кинув ему на бегу: — здравствуйте! — она обняла Сомову, закричала:

— Любаша — победа! Ты оставлена здесь на полтора месяца и будешь лечиться у психиатра...

— Ой? — вопросительно крикнула Любаша.

— Факт! Только тебе придется ходить к нему.

— Господи, да я — к архиерею пойду...

— Значит — пируем! Сейчас придут Гогины, я купила кое-что вкусенькое...

Затем разыгралась сцена веселого сумасшествия, девицы вальсировали, Анфимьевна, накрывая на стол, ворчала, показывая желтые зубы, усмехаясь:

— Запрыгали! Допрыгаетесь опять.

Тугое лицо ее лоснилось радостью, и она потягивала воздух носом, как бы обоняя приятнейший запах. На пороге столовой явился Гогин, очень искусно сыграл на губах несколько тактов марша, затем надул одну щеку, подавил ее пальцем, и из-под его светленьких усов вылетел пронзительный писк. Вместе с Гогиним пришла девушка с каштановой копной небрежно перепутанных волос над выпуклым лбом; бесцеремонно глядя в лицо Клима золотистыми зрачками, она сказала:

— Самгин? Мы слышали про вас: личность загадочная.

— Кто это вам сказал?

— Яков Тагильский, которому мы не верим. Но, кажется, он прав: у вас вид человека ученого и скептическая бородка, и мы уже переполнены почтением к вам. Алешка — не дури!

Это она крикнула потому, что Гогин, подхватив ее под локти, приподнял с пола и переставил в сторону от Клима, говоря:

— Не удивляйтесь, это — кукла, внутри у нее — опилки, а говорит она...

— Не верьте ему, — кричала Татьяна, отталкивая брата плечом, но тут Любаша увлекла Гогина к себе, а Варвара попросила девушку помочь ей; Самгин был доволен, что его оставили в покое, люди такого типа всегда стесняли его, он не знал, как держаться с ними. Он

находил, что такие люди особенно неудачно выдумали себя, это — весельчаки по профессии, они сделали шутовство своим ремеслом. Серьезного человека раздражает обязанность любезно улыбаться в ответ на шуточки, в которых нет ничего смешного. Вот Алексей Гогин говорит Любаше:

— Не рычи! Доказано, что политика — дочь экономики и естественно, что он ухаживает за дочерью...

Барвару он поучает тоном дьячка, читающего «Часослов».

— «Добре бо Аристотель глаголет: аще бы и выше круга лунного человек был, и тамо бы умер», — а, потому, Варечка, не заноситесь!

И не смешно, что Татьяна говорит о себе во множественном числе, а на вопрос Самгина: — почему? ответила:

— Потому что чувствую себя жилищем множества личностей, и все они в ссоре друг с другом.

Но через некоторое время Клим подумал, что, пожалуй, она права, веселится она слишком шумно и как бы затем, чтоб скрыть тревогу. Невозможно было представить какова она наедине с самою собой, а Самгин был уверен, что он легко и безошибочно видит каждого знакомого ему человека, каков он сам с собою, без парадных одежд. Даже внешне Татьяна Гогина была трудно уловима, быстрота ее нервных жестов не согласовалась с замедленной речью, а дурашливая речь не ладила с недоверчивым взглядом металлических и желтоватых неприятных глаз. Была она стройная, крепкая, но темносерый костюм сидел на теле небрежно; каштановые волосы ее росли как-то прядями, но были не волнисты и некрасиво сжимали ее круглое, русское лицо.

— Не обижай Алешку, — просила она Любашу и, без паузы, тем же тоном — брату: — Прекрати фокусы! Налейте крепкого, Варя! — сказала она, отодвигая от себя недопитую чашку чаю. Клим подозревал, что все это говорится ею без нужды и что она, должно-быть, очень избалована, капризна, зла. Сидя рядом с ним, заглядывая в лицо его, она спрашивала:

— Об'ясните мне, серьезный человек, как это: вот я девушка из буржуазной семьи, живу я сытно и вообще — не плохо, а все-таки хочу, чтоб эта не плохая жизнь полетела к чорту. Почему?

— Вероятно, это у вас от ума и временное, — не очень любезно ответил Клим, догадываясь, что она хочет начать «интересный разговор».

— Нет, умом я не богата, — сказала она, играя чайной ложкой. — Это — от сердца, я думаю. Что делать?

Она сердила Самгина, мешая ему наблюдать, как ее брат забавляет Барвару и Любашу фокусами. Взглянув на нее через очки, он предложил:

— Устройтесь так, чтоб вас посадили в тюрьму на несколько месяцев.

— Вы думаете, это меня вылечит?

— Наверное, поможет правильно оценить удобства буржуазного быта.

Улыбаясь, она спросила:

— Вы, кажется, не очень высокого мнения о людях?

— Да, не очень, — искренно ответил Самгин, встав и следя за руками Алексея; подняв руки, тот говорил:

— Как видит почтеннейшая публика здесь нет чудес, а только ловкость рук, с чем согласна и наука. Итак: на пиджаке моем по три пуговицы с каждой стороны. Эйн!

Он запахнул пиджак, но тотчас же крикнул:

— Цвей! — рспахнул его, и на одной стороне оказались две пуговицы, на другой — четыре. — Это я сам придумал, — похвастался он.

— Алеша, как это делается? — ребячливо и умоляюще кричала Любаша, а Варвара, дергая рукав пиджака, требовала:

Татьяна пересела к пианино и, передразнивая кого-то, начала

—Покажите подкладку!

петь сдавленным голосом:

«Я обошел сады, луга,
Я видел все цветы
Но в этом мире нет цветка,
Милей душе, чем ты!»

Пошлые слова удачно дополнял пошленький мотив; Любаша, захлебываясь, хохотала над Варварой, которая досадливо пыталась и не могла открыть портсигар, тогда как Гогин открывал его легким прикосновением мизинца. Затем он положил портсигар на плечо себе, двинул плечом, — портсигар соскользнул в карман пиджака. Тогда взбил волосы, сделал свирепое лицо, подошел к сестре:

— Играй «Маскотту». Эй, хор!

Он запел приятным голосом:

«Коль на столе три свечки...
Да, три свечки!
Ктонибудь умрёт!
Ум-рет!»

мрачно подтвердил хор и тотчас же весело запел:

«Да, все приметы, сновиденья
Полны значенья...»

Следующий куплет Гогин пел один:

«Да,—для пустой души
Необходим груз веры!
Ночью все кошки серы,
Женщины—все хороши!»

— Дурак! — крикнула Татьяна, ударив его по голове тетрадкой нот, а он схватил ее и с неожиданной силой, как-то привычно, посадил на плечо себе. Девицы стали отнимать подругу, началась возня, а Самгин, давно поняв, что он лишний в этой компании, незаметно ушел.

Сероватый туман стоял над городом, украшая его инеем, ветви деревьев и провода телеграфа были мохнаты. Холод сердито щипал лицо. Самгин шел и думал, что когда Варвара станет его любовницей, для нее наступят не сладкие дни. Да. Она, вероятно, все уже испытала с Маракуевым или с каким-нибудь актером, и это лишило ее права играть роль невинной, влюбленной девочки. Но так как она все-таки играет эту роль, то и будет наказана.

«И нечего медлить, глупо церемониться», — решил он.

А через два—три дня он с удивлением и удовольствием чувствовал, что он весь сосредоточен на одном, совершенно определенном желании. Сравнивая свои чувствования с теми, которые влекли его к Лидии, он находил, что тогда инстинкт наивно и стыдливо рядился в романтические мечты и надежды на что-то необыкновенное, а теперь ничего подобного нет, а есть только вполне свободное и разумное желание овладеть девицей, которая сама хочет этого. Уверенность в том, что он действует свободно, настраивала его все более упрямо, он подстерегал Варвару, как охотник лису, и уже не однажды ввнушал себе:

«Сегодня».

Но каждый раз что-нибудь мешало ему, и каждая неудача, все более усиливая его злое отношение к Варваре, крепче связывала его с нею, он ясно сознавал это. Не удавалось застать Варвару одну, а позвать ее к себе не решался. Варвара никогда не бывала у него. Приходя к ней, он заставал Гогиных, — брат и сестра всегда являлись вместе; заставал мрачного Гусарова, который огорченно беспокоился о том, что «Манифест» с.-д. партии не только не объединяет марксистов с народниками, а еще больше отводит их друг от друга.

— И к чему, при нашей бедности, эти принципиальные нежности? — бормотал он, выкатывая глаза то на Варвару, то на Татьяну, которая не замечала его. А с Гогиным Гусаров был на ты, но слушал его дурашливые речи внимательно, как ученик.

— Не сердись, все — в порядке! — говорил ему Алексей, подмигивая. — Марксисты — народ хитрый, они тебя понимают, они тоже не прочь соединить гневное сердце с расчетливой головой.

Каждая встреча с Гогиным утверждала антипатию Самгина к этому щеголю, к его будничному лицу, его шуточкам, к разглаженным брюкам, к свободе и легкости его движений. Но не без зависти и с досадой Клим должен был признать, что Гогин все-таки человек интересный, он много читал, много знает и владеет своими знаниями так же ловко, как ловко носит свой костюм. Было ясно, что он хорошо осведомлен о революционном движении, хотя сам, наверное, не партийный человек. Трудно представить членом политической, даже игрушечной партии фокусника и почти шута. Но несомненно, что осведомителями жандармов должны служить люди именно такого типа, — все знающие и способные ловко скрывать истинные убеждения свои за обилием знаний.

— Самгин слышал, что Алексей говорит одинаково одобрительно о марксистах и народниках, а утешая Гусарова, любившего огорчаться, сказал:

— Либералы тоже должны будут сострять партию, хотя бы для ради воспитания блудных и укрощения строптивых детишек своих. Все идет, как следует, не рычи!

И, наконец, Клима несколько задевало то, что, относясь к нему вообще внимательно, Гогин, однако, не обнаруживал попыток к сближению с ним. А к Любаше и Варваре он относился, как ребенок, у которого слишком много игрушек и он плохо отличает одну от другой. Варвара явно кокетничала с ним, Самгин находил, что в этом она заходит слишком далеко.

Татьяна, назойливая, точно осенняя муха, допрашивала:

— Вы как относитесь к декадентам? Запоздалый перевод с французского и эпатаж, — только? А вам не кажется, что интерес к Верлену и Верхарну одинаково силен и — это странно?

Самгин чувствовал, что эта большеглазая девица не верит ему, испытывает его. Непонятно было ее отношение к сводному брату; слишком часто и тревожно останавливались неприятные глаза Татьяны на лице Алексея, — так следит жена за мужем с больным сердцем или склонным к неожиданным поступкам, так наблюдают за человеком, которого хотят, но не могут понять.

Однажды, когда Варвара провожала Самгина, он, раздраженный тем, что его провожают весело, обнял ее шею, запрокинул другой рукою голову ее и крепко, озлобленно поцеловал в губы. Она, задыхаясь, отшатнулась, взглянула на него, закусив губу, и на глазах ее как-будто выступили слезы. Самгин вышел на улицу в настроении человека, которому удалась маленькая месть и который честно предупредил врага о том, что его ждет.

Через несколько дней он снова пришел к Варваре, но не застал ее дома; в столовой сидели Гогины и Любаша.

— Вот еще о ком забыли мы! — вскричала Любаша и быстрым говорком рассказала Климу: у Лютова будет вечеринка с музыкой, танцами, с участием литераторов, возможно, что придет сама Ермолова.

— Алина будет, вообще, — замечательно! Желающие костюмируются, билеты не дешевле пяти рублей, а дороже — хоть до тысячи; сколько можешь продать?

— В пользу кого или чего? — спросил он, соображая, под каким бы предлогом отказаться от продажи билетов. Гогина, записывая что-то на листе бумаги, ответила:

— В пользу слепорожденных камчадалов.

А брат ее, считая розовые бумажки, прибавил:

— И на реставрацию стен Кремля.

При этих людях Самгин не решился отказаться от неприятного поручения. Он взял пять билетов, решив, что заплатит за все, а на вечеринку не пойдет.

Но — передумал и через несколько дней, одетый алхимиком, стоял в знакомой прихожей Лютова у столика, за которым сидела, отбирая билеты, монахиня, лицо ее было прикрыто полумаской, но по неохотной улыбке тонких губ, Самгин тотчас же узнал, кто это. У дверей в зал раскачивался Лютов в парчевом кафтане, в мурмолке и сафьяновых сапогах; держа в руке, точно зонтик, кривую саблю, он побрякивал, покашливал и, отвешивая гостям поклоны приказчика, говорил однообразно и озабоченно:

— Милости прошу... Прошу пожаловать...

Косые глаза его бегали быстрее и тревожней, чем всегда, цепкие взгляды как-будто пытались сорвать маски с ряженных. Серое лицо потело, он стирал пот платком и встряхивал платок, точно стёр им пыль. Самгин подумал, что гораздо более к лицу Лютова был бы костюм приказного дьяка и не сабля в руке, а чернильница у пояса.

Отстранив его рассчитанно важным жестом, Самгин встал в дверях.

— Парацельс? Агриппа, а? — пробормотал в плечо ему Лютов беспокойно и тихо. — Милости прошу... хэ-хэ!

Путь Самгину преграждала группа гостей, среди нее—два знакомых адвоката, одетые, как на суде, во фраках, перед ними тощий мужик, в синей, пестрядинной рубахе, подпоясанный мочальной веревкой, в синих портках, на ногах—новенькие лапти, а на голове рыжеватый паричок; маленькое, мелкое лицо его оклеено комически растрепанной бородкой, и был он похож не на мужика, а на куплетиста из дешевого трактира. Клим знал его: это — Ермаков, замечательный анекдотист, искуснейший чтец рассказов Чехова, добрейший человек и богема.

— Коркунов? — ворковал он. — Ну, что же Коркунов? Это — для гимназистов. Вот, я вам расскажу о нем... дорогу чародею, — вскричал он, отскочив от Самгина.

В зале было человек сорок, но тусклые зеркала в простенках размножали людей; казалось, что цыганки, маркизы, клоуны выскакивают, вывертываясь из темных стен и в следующую минуту наполняют зал так тесно, что танцевать будет нельзя. В зеркале Самгин видел, что музыку делает в углу маленький черный человечек с взлохмаченной головой игрушечного чортика; он судорожно изгибался на стуле, хватал клавиши длинными пальцами, точно лапшу месил, музыку плохо слышно было сквозь топот и шарканье ног, смех, крики, говор зрителей; но был слышен тревожный звон хрустальных подвесок двух люстр.

Среди танцующих глаза Самгина тотчас поймали Варвару. Она была вся в зеленом, украшена травами из лент, чулки ее сплошь в серебряных блестках, на распущенных волосах — веночек из трав и желтых цветов; она — без маски, но искусно подгримирована: огромные, глубоко провалившиеся глаза, необыкновенно изогнутые брови, яркие губы, от этого лицо ее сделалось замученным, раздражающе и нечеловечески красивым. Ее удивительно легко кружил китаец в синей

кофте, толстенький, круглоголовый, с лицом кота; длинная коса его была Варвару по голой спине, по плечам, она смеялась. Чешуйчатые ноги ее почти не касались пола, тяжелые космы волос, переплетенных водорослями, оттягивали голову ее назад, мелкие, рыбы зубы ее блестя голодно и жадно.

— По-озвольте, — говорил широкоплечий матрос впереди Самгина, — юридическая наука наша в лице Петражицкого...

Самгин коснулся его локтя магическим жезлом, — матрос обернулся и закричал, как знакомому:

— Ага, фокусник! Пожалуйте...

— Не фокусник, — маг, — внушительно поправил кто-то.

— Примите мое презрение, — мрачным голосом сказал Самгин.

Цветным шариком каталась, подпрыгивала Любаша, одетая деревенской девицей, комически грубо раскрасив круглое лицо свое; она толкала людей, громко шмыгала носом и покрикивала:

— Иде тут, который мой милёнок?

Самгин шагал среди танцующих, мешая им, с упорством близорукого рассматривая ряженных, и сердился на себя за то, что выбрал неудобный костюм, в котором путаются ноги. Среди ряженных он узнал Гогина, одетого оперным Фаустом; клоун, которого он ведет под руку, вероятно, Татьяна. Длинный арлекин, зачем-то надевший рыжий парик и шляпу итальянского бандита, толкнул Самгина, схватил его за плечо и тихонько извинился:

— Извините, предрассудок! Ведь вы — предрассудок, да?

Самгин молча отстранил его. На подокойнике сидел, покуривая, большой человек в полумаске, с широкой фальшивой бородой; на нем костюм средневекового цехового мастера, кожаный передник, это делало его очень заметным среди пестрых фигур. Когда кончили танцевать и китаец бережно усадил Варвару на стул, человек этот нагнулся к ней и, придерживая бороду, сказал:

— С такими глазами вам, русалка, надо бы жить не в воде, а в огне, например, — в аду.

— Ад — в душе у меня, и я не русалка, а — дриада...

По голосу Клима узнал в мастере Кутузова, нашел, что он похож на Ганса Сакса, и подумал:

«Неистребим».

Варвару тесно окружили ряженные; обмахивая лицо веером из листьев сабельника, она отвечала на шутки их как-то слишком громко, разглядывала пристально, беспокойно.

«Меня ищет. И кричит для того, чтобы я слышал, где она», — сообразил Самгин без самодовольства, как о чем-то вполне естественном. Его смущало и раздражало ощущение отчужденности от всех этих наряженных людей, ощущение, которое, никогда раньше не отягощая, только приятно подчеркивало сознание его своеобразия, независимости. Он попробовал объяснить раздражение свое неудачным костюмом, который обязывает его держаться с важностью индюка. Но Самгин

уже знал: думая так, он хочет скрыть от себя, что его смущает Кутузов и что ему было бы очень неприятно, если б Кутузов узнал его.

«Наверное, он нелегально в Москве»...

Пианист снова загремел, китаец, взмахнув руками, точно падая, схватил Варвару, жестяной рыцарь подал руку толстой одалиске, но у него отстегнулся наколенник. и пока он пристегивал его одалиску увел полосатый клоун.

— Чорт, — проворчал рыцарь, оторвал наколенник и, сунув его за зеркало, сказал Самгину: — Допотопный дом, вентиляции нет.

Находя, что все это скучно, Самгин прошел в буфет; там, за длинным столом, нагруженным массой бутербродов и бутылок, действовали две дамы—пышная, густобровая испанка и толстощекая дама в сарафане, в кокошнике и в пенсне, переносье у нее было широкое, неудобно для пенсне; оно падало, и дама, сердито лоя его, внушала лысому лакею:

— Пожалуйста, наблюдайте, чтоб сами они ничего не хватали.

В углу возвышался, как идол, огромный, ярко начищенный самовар, фыркающая паром; испанка, разливая чай по стаканам, говорила:

— Нет, Пелагея Петровна, это — не верно, от желудей мясо горкнет, а от пивной барды делается рыхлым.

Женщина в кокошнике сказала:

— Барду надобно покрепче солить.

Самгин взял бутылку белого вина, прошел к столику у окна; там, между стеною и шкафом, сидел, точно в ящике, Тагильский, хлопая себя по колену измятой картонной маской. Он был в синей куртке и в шлеме пожарного солдата, и тяжелых сапогах, все это странно сочеталось с его фарфоровым лицом. Усмехаясь, он посмотрел на Самгина упрямым взглядом нетрезвого человека.

— Весело, чародей?

— Я слишком много знаю для того, чтоб веселиться, — ответил Клим, изменив голос и мрачно.

— Я — тоже, — сказал Тагильский, кивнув головой; шлем с'ехал на уши ему и оттопырил их.

Не первый раз Клим видел его пьяным, и очень хотелось понять: почему этот сдобный, благообразный человек пьет неумеренно.

— Народники устроили? — спросил Тагильский; перед ним на столе тоже стояла бутылка, но уже пустая.

— Не знаю, — ответил Самгин, следя, как мимо двери стремительно мелькают цветисто одетые люди, а двойники их, скользнув по зеркалу, поглощаются серебряной пустотой. Подскакивая на коротеньких ножках пронеслась Любаша в паре с Гансом Саксом, за нею китаец промчал Татьяну.

— Веселятся, — бормотал Тагильский. — Переоделись и — весело. Но, посмотрите, алхимик, сколько Пьеро, клоунов и вообще — дураков? Что это значит?

Самгин, не ответив, налил вина в его стакан. Количество ряженных возросло, толпа стала пестрее, веселей, и где-то близко около двери уже задорно кричал Лютов:

— Ну-с, а вы как бы ответили Понтию Пилату? Христос не решился сказать: аз есмь истина, а вы — вы сказали бы?

Явился писатель Никодим Иванович, тепло одетый в толстый коричневый пиджак, обмотавший шею клетчатым кашнэ; покашливая в рукав, он ходил среди людей, каждому уступая дорогу, и поэтому всех толкал. Обмахиваясь веером, вошла Варвара под руку с Татьяной; спросив чаю, она села почти рядом с Климом, вытянув чешуйчатые ноги под стол. Тагильский торопливо надел измятую маску с облупившимся носом, а Татьяна, кусая бутерброд, сказала:

— Бесцеремонно играет этот виртуоз. Говорят, он — будущая знаменитость: он для этого уже и волосы отрастил.

— Злая вы, Таня, — сказала Варвара, вздохнув.

— Завистлива. Тут — семьдесят пять процентов будущих знаменитостей, а — я? Вот и злюсь.

Гогина пристально посмотрела на Клима, потом на Тагильского, сморщилась, что-то вспоминая, потом, вполголоса, сказала Варваре:

— Вы тоже имеете успех.

— Вероятно потому, что юбка коротка, — тихо ответила Варвара. В двери встала Любаша.

— Прелестно, девушки, а? Пелагея Петровна, пожалуйста петь!

Дама в кокошнике поплыла в зал, увлекая за собою и Любашу.

— Тыква, — проводила ее Татьяна.

Самгин подошел к двери в зал; там шипели, двигали стульями, водворяя тишину; пианист, точно обжигая пальцы о клавиши, выдерживал аккорды, а дама в сарафане, воинственно выгнув могучую грудь, высочайшим голосом и в тоне обиженного человека начала петь:

«Я ли во поле не травушка была!»

Пела она, размахивая пенснэ на черном шнурке, точно пращой, и пела так, чтоб слушатели поняли: аккомпаниатор мешает ей. Татьяна, за спиной Самгина, вставляя в песню недобрые словечки, у нее, должно быть, был неистощимый запас таких словечек, и она разбрасывала их, не жалея. В буфет вошли Лютов и Никодим Иванович; Лютов шагал, ступая на пальцы ног, сафьяновые сапоги его мягко скрипели, саблю он держал обеими руками, за эфес и за конец, поперек живота; писатель, прижимаясь плечом к нему, ворчал:

— Он, вот, напечатал в «Курьере» слащавенький рассказец и — с ним уже носят, а через год у него — книжка, все ахают, не понимая, что это ему вредно...

— Коньяку или водки? — спросил его Лютов, присматриваясь к барышням, и обратился к Самгину: — Во дни младости вашей, астролог, что пили?

— Желчь, — сказал Клима.

— Мрачно, — встряхнув головою, откликнулся Лютов, а Никодим Иванович упрямо говорит:

— Он теперь в похвалах, как муха в патоке...

— Выпейте с нами, мудрец, — приставал Лютов к Самгину. Клим отказался и шагнул в зал, навстречу аплодисментам. Дама в кокошнике отказалась петь, на ее место встала другая, украинка, с незначительным лицом, вся в цветах, в лентах, а рядом с нею — Кутузов. Он снял полумаску, и Самгин подумал, что она и не нужна ему, — фальшивая, серая борода неузнаваемо старила его. Толстый маркиз, впереди Самгина, сказал:

— Феноменальный голос. Сельская учительница или что-то в этом роде. Знаменито поет.

Отлично спели трио «Ночевала тучка золотая», затем Кутузов и учительница начали «Не искушай». Лицо Кутузова смягчилось, но пел он как-то слишком торжественно, и это не согласовалось с безнадежными словами поэта. Его партнерша пела артистически, с глубоким драматизмом, и Самгин видел, что она посматривает на Кутузова с досадой или с удивлением. В зале стало так тихо, что Клим слышал скрип корсета Варвары, стоявшей сзади его, обняв Гогину. Лютов, балансируя, держа саблю под мышкой, вытянув шею, двигался в зал, за ним шел писатель, дирижируя рукою с бутербродом в ней.

Певцам неистово аплодировали. Подбежала Сомова, глаза у нее были влажные, лицо счастливое, она восторженно закричала, обращаясь к Варваре:

— Ну, что? Голосок-то? Помнишь, я тебе говорила о нем...

— Но он поет механически, — заметила Гогина.

— Шш! — зашипел Лютов, передвинув саблю за спину, где она повисла, точно хвост. Он стиснул зубы, на лице его вздулись костяные желваки, пот блестел на виске, и левая нога вздрагивала под кафтаном. За ним стоял полосатый арлекин, детски положив подбородок на плечо Лютова, подняв руку выше головы, сжимая и разжимая пальцы.

Кутузов спел «Уймиться волнения страсти», тогда Лютов бросился к нему и сквозь крики, сквозь плеск ладоней завизжал:

— Позвольте! Извините... Голосище у вас капитальнейший, да!

Лютов задыхался от возбуждения, переступал с ноги на ногу, бородака его лезла в лицо Кутузова, он размахивал платком и кричал:

— Но — так не поют! Так нельзя!

Публика примолкла, заинтересованная истерическим наскоком боярина и добродушным удивлением бородатого мастерового.

— Нельзя? — спросил он. — Почему нельзя?

— Вы отрицаете смысл романсов, вы даже как-будто иронизируете...

— Бесстрастием хвастаетесь, — крикнула Любаша.

Кутузов густо засмеялся.

— Да вы прямо скажите: плохо!

— Позвольте мне об'яснить, — требовательно попросил Никодим Иванович, и, когда Лютов, покосясь на него, замолчал, а Любаша, скорчив лицо гримаской, отскочила в сторону, писатель, покашляв в рукав пиджака, авторитетно заговорил:

— Хорошо, но — не так. Вы поете о страдании, о волнениях страсти...

— Ну, знаете, я до пряностей не охотник; мне мои щи и без перца вкусны, — сказал Кутузов, улыбаясь. — Я люблю музыку, а не слова, приделанные к ней...

Лютов обернулся, крикнул в буфет:

— Николай, — стол! Два стола...

И, дернув перевязь сабли, плачевно попросил арлекина:

— Да сними ты с меня эту дуру!

По этому возгласу Самгин узнал в арлекине Макарова.

— Позвольте, как это понять? — строго спрашивал писатель в то время, как публика, наседая на Кутузова, толкала его в буфет. — История создается страстями, страданиями...

Лакей вдвинул в толпу стол, к нему — другой и, с ловкостью акробата подбросив к ним стулья, начал ставить на стол бутылки, стаканы; кто-то подбил ему руку и одна бутылка, упав на стаканы, разбила их.

— Чорт! — закричал Лютов. — Если не умеешь...

Но сейчас же опомнился, забормотал:

— Ну, скорее, брат, скорее! Садитесь, господа, поговорим...

Было жарко, душно. В зале гремел смех, там кто-то рассказывал армянские анекдоты, а рядом с Климом белокурый, кудрявый паж, размахивая беретом, говорил украинке:

— Никто не может доказать мне, что борьба между людьми — навсегда обязательна...

Человек, одетый крестьянином, ведя под руку монахиню, проверявшую билеты, говорил в ухо ей:

— Нет, материализмом наш народ не заразится...

Самгин стоял в двери, глядя как суетливо разливает Лютов вино по стаканам, сует стаканы в руки людей, расплескивая вино, и говорит Кутузову:

— Вот — человек оделся рыцарем, — почему? Почему — именно рыцарем?

Кутузов, со стаканом вина в руке, смеялся, закинув голову, выгнув кадык, и под его фальшивой бородой Клим видел настоящую. Кутузов сказал, должно быть, что-то, очень раздражившее людей, на него кричали несколько человек сразу, и громче всех — человек, одетый крестьянином:

— Не новость! Нам еще пророки обещали: «И будет яко персть от колесе богатство нечестивых и яко прах летяй» — да-с!

В зале снова гремел рояль, топали танцоры, дразнила зеленая русалка, мелькая в об'ятнях китайца. Рядом с Климом встала монахиня,

прислонясь плечом к раме двери, сложив благочестиво руки на животе. Он заглянул в жуткие щелочки ее полумаски и сказал очень мрачно:

— Я вас знаю.

— Разве?—тихо и равнодушно спросила она.

— Вас зовут Мария Ивановна, вы живете...

Самгин назвал переулок, в котором эта женщина встретила его, когда он шел под конвоем сыщика и жандарма. Женщина выпустила из рукава кипарисовые четки и, быстро перебирая их тонкими пальцами красивой руки, спросила, улыбаясь насильственной улыбкой:

— А еще что?

— Я знаю о вас все.

— Вот как? Тогда вы знаете обо мне больше, чем я,—ответила монахиня фразой, которую Самгин где-то читал.

«Книжники»,—подумал он, глядя, как монахиня пробирается к столам, где люди уже не кричали и раздавался голос Кутузова:

— Восьмидесятые годы хорошо обнаружили, что интеллигенция, в массе своей, вовсе не революционна...

— Неправда!

— Верно!—сказал Тагильский, держа шлем в руке, точно слепой нищий чашку.

Поправив на голове остроконечный колпак, пощупав маску, Самгин подвинулся ко столу. Кружево маски, смоченное вином и потом, прилипало к подбородку, мантия путалась в ногах. Раздраженный этим, он взял бутылку очень холодного пива и жадно выпил ее, стакан за стаканом, слушая, как спокойно и неохотно Кутузов говорит:

— Теперь, когда марксизм лишил интеллигенцию чинов и званий, незаконно присвоенных ею...

— Позвольте!—гневно крикнул кто-то.

— Не мешайте!

— Нет, позвольте! Я—по вопросу о законности...

— Долой нигилистов! — рывкнул нетрезвый человек в голубом кафтане, белом парике и в охотничьих сапогах по колено.

Сердитым ручейком и неуместно пробивался сквозь голоса негодующих звонкий голосок Любаши:

— Думаете, что если вы дали пять рублей в пользу политических, так этим уже куплено вами место в истории...

Из угла, из-за шкафа, вместе со скрежетом рыцарских доспехов, плыла басовитая речь Стратонова:

— Р-реакции—законны; реакция—эпоха, когда укрепляются завоевания культуры...

— Толстыми и Победоносцевыми,—крикнул кто-то.

Говорили все сразу и так, как будто боялись внезапно онеметь. Перед Кутузовым публика теснилась, точно в Зоологическом саду перед зверем, которого хочется раздражить. Писатель, рассердясь, кричал:

— Ваш «Манифест» — бездарнейший фельетон!

А он говорил в темя писателя:

— На борьбу народовольцев против самодержавия так называемое общество смотрело, как на любительский спектакль...

Перед Самгиным встал Тагильский. С размаха надел на голову медный шлем, он сжал кулаки и начал искать ими карманы в куртке; нашел, спрятал кулаки и приподнял плечи, розовая шея его потемнела, звучно чмокнув, он забормотал что-то, но его заглушил хохот Кутузова и еще двух — трех людей. Потом Кутузов сказал:

— Ну, господа, довольно высиживать болтунов! Веселиться, так веселиться.

Самгина сильно толкнули; это китаец, выкатив глаза, облизывая губы, пробивался к буфету. Самгин пошел за ним, посмотрел, как торопливо, жадно китаец выпил стакан остывшего чая и, бросив на блюдо бутербродов грязную рублевую бумажку, снова побежал в залу. Успокоившийся писатель, наливая пиво в стакан, внушал человеку в голубом кафтане:

— Особенно вредна, Гославский, копченая колбаса, как, впрочем, и всякие копченья...

Самгин выпил рюмку коньяка, подождал, пока прошло ощущение ожога во рту, и выпил еще. Давно уже он не испытывал столь острого раздражения против людей, давно не чувствовал себя так одиноким. К этому чувству присоединилась тоскливая зависть,— как хорошо было бы обладать грубой дерзостью Кутузова, говорить в лицо людей то, что думаешь о них. Сказать бы им:

«Идиоты! Чего вы хотите? Чтоб народ всосал вас в себя, как болото всасывает телят? Чтоб рабочие спасли вас от этой пустой, словесной жизни?»

Ах, многое можно бы сказать этим книжникам, церковникам. И—придет мой час, скажу!»

Он вышел в залу, толкнув плечом монахиню, видел, что она отмахнулась от него четками, но не извинилась. Пианист отчаянно барабанил русскую; в плотном, пестром кольце людей, хлопавших ладонями в такт музыке, дробно топали две пары ног, плясали китаец и грузин.

— Я т-тебя усовершенствую!—покрикивал китаец, удивительно легко отскакивая от пола.

Заломив руки, покачивая бедрами, Варвара пошла навстречу китайцу. Она вспотела, грим на лице ее растаял, лицо было неузнаваемо соблазнительно. Она так бесстыдно извивалась перед китайцем, прыгавшим вокруг нее в присядку, с такой вызывающей улыбкой смотрела в толстое лицо, что Самгин возмутился и почувствовал: от возмущения он еще более пьянеет.

Чешуйчатые ноги Варвары вздрагивали в буйных судорогах, обнажались выше колен, видно было кружево панталон.

Клим Самгин крепко закрыл глаза, сжал зубы и вспомнил свое желание взять эту девицу униженно для нее, взять и отплатить ей за свою неудачную связь с Лидией и вообще за все.

— Сейчас она, конечно, не помнит обо мне... не помнит!

Плясать кончили, публика неистово кричала, аплодировала; китаец, взяв русалку под руку, вел ее в буфет, где тоже орал, как на базаре, китаец заглядывал в лицо Варвары, шептал ей что-то, лицо его нелепо расширилось, таяло, улыбался он так, что уши передвинулись к затылку. Самгин отошел в угол, сел и, сняв маску, спрятал ее в карман.

— Хор! Хор! — кричал рыженький клоун, вскочив на стул, размахивая руками; его тотчас окружило десятка два людей, все подняли головы.

— Раз, два, три! — скомандовал он, подпрыгивая, протянув руки над головами, и в разброд, не ладно, люди запели:

Из страны, страны далекой
С Волги матушки широкой
Ради славного труда...

— Собрались мы сюда, — преждевременно зарычал пьяный, в белом парике.

Ради вольности веселой.

— Собрались мы сюда, — повторил пьяный и закричал:

— Почему — с Волги? Я — из Тамбова!

И, когда запели следующий куплет, он третий раз провыл, но уже тенором, закатив глаза:

— Со-обрались мы сюда-а...

Кроме этих слов, он ничего не помнил, но зато эти слова помнил слишком хорошо и, тыкая красным кулаком в сторону дирижера, как бы желая ударить его по животу, свирепея все более, наливаясь кровью, выкатывая глаза, орал на разные голоса:

— Со-обрались м-мы...

Кричал он до поры, пока хористы не догадались, что им не заглушить его, тогда они вдруг перестали петь, быстро разошлись а этот солист, бессильно опустив руки, протянул, но уже тоненьким голоском:

— Со-о-о...

Оглянулся и обиженно спросил:

— Почему?

Самгину очень понравилось, что этот человек помешал петь надоевшую, неумную песню. Клим, качаясь на стуле, смеялся. Пьяный шагнул к нему, остановился, присмотрелся и тоже начал смеяться, говоря:

— Чорт знает что, а? Чорт знает...

Он взял Самгина за ворот, поднял его и сказал:

— Слушай, дядя, чучело, идем, выпьем, милый! Ты — один, я — один, два! Дорого у них все, ну, ничего! Революция стоит денег — ничего! Со-обрались м-мы... — проревел он в ухо Клима и, обняв, поцеловал его в плечо:

— Люблю эдаких!

Самгин выпил с ним чего-то крепкого, подошел Тагильский пьяный, бросился на него:

— Яша! Я тебя искал, искал...

В зале вдруг стало тихо и зазвучал рыдающий голос Лютова:

— Вот — наша звезда... богиня... Венера — ура-а!

В дверях буфетной встала Алина, платье на ней было так ослепительно бело, что Самгин мигнул; у пояса—цветы, гирлянда их спускалась по бедру до подола, на голове — тоже цветы, в руках блестел веер, и вся она блестела, точно огромная рыба. Стало тихо, все приоткрылось, осторожно отодвигаясь от нее. Лютов вертелся, хватая стулья, и бормотал:

— Шампанского, Егор! Костя, где ты? Костя!

Казалось, что он тает, сокращается и сейчас исчезнет, как тень. Алина, склонясь к Любаше, тихо говорила ей что-то и смеялась. Подскочила Варвара, дергая за руки Татьяну Гогину, рядом с Климом очутился Кутузов и сказал, вздохнув:

— Вот это — да!

Сквозь хмель Клим подумал, что при Алине стало как-то благочестиво и что это очень смешно. Он захотел показать, что эта женщина, ошеломившая всех своей красотой,—ничто для него. Усмехаясь, он пошел к ней, чтоб сказать что-то очень фамильярное, отчего она должна будет смутиться, но она воскликнула:

— Боже, это Клим! И пьян так, что даже позеленел!.. Но костюм идет к тебе. Ты — пьешь? Вот, не ожидала!

— Да, пью! — сказал Самгин. — Я тут...

У него было очень много слов, которые он хотел сказать, но все это были тяжелые слова, язык не поднимал их, и Самгин говорил:

— Пью. Один. Это мой «Манифест». Ты читала? Нет. Я тоже.

Потом он стоял у стола, и Варвара тихо спрашивала его:

— Вам плохо?

Плохо, — согласился он. — Вы пляшете плохо. Неприлично.

— Хотите ершика? — слышал он.

Выпив лимонада с коньяком, Самгин почувствовал себя несколько освеженным и спросил, нахмурясь:

— Китаец, это кто?

И, когда Варвара назвала редактора бойкой газеты, ему стало грустно.

И с этого момента уже не помнил ничего. Проснулся он в комнате, которую не узнал, но большая фотография дяди Хрисанфа подсказала ему, где он. Сквозь занавески окна в сумрак проникали солнечные лучи необыкновенного цвета, верхние стекла показывали кусок неба, это заставило Самгина вспомнить комнатушку в жандармском управлении.

(Окончание следует).

„П а р к и“

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

Здравствуй, Европа!
Твой галстук — хорош,
Фрак
Замечателен,
Вид... никудышен.

Чем же ты дышишь
и как ты живешь?
Мы, вот, неплохо
Живем
И дышим.

Я не считаю тебя мертвецом.
Ты еще бодрая с виду волчица.
Ты покажи свой товар
Лицом.
Хочется мне
У тебя поучиться.

Сердцем гляди на меня, егоза!
Ты его скрыть
Не сумеешь под платьем.
Да,
И у сердца бывают глаза.
Взгляд их глубок,
Да не всем понятен.

Сердцем, Европа, ты нас помертвей.
В сердце твоём недостаточно крови,
Хоть мостовая в деревне твоей
Лучше стократ
Мостовой в Тамбове.

Мы победнее. Российская грязь
Тысячи партий твоих
Непролазней.
Только у наших сияющих глаз
Нет этих страшных
Багровых подглазниц.

Мы победнее. Но нам по плечу
Радость и горе, и смех и забота...

Так вот иду я. И так бормочу,
Слыша, что сбоку
Поддакивает кто-то.

Это судьба,
мостовую края,
Шествует рядом, едва попевая;
И ведь не чья-нибудь,
А моя,
Боевая.

Г л а в а п е р в а я

1

Судьба моя! Наш путь земной
Не знал подобной передряги.
Судьба моя! Пойдем со мной
Бродяжничать по пышной Праге.

Я не ищу того, кто здесь
Толстей,
Богатей,
Знаменитей.
Наверно, не случится днесь
Каких-нибудь больших событий.

Что нам герой! Что нам злодей!
Что нам потомки и предтечи!
Поищем будничных людей,
Живущих в буднях человечьих.

Не пыжься, гнев! Ложись в груди,
Да в сердце не стучи, что дятел.
Спокойненько на все гляди,
Как посторонний наблюдатель.

Мы — только гости в дет-стране,
Чья мать лопнула при родах¹⁾.
Невместно ни тебе, ни мне
Прервать Вацлава²⁾ сладкий отдых,

¹⁾ Австро-венгерская монархия.

²⁾ Памятник св. Вацлава — место, куда стремятся демонстрации. С поста-
мента памятника митингуют.

Чтобы советовать друзьям,
Живущим у глухой заставы,
Прибрать все то к своим рукам,
Что им принадлежит по праву.

В какой-нибудь хороший час,
Не скоро, может быть, но складно,
Все это сделает без нас
Рабочий Праги, Брно и Кладно.

Без нас тут загорится бой,
И вывесят иные флаги...

Судьба моя!
Пойдем со мной
Бродяжничать по пышной Праге.

2

Овечки невинной кротче,
Сквозь пражский густой туман
Идет неспеша заводчик,
Такой же, как все,
пан.

Кто скажет, что он развратен?
Он опытом
Умудрен.
Он в год на любовниц тратит
Не больше ста тысяч крон¹⁾.

Не смят он картежным угаром.
К семье —

он любовью влеком.
Он видом совсем не шикарен
И ходит нередко
Пешком.

Он к церкви не пышет усердьем.
Смешно ему ангельский чин.
Но к ближнему
он милосерден,

Как подлинный
Христианин.

Гляди! Он подходит к розам.
Любовнице нужен букет...
Вдруг сбоку
Он видит скелет,
Из'еденный туберкулезом.

Заводчик взволнован. Он тронут.
Он нищему хочет помочь.
Но, кинув блестящую крону,
Он быстро
отходит прочь.

Звенит о панель подаянье,
Но нищий его не берет.
Веселье воспоминанья
Кривят
Замерзающий рот.

В своем благодетеле кротком
Узнал он того толстяка,
Что дал ему труд у станка,
И жалованье,
И чахотку.

3

Вдруг
У нищего
Род столбняка.
Нищий не может
Сделать движенья,
Чувствуя,
Что на плече
Рука,
А у руки
Полицейское продолженье.

Нищий не хочет
Итти под арест.
Сердце от горя
Рвется на части.
Трое детишек...
а это, мол, крест...
Смилуйтесь, пан,
Над глубоким несчастьем.

Но неподвижна
Железная морда.
Он, полицейский,
Знает одно:
«Нищим
На главных улицах города
Появляться без воротничков
Запрещено».

¹⁾ Крона — шесть копеек.

Ах, вот оно! Ну, что ж? Отлично.
Вполне я

удовлетворен.

Я вижу в действии закон:
«Умри! Подохни! Но — прилично».

4

Судьба моя! Вход очень труден,
Однако, мы теперь зайдем
В какой-нибудь приличный дом,
К каким-нибудь приличным людям.

Весь мир пусть будет позабыт.
Нужна ль нам нынче мешанина?
Возьмем жилище мещанина
И конденсированный быт.

Они здесь дивно хороши,
Красивые во всем красивом.
Мы возвеличим их, как символ!..
Но только ты не так спеш.

Ну, ладно. Двинем вот сюда,
Хоть это в Чехии не в моде.
Здесь в гости, милая, не ходят.
Здесь гость —
и редкость,
и беда.

Не думай, что хозяин беден,
Хоть он совсем не богатей.
Но появление гостей
Считают в Праге явным бредом.

Гость — лирика. А здесь народ
Предпочитает личный эпос.
Тут каждая квартира — крепость,
В которую не всяк войдет.

Семья! Вот крепость, вот ячейка
Большой партии Жратвы,
Чей лозунг «дай!», чье знамя «рви!
Чей пыл, чья цель, чей вождь — Ко-
пейка.

Ячейка эта так живет,
Что каждый грош в ее кармане
Распределен уже заране
На каждый день, на целый год.

Вот столько крон — еда и платье.
Рождение сына (июль) — вино.
Февраль — театр. Ноябрь — кино.
А это... хе! гм!.. на об'ятья.

Пожалуй, будет ничего
Продуть немного больше в кости.
Но ложка сахара для гостя, —
Простите,
это мотовство.

Не значится сего расхода,
Конечно, ни в одной графе.
Совсем другой фасон — кафэ,
Где место встреч такого рода.

В кафэ
они, гостей любя,
Приветствуют их речью, гостом..
А дело об'яснится просто.
Там каждый платит за себя.

Обычай, может быть, хорош.
В России он нам даже нужен.
Но здесь —
повесятся за ужин,
А дружбу
отдадут за грош.

Гляди же! Вот она, квартира!
Она, творя свои дела,
Совсем не плохо бы жила
И без людей...
да и без мира.

«Копи!» — сей лозунг здесь
любим
«Копи!» — здесь крик и речь,
и шопот.
И люди копят... копят... копят.
А для чего —
Мы поглядим.

5

Здесь жизнь
пресловутого рая блаженной.
Восторженной одой разлейся мой
стих!

Не любят здесь грохота,
Быстрых движений,
А больше всего здесь не любят худых

Поэтому,
 нежным почтением согретый
 к законам, которых никак не
 стереть,
 Еще, подымаясь по лестнице этой,
 Любой человек
 Начинает полнеть.

Вот комнаты. Тут,
 начиная с прихожей,
 Добротностью дышит земная юдоль.
 Здесь любят все круглое...
 все, что похоже
 На них,
 На хозяев...
 Иль, скажем, на НОЛЬ.

Рабфаковец наш
 Тут стоял бы разиней,
 Придавленный грузом в десятки пу-
 дов.

Ведь все здесь
 как-будто обито резиной.
 Все вещи без ребер.
 Без острых углов.
 О, вещи! Дано вам могущество вла-
 сти.
 Дано вам отталкивать, радовать, сечь.
 Вы в силах вязать
 и развязывать страсти,
 Душить или двигать
 И мысли,
 И речь.

Гляди! Под тобою качается зыбкой
 Ласкающий пол,
 Заменявший волну.
 А воздух облил тебя патокой липкой
 И клеит к постели,
 К покою,
 Ко сну.

Обои в цветочках —
 и сада не надо!
 Грудастые вещи столпились вокруг
 И жмут тебе руки,
 И вялости рады,
 Влекут на диван,
 предлагают чубук.

Покойные туфли приклепали сами
 И вот уже ласково нежат ступню.
 Широкий халат подружился с пле-
 чами.

А кресло
 Придвинуло ноги к огню.

Лопочут портьеры, шуршат занаве-
 ски
 Сливаются в музыку мирных времен
 Мохнатеньких ковриков тихие вспле-
 ски,

Гуденье комода
 И кухонный звон.

Кругом безделушки смеются игриво,
 На тихих картинках покоится взгляд.
 А вот уже суп
 (кулинарное диво!),
 А вот уже вечер,
 А вот уже спят.

И все умолкает.
 В священном томленьи
 Все вещи,
 И воздух,
 И даже порог,
 Главу преклонивши, упав на колени
 Внимают душой,
 Как вздыхает их бог.

О, благостный бог! Ты помилуй их
 души!
 Внемли ты их мыслям и чувствам про-
 стым!

О, мягкость перины!
 О, пухлость подушек!
 О, тонкости кружев!
 О, нега простынь!

Ты чудо небесное. Чудо земное.
 Служить тебе каждый до гроба готов.
 Здесь все для тебя,
 От тебя,
 За тобою,
 И ныне, и присно, во веки веков
 АМИНЬ!

Глава вторая

6.

Стой, судьба моя! Ни с места!
Будь сперва довольна малым.
Нас приветствует семейство
Будничным
Густым скандалом.

Вот взволнованная очень
Мать рычит,
 грохочет,
 стонет,
А растерянный сыночек
Молча трет свои ладони.

Что случилось? Что за счеты?
Может, он подлог устроил?
Может, он убил кого-то?
Нет,
Ни то и ни другое.

Покурить сынку хотелось.
Допустимая привычка!
Но откуда взял он смелость
Закурить от целой спички?

Эдак, несомненно, рухнет
Все благополучье сразу.
Как не знал он, что на кухне
Можно закурить от газа?!

Рот мамы—словно кратер
В час большого изверженья.
Эдак можно ведь растратить
Все отцовы сбереженья!

В мотовстве—свои законы.
Надо знать законы эти.
Нынче—спичка, завтра—кроны,
Послезавтра—
 все на свете.

Стой, судьба моя! Ни слова!
И не смей бежать обратно.
Что ж тут странного такого?
Люди копят. Все понятно.

7.

Ты повинуйся
Моим желаньям
Гнева костер
Мы покамест погасим,
Прежде всего
 Мы на кухню заглянем.
Но уговор:
Не пугайся.

Где вы,
О, где вы, российские бабы?
Вам бы увидеть подобное диво.
Кухня
У нас в общежитьи
Была бы
Неким подобием взрыва.

В стены,
Покрытые красочкой кроткой,
Ангелы кушаний душу вдохнули.
Радостней солнца
 блестят сковородки,
Мягче, чем луны,
 сияют кастрюли.

Полки, плита, потолок или миска—
Это симфонии дней голубиных.
Ну-ка, любой!
С телескопом возьми-ка
Выискать пятнышко в этих краинах!

Чудо-плакат
Мы узрели с порога.
Кухня,
Согласно завету плаката,

«чище, чем совесть безгрешного
бога,

вымытая в бане
трикраты».

Эта хозяйка
Добра
и весьма.
Она на досуге
 (да ведь не как-нибудь,
а сама!)

Вот хоть сегодня...
Варит похлебку прислуге.

Впрочем,
Работа сия не трудна.

Что вам угодно
На самом деле!
Эту похлебку готовит она
Только
Два раза в неделю.

Может прислуга
Три дня подряд
Кушать одно и то же.

Все так прилично. Без лишних трат.
А бережливость
Всего дороже.

8.

Приятно жонглировать судьбами
мира,
Вонзая в телятину дерзостный нож.
Хороший обед, неплохая квартира—
И разговор хорош.

Что в мире творится — не очень
понятно.

Однако, нет лучше подобной игры!
Ведь можно свободно (к тому же
бесплатно)
Выдумывать войны и строить миры.

Докладчик-папаша, небрежно и бегло
Пройдясь по Европе, горящей огнем,
Диктатором Африки делает Швиг-
лу¹⁾,

Неся от Америки крупный заем.

Эх, вот бы пришел человечинка лов-
кий
(Хотя-б не мессия, не бог, не хри-
стос)

И сжег нищету, прекратил заба-
стовки,
Убил революцию, тюрьмы бы снес!..

Конечно, рабочим живется несладко.
Им что-нибудь дать не мешало бы
нам.

¹⁾ Премьер-министр Чехо-Словакии.

Но к ним привилась преплохая по-
вадка
Воздействовать стачкой, не веря сло-
вам.

Однако, важнее
не мир и не войны.
Что песни! Что горе! Что пушечный
гром!

Лишь было бы в этой квартире спо-
койно
И целыми были деньжата и дом.

Большой абажур защищает от света.
Приятная слабость по телу течет.
Докладчик умолк. Он читает в газе-
тах

Парламентский отчет.

«Сегодня,
После пасхальных каникул,
Первым выступил коммунист.
Со скамей порядка послышался
свист,

А сектор восстанья
Зашикал.

Оратор сказал:
— За вниманье спасибо,
Но время мое
Не при чем.
И тут же,
При общем молчаньи, прочел
«Инструкцию о любви к рыбам».

Газета одна,
«Христианское Эхо»,
Писала:

«Ужель не могли б
Хотя бы под Пасху не мучить рыб,—
Любимое кушанье чехов?

Пусть знают хозяйки:
Законы святые
Для твари любой хороши.
Не надо их чистить,
Нельзя потрошить,
Коль рыбы еще живые»

Пункты инструкции
Были несчетны:
Так не годится,
Эдак нельзя...

Оратор сказал:
— Дорогие друзья,
Восславим любовь к животным!

Люди — ценнее.
Но спорить не будем.
Многие
здесь не при чем.
И тут же,
При общем молчании, прочел
«Инструкцию о любви к людям».

Кричал коммунист:
— Мы начнем восхищаться
Жалостью без прикрас.
Я оглашу
полицейский приказ...

«НА СЛУЧАЙ РАБОЧИХ ДЕМОН- СТРАЦИЙ.

Всем городам. Всем отделениям
Ставьте отряды на все пути.
В отдых (на Пасху)
Могут произойти
Рабочие волнения.

Для искоренения коммунизма
Вот вам число... часов... минут...
Глупые люди
эксцессов ждут,
А умные
Могут их вызвать.

Пункты инструкции:
В случае свалки,
Где помогает никто, как бог,
Действует хорошо
Удар под вздох
И плеск резиновой палки.

Впрочем,
Не меньше, чем это,
Годится
В нижнюю челюсть удар кулаком
Вместе с подножкой...
При встречах с врагом
Знать
Приемы джиу-джитсу».

Тут у оратора
Волосы дыбом:
— Вы!
Это вы, коллективный злодей,
Жажущий крови рабочих людей,
Прикрывшись любовью к рыбам.

Нету предела рабочему гневу.
Кто-то сгорит на великом огне!

Оратор сошел
При всеобщей тишине
И при овациях левой».
Большой абажур защищает от света.
Приятное время неслышно течет.
Папаша устал. Он отбросил газету
И начал ругать надоевший отчет.

И он негодует. И он горячится.
Ну, люди! Ну, время! Ну, дни! Ну,
дела!
Полиция дрянь! Никуда не годится.
Такую инструкцию...
скрыть не могла.

Ах, вот оно! Ну, что-ж? Отлично.
Вполне я
удовлетворен.

Я вижу в действии закон:
«Убий! Уродуй! Но — прилично».

9.

Звонок!
Не раньше и не позже,
Но в среду, в шесть часов, точь-в-точь,
К родителям своим пригложим
Замужняя приходит дочь.

За домовитым разговором,
За чашкой кофе,
каждый раз
Проходит незаметно-скоро
Положенный на это час.

Но срок прошел — и дочка встала
За три минуты до семи.
Все точно до конца с начала
У этой трезвенной семьи.

Да... поцелуйную науку
Здесь не давали кустарю:
Мамашу — в губы, папу — в руку,
Братишку — в щеку, в лоб — сестру.

Что? Что такое? Что я вижу!
Эй, караул! Эй, кто-нибудь!
Земля, как-будто, стала ниже,
А небо падает на грудь.

(Лишь стоицизмом философьим
Я вновь спокойствие обрел...)

Дочь, уходя,
Кладет на стол
КРОНУ...
за выпитый кофе.

10.

Я, видно, юн. Я, может, пьян.
А, может, сердце здесь иное?..

...Из форточки
густой туман
Вползает в комнату змеєю.

11.

Младшая дочка
уже на выданьи.
Дорого стоит любимая дочерь!
Платья ей надобно шить
Поневиданней, —
Только и радости,
Что покороче.

Больше всего процедур
С любовью.
Плачет жених,
Да и дочка ноет.

Милый жених! Покажи условия,
Ну, а потом
Остальное.

Судьба моя! Гляди бодрей.
Нуль в степени — нулю и равен.
Вооруженных бунтарей
Мы драться не сюда направим.

Гляди, как тот корсаж красив,
Любуйся дочкой, брошкой, платьем.
Быть Чацким среди этих див
Довольно праздное занятье.

Уйти хочется? Что-ж! Пойдем.
Уходят, кстати, дочка с мамой.
(Прости-прощай приличный дом, —
Подобье рая и Бедлама!)

Пойдем за ними по пятам,
Чтоб знать еще один обычай.
В последний раз расскажут нам
О соблюдении приличий.

Кто этой матери ценней?
Нужны ей кроны, не амурчик.
Ведь лютый цербер перед ней —
Невероятнейший халтурщик!

Но, если к ним жених домой
Придет хотя бы с возом денег,
Немедля вежливой рукой
Его столкнут со всех ступенек.

Ты о любви заводишь речь?
Рассказывай кому другому!
Есть время встреч. Есть место встреч.
Но только, милый мой, не дома.

Забуть приличья
эту мать
Никто бы в жизни не заставил.
Она умеет соблюдать
Милльоны драгоценных правил.

Однако, слушай.
Кто о чем,
А эта мать кричит о бреде.
Мать недовольна женихом.
Он, видишь ли, немного беден.

Любовь здесь вовсе не закон.
Оно, конечно... то и это...
Но, если нет вот столькох крон,
Твоя женитьба под запретом.

Ей шепчет мама: — Погоди!
Дождись другого молодчаги!..

Теперь,
Судьба моя,
гляди,
Как ищут жениховства в Праге.

Вон там кафэ. Портье при нем —
Пресимпатичнейший мордасик!
Мамаша с дочерью вдвоем
Немедленно проходят в дансинг ¹⁾.

¹⁾ Специальный зал для танцев.

Дают им белого вина...
 Так начинают.
 Очень скоро
 Наймет за денежки она
 Профессионального танцора.

Танцует доченька фокстрот,
 А там, глядишь, ее заметят,
 Кто-либо к дочке подойдет,
 На танец пригласит, приветит,
 Начнет встречаться до весны,
 Легонько намекнет на мужа...

Приличья
 все соблюдены
 И дочка продана к тому же.

12.

Слушай! Слушай! Пара минут!
 Бросим торговцев спальней!
 Ты погляди, что творится тут, —
 В том переулке дальнем.

Нежными парами он уплотнен,
 Но проституток — нету!
 Это влюбленные. Те, что без крон,
 Те, что боятся света.

Тихо голубит их мягкая ночь,
 Жметса туманом к лицу их.
 Позже ты встретишь тут милую дочь,
 Ту, что теперь танцует.

Крона всесильна. Кипящую кровь
 Тушит всесильная крона.
 Нечем набавить им там, где любовь
 Продается
 С аукциона.

Грезится парочкам сладкая быть,
 Но небеса
 ревнивы.

Утром
 Останется только пыль
 И презервативы.

Пес шелудивый
 разинет рот,

Жажда прозой в стихи ввязаться,
 Жалобным воем
 Он нам споет
 Гимн
 европейской цивилизации.

13.

Тут прекращается ходьба.
 Уйти от них
 Мы оба рады.

О, Данте мой... то-бишь судьба!
 Мы кончили бродить по аду.

Глава третья.

14.

Густой туман стоит стеной,
 Скрывая улицы и лица.
 Стену тумана бей любой —
 Нельзя разбить,
 Нельзя разбиться...

Туман! Ты мягок, словно воск,
 Но есть в тебе тугие жилы.
 Ты — испарения и мозг
 Невидимой, враждебной силы.

Срок — задан.
 Победитель — дан.
 Недаром время вскачь несется!
 На самый разгустой туман
 Есть ветер
 И удары солнца.

Брожу по улицам опять.
 (Освобожденный гнев тревожит!)
 Пора бы, собственно, поспать,
 Но мозг сегодня спать не может.

Судьба моя идет в туман,
 Держа ружье на изготовку.
 А смех сжимает, как наган,
 Большую толстую свинцовку.

Насмешлив гнев, как ни верти!
 А хохот с ненавистью дружен.
 И то и это
 на пути
 Нам будет светом и оружием.

...Вот человек идет, спеша.
Скажите мне, субъект хваленый:
Из вас изъятая душа
Окажется наверно... кроной?

Мне хочется из озорства
Нахально приставать к прохожим,
Чтоб вежливейшие слова
С пощечинами были схожи.

О, мауцста! ¹⁾ продайте вы
Уставшим от житейской тряски
На геллер—чувств, на два—любви,
На крону — материнской ласки.

Отвесьте радости 100 грамм.
Прибавьте кроху благодетства...
Ведь все здесь,—вы внушали нам,—
Купить за деньги очень просто.

Вы слепы, хоть у вас очки.
Не нужно вам очков мудреных.
Снимите их... о, чудак!
В них вместо стекол... кроны! кроны!

Иду опять. Иду вперед,
Дорогу пробивая грудью.
Куда идет, куда растет
Вот эта жизнь
и эти люди?

О, горе! В будущие дни
Хоть не надолго заглянуть бы!
Как завлекательны они,
Никем неведомые судьбы.

Мне судьбы всех людей важны,
Важно грядущее земное...
Тут образ дикой старины
Внезапно всплыл передо мною.

Мне не был в юности нелеп
Такой рассказ,
простой и яркий...

Хранители людских судеб
У римлян назывались «Парки».

Людскую жизненную нить,
От первых дней до смертной стыни,
Они должны были хранить,

Вот эти «Парки», —
три богини.

У них один и тот же счет,
Движения одни и те же.
Одна из Парок нить прядет,
Вторая — тянет,
третья — режет.

О, кто бы мне сказал сейчас,
Какие Парки ждут веками
Вон тех людей, что вместо глаз
Глядят на этот мир
Грошами!

Тут я, забывшись, крикнул вслух:
— О, Парки, Парки! Вас мне надо!
Где Парки тех людей?..
и вдруг
Услышал громкий голос рядом.

Тот голос врезался в туман,
Пронзив бесчувственную осень.
Он говорил: — тут Парки, пан...
Тут Парки! Парки!
Просим!.. Просим!.. ¹⁾

И я на миг остолбенел.
— Ай, здорово! Ура! Идея!
Ты, парень, видно, очень смел.
Тащи мне их судьбу скорее!

Вдали залаяли часы.
Они залаяли грозяще,
Как стражи верные, как псы,
Домов и дней, в туман глядящих.

И первым начал мой живот...
Я чувствовал большую силу,
Которая его трясет
С почти невероятным пылом.

Я не могу передохнуть.
Живая сила рвет и мечет.
И вот уже трясется грудь,
Трясутся ноги, руки, плечи.

Вселенная,—казалось мне,—
Летит в пространстве по ухабам.
Меня отбросило к стене,
Я падаю вперед и набок...

¹⁾ Обычное в Чехии приветствие.

¹⁾ Просим — по-чешски — «пожалуйста»

Не удержал бы нас никто!
Земля бежит, кружатся дали...

Весь я,
И платье,
И пальто
Грохочуще
Захотали!

Я собеседника сперва
Своим безумьем озадачил,
Но вот он смял свои слова
И подхохотывать мне начал.

И вскорости в туманной мгле
Мы оба, смехом тишь взрывая,
Почти катались по земле,
Потоки слез не вытирая.

Не мог, не мог поведать мне
Ни дальний человек, ни близкий,
Что «Парки» в этой вот стране
По-чешски значили...

СОСИСКИ!

Сосиски-Парки! Ха-ха-ха!
Слова грозны и мысли жарки.
Судьба мещанства не плоха.
Ну, Парки! Парки!
Вот так Парки!

Сосиски! — вот краса красы.
Сосиски! — вот душа перины.
Вдали залаяли, как псы,
Часы на ратуше старинной.

А я, смеясь еще грозней,
С почтительностью сверхсыновней
Доел судьбу мещанских дней
У тихой уличной жаровни.

15.

Иду вперед. Иду опять.
Освобожденный гнев тревожит!
Пора бы, собственно, поспать,
Но мозг сегодня спать не может.

Храпи,
Вздыхай, пуховый бог!
Сосиски-Парки сон твой нежат.
Я знаю, кто в железный срок,
Нить этой жизни перережет.

Над чадом кухонной трубы,
Над жирным пухлым телом зданий,
Точильщик-Время с песней ранней
Несет станок земной судьбы,
И вертит колесо борьбы,
И точит ножницы восстаний.

16.

За темной пеленой тумана
Чуть виден грузный камень стен.

Спокойный плен!.. Туманный плен!..
Клубится шум,

Но мнится странно,
Что город нем, как манекен,
А небо,
Там,

В прорехе стен,
Как затянувшая рана —
За дымной пеленой тумана...

Ни ночь. Ни вечер. Ни рассвет.
Ни знойного, ни злого слова.
И солнца нет. И грома нет.
Покой. Туман. И серый свет.
И умирание дня земного.

Мелькают люди. Гул широк.
Торгуйте! Жрите! Спорьте! Лезьте!
Пусть вихрем вертится волчек,
Он все равно стоит на месте.

Летишь по улицам, спешишь,
Туман руками пробивая.
Туман и дождь! Туман и тишь!
Летишь по улицам, летишь
И кажется, что мостовая
Мягка, как... устрица,
Как... мышь.

Хоть зной сожги! Хоть гром убей!
Где вы,
Бойцы и работяги!?

Тогда
За краем грузной Праги
Сверкнули над туманом дней
Зигзаги заводских огней,
Как молний острые зигзаги.

Запоздавшая весна

Рассказ

Г. НИКИФОРОВ

I

Они встречались около старого осинового сруба на огороде. Сруб имел четыре стены, дверь и одно окно. Когда-то хозяин сруба, кержак Аким Иванович Бунаков, собирался устроить для своих молитвенных надобностей келейку, сладил самолично бревёшки, но настелить пол и покрыть крышей не успел: прихватила Акима Ивановича совсем не во-время нутряная болезнь, и пришло к нему томление духа. Так и осталась келейка недостроенной.

... Они встречались у старого осинового сруба на огороде. Сруб от времени покрылся черными пятнами загнивания, а заброшенный огород зарос дико растущей коноплей, шалфеем, ромашкой, маргаритками и другими немудрящими цветочками. Дранный забор вокруг огорода подпирали унылые ветлы, под ветлами в углу огорода и стоял старый сруб.

Отдаленный угол огорода был лучшим местом для уединенных игр. В майские дни, когда на солнечный припек начинают выползать «божьи коровки» и только что выскочат первые усики трав, Васька: Лихорев уже тут, трепещущий нос его играет крыльями, улавливая еще неясный запах свежести. Пахнет землей, изнемогающей от обилия солнечных ласк, пахнет плодотворной плесенью и хмельной дымкой голубого тумана.

Кричат воробьи. Ох, как хорошо знает десятилетний Васька, о чем кричат воробьи!

«Васька, Васька! — кричат они. — Почему ты, Васька, не умеешь летать? Отчего у тебя нет слов, Васька, чтобы сказать, чего ты хочешь сейчас? Не хочешь ли, Васька, бегать по морю, как по суку, не хочешь ли подняться вместе с голубым туманом к небу?»

Васька плачет. Такая прыгающая радость в его сердце. Если не плакать — сердце заполнит грудь и оборвет дыхание.

Всего хочется Ваське, и, чтобы сказать об этом, он принимается кричать, в крике его нет слов.

— А-а-а, го-го-го! — кричит Васька, забросив голову, закрыв глаза перед солнцем.

Воробьи поднимаются с крыши сарая и падают в зелень ветел.

Наплакавшись и накричавшись, Васька успокаивается, тихий мир проникает в его душу. Тогда он садится около сруба на самом пригреве и, чувствуя теплоту земли, начинает следить за тем, что происходит вокруг него.

Жужжит муха. Жужжанье переходит в непрерывный звон. Васька боится пошевелиться, как бы не оборвать чудесную музыку.

Виининнь, винь... — звенит муха, и вдруг густо и сильно: Бу-ууууммм!

Растянул паук-крестовик невидную на солнце сеть, сам спрятался в щель бревна, долго и терпеливо ждал, когда попадет глупая муха. Муха попалась. Паук-крестовик спешит опутать добычу, но муха все еще продолжает гудеть неистовым, диким гудом.

«Вот и попалась, вот и попалась!» — думает Васька, потом он поднимается и хочет разорвать паутину.

— Вот как ты попался! — слышится позади полный, необыкновенно мягкий голос. И теплые пухлые ладони закрывают Васькины глаза.

— Олька!

— Какая игра с тобой! — говорит капризно Олька и недовольно оттопыривает влажные детские губы. — Для игры ты не должен угадывать сразу.

— А как же?

— Ну, я не знаю, — отвечает Олька, — только так нельзя... Сколько разов говорила тебе!

Васька смущен. Он опускается на корточки около стены и, ковыряя концом прутика землю, молча смотрит на свою подругу снизу вверх.

Олька вся голубая и пышная, как вот этот теплый майский день, и глаза Олькины бездонны, и в глазах широкое голубое небо. Взмахнет Олька руками — пробегут в голубых глазах, как легкие облака, ленты, вплетенные в рукава.

— Давай играть, Васька, — предлагает Олька. — Ты будешь волк, а я как тоже...

Бегая по заросшему огороду, они увлекаются и скоро забывают свою роль. Волк-Васька, смиренно ложится в ногах своей подруги, и розовые колени Ольки, покрытые теплой влагой, тихо согревают Васькину щеку.

Сегодня воскресенье, из города доносятся игривые перезвоны колоколов:

— Тлинь-би-бом, тирь-ли-ли!..

Играют в небе галки, падают и легко взвиваются.

Га, ка-ка, га-ка-ка-ка!

Васька закрывает глаза. Он чувствует, что его подхватили чьи-то невидимые руки и подбросили вверх, к галкам. Он летит высоко над городом. Внизу в удивлении кричат люди, они бегут, чтобы поймать

его. Васька стремительно падает, он вот-вот угодит в руки людей, но одно легкое усилие—и Васька взмывает к солнцу.

Конечно, Васька опустился на землю, и его непременно поймут. Он крепко прижимается к коленям Ольки и открывает глаза.

Отец у Васьки сапожник, и если летает Васька, так только по заказчикам. Часто ему приходится отбиваться от встречных ребят-шек, и еще чаще он получает щелчки и затрещины от разгневанных заказчиков.

— Ничего, Васька! — подбадривает отец. — Вырастешь, хорошим мастером будешь, и заказчик к тебе—с почетом. Такое ли у меня дело было!

Галки продолжают играть. Олька теребит шершавую Васькину голову.

— Васька, Васька! Ты, когда вырастешь большой, будешь со мной жить, как папка с мамой? Скажи, будешь жить?

Васька думает: конечно, он будет жить с ней, как же иначе? Четыре года они встречаются на огороде, около сруба. Да, он будет жить с ней...

Олька спрашивала об этом не раз. Она боится, что Васька задурит и откажется от нее, она торопится его задобрить.

— Дедушка Аким скоро помрет, — сообщает она, — он сам говорил. Дом с огородом достанется папке, папка отдаст мамке, а мама отдаст мне. Честное слово, ей-богу! Я ее спрашивала. Если ты будешь жить со мной, как папка с мамой, тогда все твое, честное слово, ей-богу! Я добрее всех девчонок...

Васька слушает галочью игру.

— А если ты захочешь, — продолжает Олька, — папка подарит тебе шашку и лошадь, ты будешь, как царь-генерал, сделаешь себе усы и бороду, тогда я с тобой, как жена.

— Я хочу мастером, — говорит Васька совершенно серьезным тоном, — это тебе не игрушки, тогда ко мне все заказчики—с почетом. Ну, ну, не плачь, — успокаивает Васька свою подругу, заметив на глазах ее наворачнувшиеся слезы.—Я, может, так-себе говорю... Скажи на милость, какая плакса! Я, может, не люблю, когда плачут, и, может, я даже скоро могу жениться и возьму шашку с лошадью...

Они расстаются к закату солнца. Васька приходит домой необыкновенно веселым и возбужденным. Он уже что-то такое затаил про себя, его голову одолевают громоздкие и страшно сложные мысли. Во-первых, он придумывает, как бы ему ухитриться вырасти поскорее, чтобы жениться на Ольке (пусть она не плачет) и еще сделать себе усы и бороду.

На столе пытит самовар. Отец, сидя в своем углу за верстаком, доковыривает чей-то ботинок.

— Васька! — кричит мать, — где ты это день-деньской шляешься? Садись, попей чайку хоть.

Васька рассматривает себя в это время в зеркало.

«Нет, не растут усы, и шабаш! — вздыхает он. — А Олька хорошая... И лошадь будет, и шашка... Нет, не растут усы...»

— Налей мне, мамка, чаю, — печально говорит Васька, с завистью оглядывая густо заросшее волосами лицо отца. «Вот бы мне такую бороду! — думает он. — И конечное дело, — все мое тогда: и Олька, и шашка с лошастью».

Укладываясь на ночь в постель, Васька долго не может уснуть, он ворочается с боку на бок, вздыхает и тяжело сопит носом.

По полу бродят лунные пятна, они как-будто что-то нащупывают и осторожно перебираются с пола на стену. Васька, следя за пятнами, прислушивается к тишине. В ушах звенит и поет, в этот звон незаметно вливается сверчковая трель, тут у Васьки и начинаются таинственные переговоры.

Осторожная мышь пробежалась по диагонали стола, остановилась на углу и, подняв мордочку, воткнула искорки глаз в лицо Васьки.

«Ага, ты еще не спишь, — говорит мышь писклявым голоском. — Ну, слушай, я расскажу тебе одну интересную историйку...»

«Наврешь, поди-ка, с три короба», — смеется про себя Васька.

«Жил на свете добрый Мальчик, — начинает мышь. — Добрый Мальчик всё видел и всё слышал, только не было у Мальчика слов рассказать о том. Приходила к Мальчику большая радость, хотел Мальчик поделиться радостью с другими и не мог, все не находил слов. Ни песней, ни музыкой нельзя было передать радости, и стала радость тому Мальчику в тягость. Какая уж тут радость, коли невозможно радостью поделиться? Пробовал Мальчик петь, видит — идут мимо люди и не понимают, о чем поет он. Принимался Мальчик играть на скрипке, — останавливались птицы в полете, распускались цветы, розовели облака в небе, засыпали морские волны, а люди продолжали идти, не оглядываясь. Затосковал Мальчик. Вот сидит он однажды у окна, пригорюнился, а в палисаднике Ветерок по деревьям хвостом бьет, с цветами заигрывает. Видит Ветерок — сидит Мальчик, слезы точит. Понял Ветерок Мальчикову печаль и говорит ему: «Э-эх, Добрый Мальчик! Добрый ты, а глупенок. Никогда люди не поймут твоих песен о радости, если в жизни всё обидно устроено».

«Верно!» — мысленно соглашается Васька, вспоминая о том, что нет еще у него ни шашки, ни коня.

А мышка, шевельнув усиками и вытерев лапкой мордочку, продолжает:

«Что же делать мне? — спрашивает Добрый Мальчик у Ветра. — Пойди, — отвечает Ветер, — на край земли, встань ранним утром, когда с неба сыплются звезды, и жди. Упадет первая звезда — хватай ее скорее и торопись к центру земли. Стоит тут страшной высоты гора. Поднимешь ты звезду на гору, увидят ее люди и поймут тогда твои песни о радости...»

«Наплела! — улыбается Васька. — Вот если бы усы мне, тогда бы я показал тебе, какая бывает настоящая радость...»

II

У Васьки появились усы, убедиться в этом можно без зеркала. Но зато умерла мать. Над воротами того дома, где живет Васька, красуется нынче новая вывеска:

«Мастер изящной варшавской обуви Василий Лихорев».

Собственная мастерская! Но лошади, шашки и Ольки все еще нет у Василия Лихорева.

Бывают дни, и Василия Лихорева одолевают сомнения на счет того, что когда-нибудь он будет иметь все, обещанное Олькой. Тогда он выходит на заброшенный огород. Но летние теневые дни, без солнца, наполненные колеблемой туманностью бледной синевы, не дают радости и кажутся такими же скорбными, как глаза его умершей матери.

«Васька, — кричат играющие в ветвях воробьи, — обрати внимание: заказчик к тебе—с почетом! Васька, если ты еще не научился бегать по морю, как по суку, так ведь есть пароходы, ты можешь плыть, куда захочешь. Чего еще нужно тебе?»

Дни уходят, Василий Лихорев не хочет плыть по морю, потому что к старому срубу на огороде все еще приходит его Олька. Она сохранила все те же детские голубые глаза, широко открытые, и припухлость губ, чуть-чуть влажных, только руки стали полнее и округлее. Васька знает нежность их. Ах, если бы можно было плыть на пароходе с Олькой!

«Отчего же не можно?» — спрашивал себя Васька.

И, когда Олька приходила, он говорил, прикасаясь щеками к ладоням ее рук:

— Я устал, Олька, я уже не могу жить детскими разговорами о том, что получу шашку, лошадь и буду жить с тобой, и ты не говоришь этого. Ну вот, я хочу сказать тебе: пускай шашка висит на плечах твоего отца, пускай он раз'езжает на лошади по городу, — полицейскому приставу нужно это. Мне не надо, я хочу только тебя, Олька... Слышишь ты?..

Васька говорит долго, в забывчивости он рвет на груди Ольки замысловатые прошивки легкого платья. В бешенстве на самого себя и на все препятствия, он топчет в ногах свою кепку. Наконец он падает в траву, бьет кулаками о землю и кричит:

— Я люблю тебя, я люблю тебя!

Лихорев выдирает с корнем траву, как будто хочет разодрать грудь земли, он извивается, тычась лбом в траву, влажная земля прилипает к лицу.

— Уйди, Олька, уйди! — беснуется он. — Видишь, какой я... а ты терпеливая, ты очень крепкая девица... Уйди отсюда, уйди!

— Василий, зачем говоришь так? — мучается Олька. — Я не уйду, ты ведь знаешь...

Тогда Лихорев, показывая свое перепачканное лицо, совсем перебьчи начинает дразниться и грозить.

— А-а, ты не хочешь уходить? Ты, значит, влюблена в сапожного мастера Василия Лихорева? Он растрогал твое чувствительное сердце?! А ты поплачь—и все пройдет!

Играют в небе галки, с моря наползают тучи...

— Я пойду в город, — говорит Лихорев, и глаза его округляются. — Я пойду в город и буду рассказывать всем встречным (Васька кричит), всем встречным буду рассказывать, что у меня завелась любовница, дочь пристава Олька Муранова! Чего ты молчишь? Я все могу, я все могу!..

— Василий, — тянется Олька к Лихореву, — Василий, ты очень любишь меня, очень? Тогда я попрошу тебя...

— Ты меня попросишь, чтобы я подождал, когда твой отец отправится на тот свет? — перебивает Василий Ольку. — Ты девчонка и ты дура!.. погоди, погоди! Я хочу сказать тебе: твой отец будет жить сто лет, полтора! Старики всегда злые, твой отец на зло нам будет жить. Он подберет для тебя женишка. У женишка будут две шашки, две лошади...

Василий задыхается и краснеет, он трясет Ольку за плечи и выговаривает шопотом:

— Уйди, Олька, я могу убить тебя, Олька!..

«Должно быть, я не так говорил, — думает Василий, когда Олька уходит. — Отчего у меня язык такой. Голова думает об одном, язык говорит о другом. Пойду и повешусь, пойду и повешусь, тогда никакой Ольки мне не нужно будет...»

Долго еще стоит Василий Лихорев, привалившись спиной к ду-плистому стволу ветлы. В ногах его затоптанная кепка, руки во влажной земле, лицо перепачкано, густые черные волосы, зачесанные на лоб, развалились посередине и свисают на глаза. В голове есть какие-то мысли, но какие — неизвестно: Васька не может поймать их, остановить и разобраться.

Солнце бьет прямо в глаза, глаза слезятся и темнеют. Но Васька не плачет, он хочет припомнить, о чем он минуту назад думал. Руки его касаются шершавой коры ветлы.

— Олька, Олька! — шепчет Лихорев еле слышно. — Я никогда не переставал любить тебя. Может, я говорю не так? Может, ты обиделась? Ах, ты моя хорошая, красавица, милая, голубая! Хочешь, я поцелую тебя, вот так вот!..

Василий Лихорев притягивает ветку ветлы, целует ее и любовно разбирает листья.

— Веришь теперь, как я люблю тебя? — спрашивает он. — Мне очень трудно, Олька! Ох, как мне тягостно, Олька! Давай убежим. Зачем тебе отец? Пусть ему достается дом дедушки Акима, и шашка с лошастью пусть у него... Ты думаешь, мне жалко? Давай убежим, Олька...

Васька долго еще шепчет несвязные слова, он, уходя, забывает поднять кепку и все оглядывается назад, как-будто бы там, где стоит нескладная корявая ветла, осталась его Олька.

Дома Васька не говорит со стариком отцом, он его не видит. Старик тоже давно привык к молчанию. Он ловко и споро вколачивает в подошву сапога деревянные гвозди, зачищает их рашпилем, лижет языком ряды симметрично расположенных гвоздей и принимается потом соскабливать осколком стекла верхний слой подошвы. Летит мелкая кудрявая стружка, старик делает свое дело с увлечением. На кончик его носа медленно сползает пот.

Старик еще силен и кряжист, пятьдесят лет не одолели на голове его густых волос, они медленно поддаются седине. Покончив с подошвой, он неторопливо заворачивает в тонкую папиросную бумагу листовой табак. В эту минуту отдыха его внимание привлекает большой усатый таракан. Старику хочется что-то сказать, но вид сына не располагает к этому, и старик развлекается разговором с бессловесной тварью.

— Чего ты мечешься? — говорит он, обращаясь к таракану. — Приколю вот шилом — и конец тебе будет. Видишь ведь какой, подлец, бойкий! — замечает старик, следя за движениями таракана. — Ну, погоди...

Прицелившись, он сбивает таракана щелчком; разбитый и оглушенный таракан с силой ударяется о стену и падает на пол, он долго и быстро перебирает лапками, хочет подняться — и не может.

Принимаясь залащивать подошву, старый сапожник философствует:

— Вот и судьба человечья такая же: щелкнет человека судьба, тут и конец ему.

Часы, засиженные мухами, торопливо и хрипло отбивают семь раз, судорожно вздрагивает на часовой цепочке гирька. Свет уходящего дня слабо сочится в тусклые окна.

— Ты что думаешь, отец? — спрашивает Васька, подсаживаясь к верстаку. — Ничего не думаешь? Тогда я скажу тебе: ты не бойся, я увертливый, вот увидишь...

III

Созревали яблоки, они наливались густым пахучим соком. На солнце было видно, как играли яблоки полными боками и, утомленные зрелостью, засыпали на ветвях. Травы, переплетаясь, ложились и не вставали, — слабеющие корни переставали пить влагу утренних рос. Густели облака и часто, падая в море, полоскали длинные гривы. Ветер осмелел; бросаясь с берега в море, он будоражил море и рвал облака.

Был конец августа, созревали яблоки. Олька, просыпаясь до солнца, подолгу лежала в постели и со стыдливым любопытством ощу-

пывала груди, чуткие и слегка ноющие от какой-то неясной и томительной боли. Она приподнимала одеяло и, оттягивая ворот сорочки, разглядывала розовеющие соски. Олька чувствовала теплый запах своего тела,—тело пахло зрелыми яблоками, и казалось ей, что вся она пронизана остриями искристых игл. Тогда Олька вытягивала руки и раскрытыми ладонями принималась растирать упругое тело от колен к бедрам, но все время было чувство какой-то неловкости и беспокойства. Соблазняло смешное и странное желание лечь на холодный крашеный пол голой спиной. Олька садилась в постели, сбрасывала к ногам одеяло. Тогда длинные пушистые косы цвета осенней листвы, переливаясь, падали за спину, и начиналась игра. Олька спускала через плечи сорочку, перебрасывала косы на грудь, косы, извиваясь, скользили, как-будто чьи-то посторонние холодные и очень тонкие руки ощупывали тело. Олька вздрагивала, глаза раскрывались шире обыкновенного и теряли определенное направление, они переставали видеть, синева их утрачивала глубину, бледнела, губы расрывались — беспомощно и умоляюще размыкались.

— Василий, Вася, Васютка, — еле слышно звала она и долго прислушивалась, как бы ожидая ответа.

* * *

В соседней комнате грузно завозились, кто-то откашлялся, потом заскрипели половицы. Легкая переборка, отделявшая комнату Ольки от спальни родителей, вздрогнула, приоткрылась дверь, и показалось заспанное лицо отца, просунулась круглая голова с коротко остриженными волосами. Олька увидела прокуренные, желтые усы щеточкой.

— Ты проснулась, Ольга? Вставай, вставай, нечего притворяться! Чего ты вздыхаешь тут?

Олька, нырнувшая при входе отца под одеяло, выглянула одним глазком и сейчас же свернула калачиком.

— Встаю, ладно уж! — глухо донеслось из-под одеяла. — Зачем ты не даешь мне поспать? Уходи отсюда, я тебя не люблю за это...

— Не любишь?..

— Не люблю!

Олька выглянула из-под одеяла. Отец увидел притворно сердитые глаза дочери. Глаза играли за упавшими на лицо волосами.

— Ну, хорошо, — сказал отец, — не люби. А кто же будет поить меня чаем?

— Пристал...

— Ты баловница, я тебя сейчас вот стащу за косы! — пригрозил отец, сделав движение к кровати.

— А я не встану, а я все равно не встану! — закапризничала Олька, повертываясь к стене.

— Вот как! — удивился отец, и усы его, топорщась, поднялись. — Хорошо же!

Он захватил угол одеяла.

— Ах, ты!..

Олька вытянулась и замерла. Шершавые пальцы отца легли на оголенные плечи дочери.

— Ммм... — невнятно произнес он, и вдруг около глаз забегали тонкие стрелки, рука его скользнула ниже. — Почему же ты... — забормотал он.—Мать на рынок сбежала, и ты не желаешь хозяйничать, и ты...

Отец наклонился к открытым плечам и дернул невыбритым подбородком. Из-под одеяла шло густое ароматное тепло.

— Ах, какая ты! Ну, так я же заставлю тебя подняться!—И острой щетиной усов он ткнулся между плеч, но тут же неестественно суровым голосом, проглотив что-то застрявшее в горле, приказал:

— Вставай, я с тобой не шучу!

Повернувшись, он быстро вышел за дверь, уходя крепко ударил дверь, преследуемый раздражающим запахом созревающих яблок.

Покуда Ольга одевалась и умывалась, отец поставил самовар, но за столом уже хозяйничала Ольга. Обнаженные, выше локтей округлые руки проворно и ловко управлялись с посудой. Ольга любила в отсутствие матери выполнять ее роль, в это время она увлекалась разбегом собственной мысли. Отец куда-то исчезал, вместо него по правую сторону сидел Василий, и с предупредительной заботливостью, с милой лаской семнадцатилетней женщины Ольга подавала чай, густо смазывала ломти хлеба сливочным маслом, пододвигала варенье. В это время ей хотелось слушать мягкий и милый голос, в котором звучала бы благодарность и радость. Но Ольга слышала торопливое сопенье и лясканье, она подымала глаза и очарование исчезало. На теле, между плечами, все еще чувствовалось прикосновение колючих усов, в усах и во вздрагивающих губах отца она подзревала неясную опасность для себя и по-девичьи настороженно вытягивалась.

Отец кончил пить чай, оделся и, пристегнув шашку, отправился в полицейское управление. Шел он, молодо выпятив грудь, начальнически-строго поглядывая по сторонам, и все, кто встречался ему по пути, почтительно кланялись, а пристав, вскидывая правую руку, прикладывая два пальца к козырьку небрежным и красивым жестом, явно щеголяя военной выправкой и отчетливостью своего шага. И хотелось ему сказать встречным женщинам:

«Я—пристав Муранов. Вы видите, я еще молод. Имею честь представиться. Я сумею осчастливить, но могу и наказать непокорных!»

Прокуренные усы пристава, щетинясь, лезут вверх, он улыбается. У него старая жена, а в приморском городе немало страстных женщин... Однако, странное дело,—сегодня его не занимали женщины-просительницы. Полный солнечный день за окнами канцелярии, густое синее море, на берег которого он любил ходить в часы отдыха, густое синее небо не манит его. И пристава Муранова преследует тонкий запах созревающих яблок. Соблазнительная белизна полных

девичьих плеч прячется между деловыми бумагами, губы его шекочет нежная теплота шеи, мысль о невозможном совсем не пугает.

Пристав знал о малых и великих преступлениях жителей города, и прибавить к ним еще одно преступление он уже не считал большим грехом.

— Ваше высокоблагородие! Во вверенном мне участке все обстоит благополучно! — докладывает квартальный надзиратель, держа в левой руке короткую рапортницу.

А пристав Муранов схватывал совсем другие слова и слышал так:

«Ваше высокоблагородие, жизнь кипуча, как баварский квас. Хорошо выпить кваску, выше высокоблагородие, в жаркий день, хорошо уталить жажду крепкой силы своей! Море плещет, ваше высокоблагородие, под ногами дышит травами земля...»

Пристав Муранов бросал бумаги, ему подавали лошадь, запряженную в легкие дрожки, и, оцетинив усы, мчался пристав не по делам, а за город, в степь, где плясал по холмам своевольный ветер. Проходили часы. Лошадь возвращалась утомленной, с накипью белой пены под шлеей, пристав возвращался голодным, но успокоенным.

«Надо немного растрястись, — думал он, садясь за обеденный стол, перескакивая взглядом с поблекших рук жены на округлые руки дочери:—А может быть,—менял свои мысли,—надо присмотреть бабенку, или я, чорт меня возьми, сочиню от скуки жидовский погром!»

Каждый день утром и вечером видел пристав Муранов семнадцатилетнюю дочь, видел с откровенно распущенными косами, одетой в какие-то распашонки, разрешающие наблюдать голую шею, голые руки до плеч. И бегая глазами, щетиня усы, он следил за движениями дочери с деланным безразличием близкого человека.

Иногда он замечал:

— Ольга, опять у тебя спустились чулки! И останавливался с любопытством на розовеющем сочном теле.

— Отстань!

— Ольга, застегни кофточку, нельзя быть такой растрепой.

— Без тебя знаю!

«Почему дочь, а не сын у меня?—размышлял пристав.—Почему именно такая дочь при такой жене?»

Иногда ему казалось, что дочь его в свете солнца переливалась пахучим соком яблок, а коса дочери, падая через плечо, была золотым ручьем изобилия.

«Одна она, или не одна?»—мысленно спрашивал себя пристав и по привычке опытного полицейского следил за нею.

Жена, сослуживцы и весь город дивились перемене его характера. Пристав теперь или слишком раздумчив, или вспыльчив без видимой причины. Раздражающая мысль о невозможном живет в нем. Добрая лошадь все чаще возвращается в мыле. Ветер в степи по курганам поет своевольные песни. Пристав, возвращаясь домой, думает о слабости человеческой и разрешает себе все грехи...

Дни становятся свежее и звонче. Олька отдает свои жаркие влажные губы Василию Лихореву. Сруб на огороде зовет в свою тень и как-будто бы обещает сохранить за стенами все, что бы там ни случилось. И призывает Олька Василия Лихорева в ранние рассветы, призывает тихим, неуверенным шепотком, уткнувшись лицом в подушку. Она произносит его имя певуче и нежно:

— Вася, Васютка, Василий!..

Под руками чувствуются упругие груди, и, чтобы унять свою тоску, Олька сжимает в руках подушку, сжимает крепко, до боли в плечах.

— Вася, Васютка, Василек!..

Как всегда, входит отец, но настороженная Олька, пугаясь его колючих прокуренных усов, плотно укрывается одеялом и уже кричит, как только услышит скрип двери:

— Встаю, встаю! Уходи, пожалуйста! Ты весь протабачился, не люблю!

Отец гасит глаза и принимает вид привычного безразличия, лишь крадущаяся хищная походка с подрагиванием в коленях выдает его волнение, и прыгают стоящие торчком усы. В усах прячется и трепещет соблазнительный грех. Уходя, пристав недовольно сопит, и когда, наконец, появляется Олька, он встречает ее подозрительным и ревнивым взглядом.

— Ты очень уж строг к Ольгуньке, — замечает жена, провожая мужа на службу.

— Я, матушка моя, привык к строгости, меня тоже в строгости держали, и ты, пожалуйста, не вмешивайся! — шипит пристав, с ненавистью разглядывая поблекшее лицо жены.

— В молодости только и понежиться, — вздыхает жена.

— Не много ли неги — валяться в постели до десяти!..

Олька не слышит разговора, она рада, что отца нет за столом. Она видит, как выезжает он со двора, и недоумевает, почему отец так беспощадно и больно бьет нагайкой добрую лошадь.

IV

Осень пришла в город, как печальная невеста к немилому жениху. Немощные листья, кружась, падали в отяжелевшую пыль и за-таптывались, но в бурные ночи ветер сметал листья к заборам, и лежали они тлеющей грядкой, покрытые черными пятнами прели. Изредка появлялось солнце, тяжелое и медлительное.

Яблоки давно обобрали, и стояли яблони облысевшие, раздумчиво разбросав осиротевшие ветки, зябко отряхивая по утрам холодные капли дождя.

Кутаясь в пуховую оренбургскую шаль, Олька бежала на часок к срубам.

Васька Лихорев прятался за стенами сруба. Он сидел тут на самодельной скамейке часами, закрыв глаза и откинувшись к стене, всем телом, сильным и напряженным, он следил за причудливой мыслью и думал всегда об одном.

Во первых, Василий Лихорев не был просто сапожником,—сапожником был кто-то другой, который притворялся для людей, что он лишь сапожник и больше ничего. Никто, конечно, не подозревал, что осенними ночами, когда тучи грозили свалиться на город дождем и снегом, по улицам бродил в плаще-невидимке таинственный принц. И даны были принцу удивительная сила и власть над людьми. Сквозь каменные стены домов принц-Васька умел видеть, как через стекло, что делали люди, и не только люди, но и все живое на земле и в глубинах моря. Наблюдая за всеми, принц распоряжался. Он подходил к дому известного богача, пароходовладельца Сабурова, и молчаливо, одной мыслью, внушал ему:

«Иди, Сабуров, в контору и расплатись со своими рабочими, которых ты ограбил при расчете».

Но случалось, принцу надоедало ходить по земле. Тогда он обращался по своему желанию в диковинную рыбу, нырял глубоко на дно моря и жил там, наблюдая таинственный мир чудовищ.

Таков был принц-Васька.

Сидя за верстаком вместе со своим отцом и тачая чужие сапоги, Василий Лихорев потихоньку смеялся над шальными своими мыслями, но, покончив с работой, шел к срубу, и опять все начиналось сызнова. Когда же приходила Олька, он забывал, о чем думал, и слова его были несвязны. Олька не понимала их, она только догадывалась, о том, чего так он жадно ждал, и не сопротивлялась, когда Василий Лихорев ловил ее губы, как-будто бы хотел выпить самую олькину душу, и руки его были у груди, и сам он, ее любимый Василий — Васька—Василек, становился слабым, робким мальчиком...

* * *

О чем думал пристав Муранов,—никто не мог догадаться. Сидя в канцелярии полицейского управления, он путал бумаги и, отдавая бестолковые распоряжения своим подчиненным, приводил их в крайнее смущение. Иногда он беспричинно кричал и топал ногами на делопроизводителя или вдруг принимался неистово хохотать, потом швырял бумаги и, грохая дверями, уходил неизвестно куда.

Мучаясь от внутреннего озлобления и тоски, пристав заболел. Доктору он не мог объяснить, что с ним, и когда заболел. Но по ночам, лежа в постели с открытыми глазами, тягостно охал и бормотал, но не в бреду, а просто так, прислушиваясь к самому себе, всеми силами стараясь уяснить смысл своих слов. Поднимаясь до рассвета, он бродил по дому и не давал покоя другим.

Однажды он выбрался со двора на огород. Мирная тишина огорода, блеклые травы, унылые заборы и ветлы умилили его. В траве,

под яблонями пристав изредка находил опавшие плоды, случайно забытые. Он поднимал их и, разминая в пальцах, принюхивался. Запах перезрелых яблок о чем-то напоминал ему. Лицо пристава теряло суровость, сорокалетние глаза играли тогда молодостью, и казалось даже, что щетинистые усы его жалобно повисли над разбрякшими губами.

Жена пристава, обеспокоенная странной болезнью, мужа, следила за ним, она шла на огород и находила его, сидевшим между ветлами, прямо на траве. Пристав, в старой теплой шинели, подняв воротник, неподвижно глядел перед собой и, шевеля губами, что-то шептал, удивленно приподняв брови.

— Ты бы посоветовался с профессором, Федя,—говорила жена.— Может быть, у тебя переутомление, может, с головой что...

— Все ладно, жена, — насмешливо отвечал пристав, — и тут и тут, — указывал он на голову и грудь. — Просто захотелось мне полодырничать, а ты не догадываешься. Эх, ты! Ну, пойдем чай пить. Скоро все войдет в норму, ты не беспокойся, у меня по-воейному, смирно и не шевелись!..

Жена улыбалась:

— Все таки тебе лучше отлежаться.

— Не могу, духота меня давит, когда в постели, и... вообще не могу.

Пристав проговорил последние слова почти шопотом, так, что жена не расслышала.

Прошло две недели, и наступил день, когда пристав Муранов понял свою болезнь по-настоящему. Тогда ему захотелось убежать ото всего, но с необъяснимым упорством и любопытством он все-таки продолжал делать то, чего не хотел и втайне боялся даже, — он продолжал следить за дочерью. Так, он увидел однажды, как она, накинув на плечи шаль, озираясь, пробежала по двору на огород и, еще ничего не видя, тогда же заключил, что его дочь болеет той же мятущейся тоской, которая ему так была хорошо знакома.

«Отлично, — подумал он, — я посмотрю, как будет дальше».

В праздничный день после обеда, пробравшись на огород и скрываясь в высокой крапиве за ветлами, пристав Муранов заметил, как Василий Лихорев, путаясь в сухой траве и кустарниках, пролез в пролом забора и скрылся в срубке.

— Вот,—сказал пристав с откровенной и злобной радостью,—вот я погляжу, что тут делает этот стрекулист! — и усы пристава зашевелились колючей щетиной.

Василий Лихорев за время ожидания, как и всегда, мечтал. Он видел Ольку, и Оляка в его воображении была весенним тающим облаком. Когда же она пришла, гибкая и упругая, Василий Лихорев позабыл, о чем думал, чувствуя под рукой праздничное, но еще недоступное тело своей милой.

Робкие друг к другу, понимающие и непонимающие чего хотели, они сидели рядом, плечом к плечу, до сумерек. Были минуты, когда

глаза Василия Лихорева слишком близко приближались к глазам. Ольки. Тогда она, пугаясь, медленно отодвигалась или замирала вдруг, только дрожали колени и слабели руки.

Через минуту она, удерживая крик, рвалась к Лихореву, но, бледнея и волнуясь, Василий смущенно останавливал ее, при этом говорил о чем-то таком неподходящем к случаю, что Олька не выдерживала и принималась хохотать.

— Милый мой Василек, — говорила она, — мальчишка мой хороший, ты думаешь, я не знаю, отчего ты робеешь? Посмотри на меня: ты думаешь, я такая маленькая, как тогда? Ты думаешь, я очень терпеливая? Милый мой Василек, каждый день я вспоминаю тебя и даже живу с тобой совсем по-настоящему. Будто бы ты рядом со мной, будто бы ты у меня вот тут...

Олька брала Васькину руку и крепко прижимала к груди, наивно обнаженной.

— Послушай, дай мне твои губы. Я хочу еще один разочек поцеловать тебя и уйти. Или нет, погоди! Положи голову ко мне в колени...

— Не надо, не надо! — отбивался Лихорев. — Ты ведь все равно уйдешь, ты не останешься со мной, ты не убежишь со мной, боишься все, а я не могу больше так...

— Вася, Васильчик! — заметалась Олька. — Погоди, что я хочу сказать... Ну, хочешь, я сделаю, как ты велишь. Ну, хочешь, я приду к тебе, ночью приду, никто не увидит...

Солнце окунулось в море. Над городом поднимался легкий волнистый туман, и тени поползли, длинные жирные тени.

* * *

Пристав Муранов вызвал четырех полицейских, он поставил их цепью за ветлами, сунул в карман свисток и с деловым спокойствием направился к старому срубу.

Ревность живет хитростью лисы, ревность слепа, как новорожденный щенок, ревность неумолима.

Пристав Муранов притаился у стены сруба, слушал и ждал. И странное дело! Вместе с чувством злобы он испытывал наслаждение, сосущее сердце. Если бы его дочь Олька оставалась в срубе до утра, он, не теряя терпения, простоял бы здесь все время не шевелясь, как кот перед норой мыши. Он слышал каждое слово Ольки, удивлялся глубокой нежности слов и трепетал, как-будто слова дочери относились к нему. В эту минуту он проклинал все человеческие законы, связывающие свободу действий.

«Ах, если бы не было свидетелей! — думал он. — Ах, если бы Олька поняла его, как мужчину!»

Едва слышимое движение за стеной сруба, самое дыхание влюбленных действовало на пристава Муранова так, как-будто бы его, ослабевшего от длительной болезни, медленно погружали в ванну с парным молоком, и оттого пристав чувствовал томительную тяготу. Он

пугался каждого постороннего шороха, нарушавшего музыку его переживаний, ему уже хотелось, чтобы там, за стеной, дочь его Олька, крича и радуясь, уступила желанием Василия Лихорева, — тогда бы пристав Муранов сам закричал в мучительном восторге опьянения жизнью.

Случилось не то и не так. Пристав Муранов хотя и готовился, но позабыл, к чему готовился. Все его действия шли мимо разума.

Из дверей сруба вышла Олька с сияющим лицом и отяжелевшими от поцелуев губами. Только губы, беспомощно полуоткрытые, увидел пристав Муранов и, хрустя суставами пальцев, он схватил Ольку за плечи, уронил в траву и все искал соблазнившие его губы, тычась в лицо дочери щетиной усов.

Олька не кричала, она вывернулась и легла боком, уткнувшись лицом в траву. Ухо чувствовало горячее, звериное дыхание отца, в плечи вонзилась острая боль. Пальцы пристава впились в тело ей.

«Убьет он меня», — мелькнуло в голове Ольки мысль. Но тут же она позабыла о себе, забеспокоившись о нем, о своем милом Васильке, и, подняв голову, позвала его.

Василий Лихорев кинулся на пристава, как молодой волк, безрасчётно, с ослепленными от гнева глазами. И зубы оскалил Василий. Выброшенные вперед руки толкнулись в спину врага, скользнули, и пальцы, окостенев, вцепились в шею.

Пристав отпустил Ольку и рванулся, но сильный удар коленом в поясницу сломал его. Падая, он закричал о помощи.

Четверо дюжих полицейских вырвали своего начальника из рук разъяренного Васьки.

Пристав Муранов, отряхиваясь и размазывая по усам и подбородку кровь, густо сбегавшую из разбитого носа, кричал. Сначала в его крике ничего нельзя было разобрать. Тут были горькие упреки, угрозы Василию Лихореву и бестолковые приказания полицейским.

Василий Лихорев мотался в руках врагов. Двое полицейских держали его, вывернув ему руки за спину, третий, — неспеша и без злобы, бил его кулаком в спину между плечами и все время поглядывал на пристава. Выходило так, что полицейский в ожидании приказаний занимал себя кое-какой работенкой. Четвертый полицейский с растерянной улыбкой и с казарменной вежливостью старого солдата поддерживал Ольку под мышки и, конфузясь, растопырил пальцы, чтобы не коснуться случаем высокой полубогаженной груди дочери своего начальника.

— Покушение на жизнь государственного чиновника карается ссылкой в каторжные работы! — грозил пристав Муранов, обращаясь попеременно то к Василию Лихореву, то к дочери. — Как вы на это посмотрите, милые голубки?!

— Убью, все равно мне! — хрипел Василий Лихорев и выл от боли в скрученных руках.

— Ссылка без суда и следствия в двадцать четыре часа, я в уезде хозяин! — кричит пристав. — Но, молодой человек, мы так не расстанемся, я тебя так не отпущу! Держи задаток!..

Запрокинув голову Василия Лихорева назад, пристав Муранов перепачканным в крови кулаком, удовлетворенно крикая, бьет ненавистного ему человека по лицу.

Глухой огород оглашается отчаянными воплями Ольки. Василий Лихорев, подогнув колени, повисает на руках полицейских, в горле его хрипло клокочет кровавая пена.

— Клади его! — распоряжается пристав, не переставая наносить удары. Раздевай, раздевай не стесняйся! Пусть барышня поглядит, как мы ее дружка исповедывать будем... Вытяни ему ножки, вытяни! О-го-го-го! — покрикивал пристав, бегая вокруг распростертого Лихорева. — Вот славно! Давайте крапивки, мы его крапивкой подрумьяним...

Пучками длинной сухой крапивы хлестали Лихорева по обнаженной спине, по ногам, перевертывали вверх животом.

Пристав сидел на корточках около, наблюдал за экзекуцией и плакал. Слезы падали крупными зернами на щетинистые усы и растеклись по растянувшимся от удовольствия губам.

— Что же ты, Оленька, женишка себе отыскала? — говорил он, пытаясь заглянуть в глаза дочери. — А женишок то без штанов! Полюбуйся на женишка, ободри его взглядом. Хе-хе!.. Ты это как же с ним, по настоящему снюхалась, а? Ну, расскажи, я послушаю... Сладко целуется парень, а? Хи-хо-хо! Теперь весь город узнает о твоём женишке! Слышишь, ты? Весь город узнает, какой красавец женишок у тебя! Хи-хо-хо!.. Ты это как же отца то не спросила? Может, я сам бы разрешил тебе миловаться!..—Ну-ну!—прикрикнул пристав!— Ну! Чего же не отвечаешь?!

Не дождавшись ответа, он вдруг заорал, обращаясь к полицейским:

— Довольно, унесите эту сволочь! — указал он на Василия Лихорева, валявшегося в пыли с распухшим лицом и красным, вздутым животом. — Унесите! Я тут с дочкой поговорю. Я с ней поговорю.

И когда ушли все и унесли Лихорева, пристав, смеясь и всхлипывая, принялся жалобно умолять Ольку забыть о Ваське. Он ползал на коленях перед ней, покауда не прибежала жена, напуганная криками и растерзанным видом Василия Лихорева, брошенного под сарай во дворе...

V

Жаркое лето тысяча девятьсот десятого года. Претерпел Василий Лихорев побои, унижения, стыд. Предъявили ему обвинение в покушение на жизнь государственного чиновника, пристава Муранова, предъявили и осудили. Отсидел Василий Лихорев положенное время в тюрьме, и отправили его по весне в чахлый сибирский городок Мину-

синск. Тосковал Лихорев о родине, тосковал об Ольке, а потом все это как то стерлось, потускнело. Вьюжили зимы, томили летние жаркие дни, трепались злые осенние ветры в степи. Лихорев нанял комнатку у старой отставной учительницы и, вспомнив свое прежнее ремесло, целыми днями тачал минусинским обывателям сапоги, стучал молотком, разбивая твердую подошвенную кожу на утюге, и потихоньку пел. Пел он о том, какие были в прошлом обманчивые сны и смеялся каждому новому слову песни.

Он не придумывал слов,—они появлялись под стук молотка, под свист метели, под мелкую осыпь нудных осенних дождей. Вечерами приходили к Лихореву товарищи. Они приносили книги, ободряюще хлопали по плечу и принимались рассказывать что-то до того удивительное и занимательное, что Василий Лихорев позабывал о своей тоске, о родном приморском городе и об Ольке позабывал.

Прошло три года. Пропустила голова Василия Лихорева десятки мудреных книг. Задержались в памяти и укрепились неведомые прежде истины, и развернулся перед Лихоревым мир по иному. На четвертом году ссылки товарищи, смеясь, называли Василия Лихорева марксистским справочником, а новоприбывающие ссыльные шли прямо к нему.

Обычно являлся какой-нибудь бородатый детина, приводил с собой новичка и деловито басил:

— Вот, Лихорев, поручаю тебе сего вьюношу: накорми и про свети...

В небольшой артели ссыльных преобладала интеллигенция, неприспособленная, голодная и часто растерянная. Василий Лихорев, тачая сапоги, приучал к этому и других. Сапожное ремесло оказалось доходным ремеслом, и артель ссыльных, лишенная других заработков, скоро почти в полном своем составе оказалась в обучении у Лихорева. Агроном успешно подшивал поднаряды, юрист кроил голенища, филолог недурно пригонял заплатки...

Летом девятьсот четырнадцатого года телеграф принес взволновавшую всех весть о войне, и с того дня артель принялась усиленно готовиться к отлету.

Василий Лихорев с таинственным видом бродил по городу, что то разузнавал, а, возвратясь, принимался подсчитывать капиталы, беспокоясь о том, хватит ли их, чтобы обеспечить благополучный побег. Дом старой учительницы превратился в интендантский склад, тут было все необходимое: полушубки, валенки, сумки...

Но прошло лето, прокатила с лютыми морозами зима, а положение с побегом все еще было неопределенным. Надзор как-будто бы стал еще строже, и поневоле приходилось выжидать. Кое-кто из ссыльных уже заговаривал о необходимости покаяния, о спасении отечества, о сплочении всего русского народа перед лицом опасности. Василий Лихорев скандалил с малодушными, ругательски ругал слабовольных и все выжидал какого-то удобного случая, тщательно перечитывая редкие газеты, следя за настроением местного начальства. Удобный

случай пришел в начале четвертой зимы. Потянули счастливые номера,—каким двум парам уходить первыми. Василий Лихорев был удачлив и в январе с хорошей, тонко сработанной «липой» прибыл он в город Красноярск. В ушастой сибирской шапке была защита явка, но, схватив по дороге воспаление легких, Василий Лихорев неожиданно очутился в больнице.

Носились над городом бураны, ежедневно лепил хлопьями снег. Василий Лихорев в часы сознания улавливал беспорядочные разговоры о фронте, о волнении рабочих, а когда очнулся окозчительно и почувствовал возвращение прежних сил,—скрываться уже не было надобности. В улицах города весело трепыхались красные флаги, население пело «Марсельезу». Лихорев удивленно и радостно улыбнулся, подобрался к окну и, наблюдая толпу, принялся с боевым задором высвистывать «Интернационал».

VI

Москва, тысяча девятьсот двадцать второй год. Хлюпающая грязями весна. Изредка тычется в лужи Лубянской площади лучик солнца. Перемахнет он на стены поцарапанных пулями домов, заглянет в неумытые окна, скользнет по крышам и тут же, запутавшись между хмурыми дождевыми тучами, померкнет, растает и сотрется.

В коридорах ВЧК хмуро и неприветливо, тяжело чавкают разбитые сапоги дежурных красноармейцев, хлопают двери, ползет отовсюду мозглявый холод, пахнет острым дымом махорки.

В канцелярии и в кабинетах лежат в углах сочные черные тени, кажется, что углы и потолок кто-то долго и усердно коптил.

Серые лица людей неясны и неопределенны; только в момент короткого появления солнечного лучика в углах комнат уплотняются тени, и лица светлеют. Тогда разговоры становятся оживленной и даже как будто понятней.

— Вот тебе, товарищ Лихорев, все необходимые мандаты,—в каждый карман по мандату. Поезжай, братишка, в город Т. на место предчека. Юг для тебя будет пользительней, чем эта московская дряблая погода. Дыши там, на юге-то, глотай соленый зюйд-вест и питайся плотнее солнцем. Одним словом, распоряжайся благодатью, как хочешь, запрета нет, только наладь дело вот так, на пику!

Говоривший рванул под губой узкую бородку, прищурил глаза, сгорбил тонкий нос и поставил перед лицом Василия Лихорева руку на локоть, заострив ладонь сухим указательным пальцем.

— В город Т.? — переспросил Лихорев.

— В город Т., — утвердительно махнул бородкой сидевший за столом. — Неплохой городок, между прочим. Возьми ка еще вот это письмишко к товарищу Крутогорову. Помнишь Крутогорова? Ну, как же? Он же работал у нас следователем, волосатый такой парень... Так вот, остановишься у него, мужик надежный. Он тебя там познакомит с делами.

«Город Т.— думал Лихорев, засовывая в потертый портфель нужные бумаги.— Почему город Т., а не какой-нибудь Саратов или Оренбург?»

— Приедешь, осмотришься, напишешь, что и как там,— продолжал говорить сидевший за столом, не переставая горбить нос, теревить бородку и щуриться. — Кажется, все сказал тебе? Будь осторожней — и до свидания. Что-то у меня сегодня сердце чувствуется. Мне бы тоже на солнышко хорошо, прогреться хочется...

«Двенадцать лет,— уходя соображал про себя Лихорев. — Какой теперь этот город Т? Двенадцать лет: ссылка, война, революция... Двенадцать лет: голод, тиф, Деникин, Колчак, Врангель. Сожженные города, вытопанные поля. Большевик Василий Лихорев, сапожник Васька, мальчик Васютка-Василек... Не много ли на твою долю такой жизни?».

Под ногами ляскала грязь, но солнце, разгулявшись, приукрасило улицы, сизый дымок испарений поднимался над домами и, колеблясь, рябил в глазах. И радость, потускневшая за годы мытарств, войны и голодовок, выпрыгнула на ресницы глаз благодатными крупинками хороших слез. Лихорев почувствовал, что прожитые тридцать два года, омывшись, куда-то разбежались, и Василий Лихорев по прежнему может понимать крики птиц и жизнь понимать по прежнему. Мысли вдруг стали необычайно легкими, как вон те голуби, что высоко пронеслись в солнечном море над крышами домов; и ловит Лихорев мысли свои: «Можно жить, надо жить, хорошо жить!»

Впереди Лихорева, по мокрому блестящему на солнце тротуару торопится куда-то женщина: пальто и подол высокого платья позволяют видеть стройные ноги, стук каблуков игрив и отчетлив, высокая фигура колеблется, бедра упруго и сильно вздрагивают.

Лихореву хочется обогнать женщину, заглянуть в глаза. «Хорошо жить!» скажут глаза женщины, непременно скажут так, и тогда Василий Лихорев подойдет к женщине.

Обгоняя ее, он видит детский полуоткрытый рот и лицо с приветливой улыбкой матери, подносящей сытую грудь к жадным устам ребенка.

Женщина затерялась в толпе, но Лихорев, придя на квартиру и собираясь в дорогу, все время чувствовал ее около себя.

В открытую форточку по весеннему звучно доносился стук лошадиных подков о мостовую и дребезжание пролетов. Была в этом какая-то своеобразная музыка весенней суматохи, радостной и немножко пьяной и оттого еще полнее было ощущение живого счастья.

С таким чувством Василий Лихорев проснулся на другой день, и в вагоне поезда оно не покидало его. Так он прибыл в родной город Т., и здешняя весна после холодов и слякотных улиц Москвы показалась ему необыкновенно богатой.

Было шесть часов утра. Тихие улицы города дышали непотревоженным теплым сном. Верхушки пирамидальных тополей тянулись к бездонной синеве неба, иgray на солнце свежей зеленью листьев.

Василий Лихорев прошел главную улицу от вокзала до конца, свернул в сторону набережной и очутился на бульваре, как раз там, где берег круто обрывался в море. Позади, по буграм расположился город. Белые домики выглядели из-за деревьев, как памятники давно заброшенного кладбища. Впереди без единой морщинки лежало море, и море казалось мертвым. Странная мысль метнулась в голове и как-будто бы застыла: «Может быть, ничего не было совсем?—удивился Лихорев, — сейчас вот повернусь и пойду на тот самый огород, где стоит старый сруб, или возвращусь домой, сяду за верстак и буду тачать сапоги...» Все казалось таким простым и возможным. Не двенадцать лет отделяло его от того, что так живо припомнилось, а всего лишь несколько улиц вот этого, полусонного города. Соблазнила мысль повторить все, что было когда-то.

Василий Лихорев пошел к городу, улыбнулся неизвестно чему, одернул полы своей кожаной тужурки, поправил пояс и расхохотался вслух, почувствовав под рукой браунинг и заметив тугую портфель, который держал он в левой руке.

— Извозчик! — крикнул Лихорев, увидя на углу улицы дремавшего на козлах извозчика. — Улица Бебеля, номер сорок седьмой!

«Ну, вот и кончено!—подумал Лихорев.—Посмотрим, какой-токой товарищ Крутогоров!»

VII

Ничего не оставалось такого, за что можно было бы зацепиться памятью: нет огорода, и дом пристава Муранова исчез и время потрясло в городе людей. Хотя бы одно знакомое лицо! Или, может быть, за двенадцать лет лица стерлись?

Василий Лихорев часто думал об этом, сидя в кабинете, на втором этаже большого особняка, где было управление Губчека. И, возвратясь к полночи в квартиру Андрея Крутогорова, в свою комнату-коробочку, которую ему уступил Крутогоров, живший вдвоем с матерью, старой Клементьевной, Василий Лихорев продолжал думать все о том же.

Он получал сводки о работе агентов, заседал с коллегией, читал и перечитывал секретные бумаги, отдавал распоряжения. Часто приходилось ему просиживать ночи, чтобы разобраться в новых делах, где сплошь и рядом писалось об экономической контр-революции, о саботаже, о растратах и хищениях. Но нигде и никогда не встречал он знакомых имен.

Василий Лихорев говорил с Крутогоровым и со старой Клементьевной. Клементьевна, повязанная ситцевым платком, дергала под подбородком концы платка, и треугольник ее доброго лица расцветал морщинистой улыбкой.

— У нас город-то, Василь Семеныч, в разных руках перебивал,—говорила она,—цедили людей-то, цедили, ну, вот и выцедили,—теперь все новые понаехали... А, вы, как знали прежних-то?

— Он, мать, от-роду здешний! — посмеиваясь, объяснял Андрей Крутогоров. — Приехал, видишь ты, кое с кем посчитаться за прошлое и запоздал, вот и сучает.

— Чего зубоскалишь? — укоряла сына Клементьевна.

— Нет, отчего же... Запоздал я, действительно, здорово, — соглашался Лихорев.—Ну, и посчитаться мне было кое с кем...

— Ага, вот видишь, мать, — продолжал смеяться Крутогоров. — Я чую, о чем он беспокоится.—И обращаясь к Лихореву, говорил: — Подожди, дорогой товарищ, дай с текущими делами управиться, уж мы тебе потом кое-что предоставим. Очень ты гонишь, все хочешь за одну неделю узнать. Эко, настрочили тебя как в центре-то!

Лихорев слушал, скрывая про себя то, о чем думал. Заседание в Губисполкоме, частые вызовы в Губком не оставляли времени на то, чтобы разобраться по настоящему в большой и сложной работе Чека. И работал Лихорев ночами.

«Что там говорит Крутогоров? Кого он собирается «предоставить?»»

До Лихарева немало решили вопросов, и что-то предстояло ему утверждать и отменять. «Конечно, Крутогоров прав, — думал Лихорев, — может быть, я, действительно, хочу кое с кем посчитаться из давнишних знакомых!»

Мысль, перескочив в прошлое, услужливо подсказывала имена, с которыми хотелось посчитаться, и на первом месте среди имен стоял пристав Муранов. Лихорев не справлялся у Крутогорова об именах,— у Крутогорова давно перепутались все имена и даже названия городов, местечек и сел, где приходилось драться и работать. И есть еще у Лихарева особое, острое желание разузнать все самому, чтобы никто не догадался, кого ищет он. И один ли тут пристав Муранов, нет ли еще таких, о ком тосковал, потом перестал тосковать, выронил из памяти, а теперь припомнил и захотел увидеть...

Василий Лихорев перелистывает протоколы заседаний коллегии. — Совсем недавних заседаний. Красный карандаш бежит по строчкам и, когда встретила фамилия пароходовладельца Сабурова, карандаш остановился как раз в той графе, где отмечалось о смерти заключенных.

«Одного уже нет!»—отметил мысленно Лихорев. И мирная смерть врага от сыпного тифа вызвала досадливое чувство.

Шуршат листы протоколов, бежит быстрая весенняя ночь.

Укладываясь спать на диван, тут же в кабинете, Василий Лихорев поймал тайную мысль, которая жила все время, искусственно отгороженная другими. Эта мысль была об Ольке. В полусне Лихорев ослабел волей и принимает с жадной радостью все, от чего обычно отказывался, подписывая протоколы и постановления коллегии. Главным является вдруг то, что во время работы прячется куда-то и молчит. Сейчас отходят в сторону двенадцать лет борьбы. И кажется, что жизнь за тридцать два года как-будто бы все время была обходитель-

ной, ласковой и щедрой к нему, Василию Лихореву, наделяя его своими милостями, и теперь вот она принарядилась по особому и говорит, и зовет. Слова у жизни, как сон младенца, нет в словах строгости устава, нет лицемерного «должен» и «не желаю».

Василий Лихорев готов согласиться с жизнью и сказать вслед за ней противное тому, чем руководствовался.

Высохло лицо у Лихорева, на щеках нет юношеского румянца, тут борозды от скул к подбородку. Волосы, когда-то густые, с развалом посередине, зачесаны назад и тусклы они, и безжизненны. Губы тоже не прежние, невинные, — они жестки и сухи, но губы готовы раскрыться и неожиданно для Лихорева произнести дерзостные слова: «Желаю и не должен!».

Нет настоящего сна, диванная подушка словно камень, а свежее утреннее солнце, поднявшись, заполняет через широкие окна всю комнату и не дает спать.

Василий Лихорев встает, припоминает все и пугается соблазна утаенных слов. Чтобы освежиться, он идет из кабинета к умывальнику. Идет он длинным коридором, по сторонам двери—одна, другая, третья... Через час заговорят в комнатах люди, застучат пишущие машинки, и какая-то из машинисток утомленно, скучающе и совсем равнодушно будет выбивать для кого-то долгожданное и радостное:

«За отсутствием преступления предлагается освободить!» И Василий Лихорев, не зная в лицо того, чье имя будет обозначено на бумаге, подпишет эту бумагу и подпишет другую, где машинистка выбьет короткое слово, такое неуместное при весеннем солнце и такое все-таки обычное слово: «Расстрелять». Машинистка будет скучать, и некоторое разнообразие в ее работе она найдет в допущенной ошибке, вспомнит правила новой орфографии и остороженько сотрет резинкой букву «з» и не подумает о том, к кому относится слово «расстрелять». Она пишет это слово давно, с того времени, когда по коридору звенели шпоры блестящих офицеров, пишет и теперь, когда никто и ничем не звенит...

«Должен, должен!» — думает Василий Лихорев и, освежившись холодной водой, возвращается в свой кабинет.

Начинается рабочий день.

— Товарищ Крутогоров, приготовь мне последние постановления коллегии. Надо все-таки просмотреть, что вы тут наворочали до меня. (Лицо у Лихорева приветливое, и улыбка хорошая, дружеская).

— Все в аккурате! — подмигивает Крутогоров. Он косится на своего друга и замечает. — Опять ты не ночуешь нынче дома? Чего, в самом деле, гонишь так?..

— Ладно...

— Несовсем ладно, этак угореть можно...

День суетливо и торопясь бежит к концу, как-будто бы дня и не было совсем. Снова скользит карандаш по строкам протоколов, постановлений и списков.

Поздним вечером Лихорев разбирал материалы следствия. В десять часов карандаш в его руке споткнулся на знакомом имени. В половине одиннадцатого Лихорев говорил по телефону с комендантом Губчека.

— Подследственную Ольгу Муранову — ко мне, наверх, для допроса... Я, я, Лихорев! Ну да, ко мне!.. Какой там еще ордер на привод? Ну, хорошо, выпишу ордер, выпишу!

«Ты будешь волк, а я как тоже!» — припомнил Лихорев Олькины слова — Олькины слова, сказанные двадцать лет назад. А зачем я вызвал ее? О чем буду спрашивать? — размышлял он. — Спасти хочу? Убить хочу? Посмотреть на нее и убить? Нет, пусть она останется там, а я здесь. Надо сказать коменданту, отменить распоряжение... А-а... Идут, идут! — обрадовался Лихорев, услышав шаркающие шаги конвоиров по коридору. И рука Лихорева остановилась на полпути к телефонной трубке, и пришло к нему тупое безразличие, он почувствовал вдруг тяжелый приступ сонливой усталости. Еще раз скользнули в памяти слова: «Ты будешь волк, а я как тоже!»

— Гражданка Муранова, — сказал Василий Лихорев, когда двое конвоиров вышли в коридор, — вы дочь пристава Муранова, расстрелявшего портовых рабочих? (Лихорев глядел в раскрытую папку, не поднимая головы).

— Я дочь пристава Муранова!.. — послышался в ответ тихий, но такой близкий и хорошо знакомый голос.

Лихоревым овладело отчаяние решимости и озлобления на себя.

— А я сын сапожника Лихорева, — вызывающе громко выкрикнул Василий Лихорев. — Да, да, тот самый Василий — Васильчик! Чему вы улыбаетесь? Я вызвал вас, гражданка Муранова, за тем, чтобы вы рассказали мне «по старому знакомству», как вы сумели укрыть своего отца, спасти его от нашего суда?

— Василий, я не укрывала его, Василий...

«Как она говорит! Вот она опять со мной говорит... — пронеслось в голове Лихорева. — Через двенадцать лет говорит».

Василий Лихорев скомкал попавшиеся под руку бумаги и перегнулся через стол.

VIII

На сукно стола легла рука женщины, пальцы, сгибаясь в суставах, казалось, двигались самостоятельно, отдельно от руки.

— Василий, я узнала тебя, узнала, как только вошла! Милый, или ты думаешь,—я позабыла тебя? Послушай, ведь это я, я!.. Вот мы опять вместе...

Пальцы умоляюще вытянулись и, медленно поднимаясь над столом, приближались к лицу Лихорева. Лихорев видел тонкие синие струйки вен на руке, он видел детскую ладонь с припухлостями и ямками. Он отвел глаза, хотел сказать что-то официально холодное, но

рука в этот момент остановилась, и Лихорев, не поднимая головы, ткнулся в разбросанные по столу папки.

— Василий, — говорила Оляка, — я не укрывала отца...

— Погоди, погоди! — остановил Ольку Лихорев. — Скажи, кто поверит тебе, что ты не знала о том, где он скрывался? Скажи, как ты сможешь доказать это?

— Значит, нет мне оправдания? — болезненно морщась, спросила Оляка. — Значит, нет мне спасения, Василий?

Только сейчас вот решил Лихорев поднять голову. Он увидел потемневшие голубые глаза и лицо тридцатилетней Ольки. Оно как будто бы не изменилось, оно встало перед ним таким, каким сохранилось в памяти. Верно! потемнела коса. Верно: строже стали губы. Но нежность щек прежняя. Шея, плечи и грудь, все еще высокая, неприкосновенная.

Василий молчал. Сбивчивые мысли неслись с неуловимой быстротой.

«Как же так? Ведь она живет, живет Оляка, слышит, чувствует, видит мир — и вдруг перестанет жить и чувствовать? Виновна — не виновна? Виновна... Да, да, виновна! — остановился Лихорев на случайно подвернувшейся мысли. — Виновна... В ней умрет мир, и с нею умрет мир...»

И вот ужас темного небытия охватил Лихорева и потряс. И удивился Лихорев тому, что только теперь, пройдя гражданскую войну, прокоптев в дыму войны, вымочившись в крови врага и в своей, он почувствовал холод смерти и страх пред ней.

В бою он не рассуждал и даже не помнит нынче, знал ли он дрожь сердца, хотел или не хотел жить...

— Василий! — чуть слышным шопотом позвала Оляка. — Василий, — заговорила она, — у меня просьба, большая просьба к тебе. Ты ведь любишь меня, вот так же вот, так же, как тогда? Если бы ты согласился, Василий... Тогда мне было бы легче уйти, Василий...

Снова вытянулась рука женщины, и пальцы, очутившись перед глазами Лихорева, коснулись его щеки с нежностью сестры. Лихорев понял Ольку, поднялся и отступил. Вернулось к нему прежнее чувство тяжелой сонливости и безразличия. Он отвернулся и посмеялся над собой, мысленно укорил себя: «Сколько таких прошло передо мной, но тогда ведь не было жалости. Зачем нужна жалость теперь?.. Вот так же, должно быть, решался вопрос, когда расстреливал рабочих пристав Муранов. И женщин расстреливал он. Кто говорил тогда о милосердии?»

Василий Лихорев обошел стол, и минуя Ольку, открыл двери в коридор.

— Товарищи, — позвал он красноармейцев, — уведите арестованную. — И еще раз повторил: — Уведите арестованную, товарищи.

* * *

Старушка Клементьевна любовно относилась к Лихореву и постарушечьи жалела.

— Тут у нас на солнышке хорошо. Ты на солнышко цель, Василь Семеныч. Больно у тебя глаза-то упали. По ночам какая работа! Ночью отдыхать требуется.

Крутогоров ругался:

— Милый мой, у тебя руки дрожат, это уж ни к чорту! Я тебе говорю... Со мной то же было, потом пришлось ремонтироваться. Понял?

Василий Лихорев знал, отчего упали глаза, и молчал. Приходили беспокойные ночи, тянулась к телефону рука, и комендант, получая распоряжение, посылал с конвоирами подследственную Ольгу Муранову к предчека.

У Лихорева давно не было слов для допроса, и допрашивать не хотел он. В такие ночи он слушал.

— Василий, если бы ты меня понял! Видишь, вот...

И, по девичьи смущаясь, она разрывала платье на груди.

Тогда вставала перед Лихоревым его голубая Олька. Он забывал о красноармейцах в коридоре, забывал о преступлении. Он чувствовал в это время теплоту тела своей Ольки.

И когда она уходила, счастливо улыбаясь ему, он отвечал ей улыбкой. Потом он долго простаивал перед окном, смотрел на верхушки пирамидальных тополей, хотел что-то решить — и не мог решить, хотел говорить, и не было у него слов, как тогда, в детстве не было.

Следствие по делу Ольги Мурановой шло и закончилось через неделю. Равнодушно выбила машинистка слово «расстрелять», вспомнила правила новой орфографии и не допустила на этот раз ошибки.

Василий Лихорев подписал постановление коллегии. И ничего не заметил товарищ Крутогоров, подавая постановление к подписи.

IX

Дни и годы повторяются. В тысяча девятьсот двадцать седьмом году Василий Лихорев теплой весной ехал скорым из Москвы в Севастополь. В Севастополе он пересел на пароход. На другой день утром пароход остановился у пристани города Т. Город прятался в голубоватой дымке, и его белые домики опять казались кладбищенскими памятниками. Лихорев спустился в баркас вместе с веселой и хохочущей курортной публикой и через десять минут бродил по знакомым улицам города, такого оживленного теперь, — в цветах, с музыкой в кафе.

Улица Бебеля оказалась как будто иной, и пришел Лихорев в улицу совсем не намеренно. В доме номер сорок семь встретила его Клементьевна. Улыбнулась она и сказала:

— Видишь ты, дело-то какое! Будто ты, Василий Семеныч, только вот со службы пришел, право слово.—Помолчала, дернула под подбородком концы ситцевого платка и закачала морщинистым треугольником лица.

— Вот как оно, время-то, Василий Семеныч! Одна я живу теперь. Сынок-то в Одессу назначен в тот раз был, как, значит, уехал ты, там и живет нынче...

Часом позже, когда у пристани загудел свисток парохода, созывавший разбредшихся по городу пассажиров, Клементьевна вдруг засуетилась, вспомнила что-то и, покопавшись в ящике комода, достала конверт, пожелтевший от времени, с тараканьими следами.

— Вот память-то у меня! — пожаловалась Клементьевна. — Письмо тебе тут, давно письмо-то. Принесла чья-то старушка... где тебя достать,—не знаю, и сын в Одессе. Забыла я и забыла, про письмо-то...

Письмо Василий Лихорев прочитал на пароходе, когда город Т. остался неясным белым пятном позади. Письмо оказалось совсем коротким, и подписи не было под письмом.

«Милый, милый! Люди умирают от счастья и несчастья. Я умираю от счастья. Ведь ты любил меня, любил, я знала...»

Парижская работница

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Двенадцать. Солнце бьет в асфальт панельных лент.
Обеденный гудок. Среди бульварной давки
Спешат рабочие. Их манит на прилавке
Цветной отравой сверкающий абсент.

И тут же, отразясь в поверхности витрин,
У матовых дверей под вывескою «Моды»
Худые, бледные, как полдень непогоды,
Модистки и швеи бросают магазин.

Скорей! Им некогда порадоваться дню,
Для утомленных глаз и солнце, как в тумане.
За круглым столиком в дешевом ресторане
Они едва прочтут нехитрое меню:

Перловый жидкий суп, картофель, винегрет —
Всего лишь тридцать су — и, как они не жалки —
Из рук цветочницы измятые фиалки —
Вот отдых юности и вот ее обед!

Любить здесь некогда. В норе у самых крыш
Старуха-мать и брат, контуженый на Марне.
Они ждут ужина. И все неблагодарней,
Все злей в огнях кино бежит сквозной Париж.

И худенькая тень скользнула на бульвар,
Глядит в глаза мужчин то дерзко, то несмело.
Фиалки на груди и молодое тело —
Ее единственный беспошлинный товар.

О, город богачей! Когда-нибудь и ты
Заплатишь за сердца, увянувшие рано,
За голод у витрин ночного ресторана,
За эти смятые под каблуком цветы!



Трудовые слова

ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ

Я люблю эту трудную смесь: трудовое арго,
Столь неприятое в поэтическом доме.—
Но я знаю: второй для него народится Гюго,
И вагранка с Ваграмом поспорит о громе.

Я люблю эту смесь, эти вздутые мускулы слов,
Что трудом налились и упорством созрели:
Шерстобит, стеклодув, краскотер, сукновал, рыболов,—
Эти парные сплавы удара и цели.

Косный мир и формующий воли горячий клинок,
И (грамматика здесь мне подскажет название):
В них предмет и глагол, в них «действительный» слышен «залог»,
В них действительно гордый залог созиданья.

Я люблю их законченность, их смысловой глазомер,
Безошибочно ставящий вехи и грани:
Вал есть вал, шкив есть шкив, бессемер — он всегда бессемер,—
Никакой философии и колебаний.

Но в их точном чекане — широкая воля мечте,
Полной гула и силы, земной и румяной:
Повтори, прошепчи,—и в слова обыденные те
Отдадут свою душу эпохи и страны.

В трудовом словаре собрались отовсюду слова:
Вот голландские корни с их привкусом моря,
С ароматом смолы, — и кружится уже голова,
И огни маяков воскресают в просторе.

Вот германские корни, — в них готика шиферных крыш,
Майстерзингеров песни, работа—на диво,
И кожевник веселый, считая гильдейский барыш,
С подмастерьями пробует доброе пиво.

Вот французские корни,—в них ломкий фарфоровый звон,
В них — поросшие бархатом ткацкие станы,
Хищный профиль Кольбера, и в шелковом свисте знамен
Королевскую конницу бьют тиссераны.

Пусть филологи плачут, что смолкла навеки латынь,
И пуристы скорбят, что язык засорился,—
Звон латыни живет среди железных фабричных святынь,
Он в моторах и тракторах вновь повторился.

А в смешеньи наречий нам новый язык расцветет.
За его красоту ты борись и воинствуй:
Трудовая латынь, обвивая народы, ведет
От единства труда к мировому единству.

И я знаю: придет он, сверкающий никелем век,
Санаторно-промытый, вспоенный озоном,
И, быть может, о нас и не вспомнить тогда человек,—
Но в его языке наших слов приводной перебеж
Отольется литаврово-радостным звоном.

Поэт и чернь

Повесть в 13 главах

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ.

(Окончание ¹⁾)

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Около дороги в небольшую немецкую колонию Каррас, на полпути между Пятигорском и Железноводском, часу в шестом вечера расположилась у подошвы Машука довольно большая компания молодежи, при чем девицы Верзилины вручены были попечению старого ротмистра фон-Зельмица.

Лошади, выпряженные из коляски, и лошади верховые пасутся в отдалении под наблюдением кучеров, а человек Лермонтова, Иван Соколов, возится около разостланной на траве скатерти, уставленной тарелками, бутылками, стаканами, убирая лишнюю посуду и увеличивая запасы с'естного и сластей. Молодежь рассыпалась кругом и мелькает между кустов цветными пятнами.

Старый ротмистр с Ниной Ребровой подходит к скатерти, ведя оживленный военный рассказ.

— Ну, а дальше? — рассеянно спрашивает Нина.

— А дальше, неоцененная, — преувеличенно весело продолжает Зельмиц, — колесо нашего повествования покатится та-ак!..

Тут он долго и старательно перекладывает трубку с кистями из одного угла рта в другой и, сладивши с нею наконец, чтобы наверстать время, спешит и потому краток:

— Увидели мы!.. Пришпорили!.. Настигаем!.. Он — в лес!.. Узкое дефиле... Не задумываясь, — вперед!.. Вышибли!.. Он к реке... Летим!.. Он рассыпается... В нас огонь... Завалы... Засада!.. Ка-нальство!..

Но напрасно старается ротмистр: Нина Реброва смотрит через плечо назад и говорит ему рассеянно и недовольно:

— Ничего я не поняла!

— Как же тут не понять?.. — таращит на нее круглые пятидесятилетние серые глаза Зельмиц. — Это уж неестественно!

¹⁾ См. „Новый Мир“, № 7.

— Ес-тест-венно!.. Я вас тридцать раз поправляла! — сердает Нина.

Зельмиц шутливо-скорбно качает тяжелой уже головой:

— Боже мой, боже мой, — когда же я, наконец, это усвою!

Тут он берет со скатерти бутылку вина и стакан, трубку кладет на землю, наливает трясущейся рукой, наклоняется к Нине, пытаясь во-брать живот и быть как можно стройнее и произносит с выражением:

— За ваше неоценимое!

— Да вы уж и так пьяны, — презрительно бросает Нина.

— Я-я?.. Пьян?.. Ди-тя!.. Какая смелая игра фантазии!

И Зельмиц выпивает, не отрываясь, весь стакан и, держа бутылку в одной руке, а стакан в другой и широко расставив руки, командует браво, как в строю на ученье:

— Эскадрон, стой-й-й!

Это подбегают Настя Реброва, Катя Быховец, — кузина Лермонтова, приехавшая незадолго перед тем из Москвы, — юнкер Бенкендорф и кн. Трубецкой.

— А что? А что? — по-молодому задорно кричит Бенкендорфу Настя. — Не догнали! Не догнали!

— Да, если бы не барьер! — оправдывается Бенкендорф.

— Какой барьер? Никакого барьера! — подхватывает Катя.

— А вот — куст!.. Только не знаю какого дерева!

— Куст дерева?.. Очень хорошо! — И Нина хлопает в ладоши.

— А почему же нельзя так сказать? — обижается Бенкендорф. — Маленькое — куст, а будет большое, — дерево!

Тем временем Зельмиц тянет за рукав Трубецкого и кивает на скатерть с винами.

— Ну-ка... за неоцененное... наших дам!

— Как древние греки, я пью вино только с водою! — отговаривается Трубецкой, что заставляет Зельмица выпучить глаза и кричать:

— За то же они и погибли, твои греки!.. За то самое, что вино, дураки, портили!

— Ваше сиятельство! — торжественно обращается Иван Соколов к Трубецкому: — Если желаете, — то самовар у меня готов..

— Ты думаешь, что вино с чаем лучше, чем вино с водою? — спрашивает его Трубецкой.

— Полагаю, ваше сиятельство, — практичнее будет... — подумав, говорит Иван и добавляет: — Впрочем, ваше дело господское!

— Мне чаю! — обращается к нему Катя Быховец, обмахиваясь платком.

— И мне чаю! — требует Настя.

— Ох, кому-то из вас придется сесть за хозяйку! — шутит Бенкендорф.

— Вот новости! Он сейчас принесет чаю, — кивает на Ивана Нина.

— Слушаю... Я самовар от чаду к коляске поставил! — и отходит Иван, а вслед ему спрашивает Зельмиц Трубецкого:

— Чей это такой «практичней»?

— А вот его барин, — показывает Трубецкой на Лермонтова, который подходит рядом с Эмилией.

Эмилия в своей амазонке и с очень недовольным лицом.

— Увы, мой боевой товарищ, — говорит Зельмицу весело Лермонтов, — даже эту кавалькаду с пикником не находят веселой!.. Что же нам с тобою делать?

— Веселых кавалькад не бывает, — это вы сами сказали, — раздраженно говорит Эмилия.

— Даже и лошади кажутся вам скучными, Эмили?

Но та обращается к Трубецкому:

— Правда, Мишеля в школе звали Маёшкой?.. Мне говорил Мартынов...

— Гм... Столыпина, помню, звали Монго, а Мишеля... — замечается Трубецкий, но Эмилия перебивает его зло:

— Ма-ёшка!.. Миленькое имя!.. Это от мсье Майё, известного своим безобразием... Но я все-таки нахожу, Мишель, что вы не настолько уж безобразны!.. Ваши товарищи пре-уве-личили!

— Благодарю вас, Эмили!.. Вы всегда были ко мне очень добры!..

И поэт кланяется ей низко и с самым серьезным видом.

Тем временем Иван приносит несколько стаканов чаю на подносе и обносит усевшихся около скатерти Катю, Ребровых, Бенкендорфа, — поэтому озабоченно обращается к Эмили Лермонтов:

— А вы чего хотите больше, Эмили? Чаю с пирожками, или пирожков с чаем?

Эмилия обмеривает его с головы до ног обиженно-изумленным взглядом и, заметив, что подходят Мартынов с Надеждой, порывисто отходит к ним навстречу.

— Труби «сбор»! — командует Зельмиц Ивану.

— Чего прикажете? — поворачивает к нему бороду Иван.

— Э-э... «Прикажете»... «Прикажете»... Не люблю я!.. — ворчит Зельмиц. — Человек должен быть денщик!.. Правда, Мишель?

— Мой дорогой, не очень ли скромно? — спрашивает быстро Лермонтов. — По-моему, человек должен быть никак не ниже майора, иначе какой же он человек?

— Майора?.. Божё мой, Божё мой, когда же я тебя пойму?.. — качает головой Зельмиц, но, взглядывая на майора Мартынова, бьет себя пальцем в лоб: — Уж ты не эту ли каланчу, Мартынова, имел в виду?.. Но кто же из нас здесь не ниже его ростом? Все ниже!

— И, значит, нет среди нас ни одного человека!.. Вы очень догадливы, мой друг!

Вид пьяного Зельмица, сбывившего голову в сторону поэта, очень смешон, и Катя Быховец с Настей Ребровой весело хохочут.

— Ого! Здесь весело! — говорит кн. Васильчиков, подходя с Аграфеной Петровной. — И здесь такие... э-э... вкусные виды!..

— Вина, а не виды, — наш единственный рябчик! — поправляет его Зельмиц, уж очень нетвердо стоящий на ногах.

— И чай!.. Я вам сама налью чаю! Хорошо? — предлагает весело тонкому Васильчикову толстушка Аграфена Петровна, увлекая его к самовару около коляски.

— Нинет! — скучно говорит Лермонтов Ребровой. — Вы помните наш прошлогодний пикник на Провале?

— Я всё помню! — с ударением отвечает Нина и улыбается радостно.

— Зачем же так много помнить?.. У вас — несчастная память... Ведь все полюбить, значит все позабыть, — не так ли?

— Ну, значит, я все забыла!

Зельмиц глядит на нее и на поэта, тяжело кивая головой:

— Он уже меня запутал, путаник!.. Смотрите, неоцененная!.. Он вас запутает, как муху паук!

— Какое изящное сравнение! — презрительно пожимает плечами Нина.

— Нинет! У вас появилась ямочка на подбородке!.. Какая прелесть!.. Сейчас она чуть лиловая!..

И, обращаясь к Зельмицу, заканчивает поэт:

— Выпьем по-гусарски за ее процветание, мой боевой товарищ! Это ты в третий раз уже ротмистр?

— В четвертый!

— Эмили!.. Эмили! — кричит Лермонтов в сторону, где Эмилия вместе с Мартыновым и Надеждой. — Зельмиц, ротмистр, в четвертый раз пьет за ваше здоровье!

— Отстаньте вы! — отзывается Эмилия.

— В чет-вер-тый раз!

— Боже мой, —я совсем забыл, когда пил за мадмуазель Эмили еще три раза! — сокрушается Зельмиц.

— Да ведь забыть значит полюбить! — грустно вставляет Нина. — Вы так сказали, Мишель?

И Надежда Петровна, насупивши тонкие брови, подходит к поэту и говорит ему вполголоса, но с укором:

— Охота вам так расстраивать Эмили!

— Гм... Чем же я так расстроил ее, — не понимаю! — удивляется поэт и тут же кричит Эмили, подымая стакан:

— Эмили!.. Мы с ротмистром пятый раз пьем ваше здоровье! Вы позволяете?

— Нет! — резко отзывается Эмилия.

— Бедный мой боевой товарищ! — вздыхает Лермонтов. — Это тебе не Чечня, не Гахинский лес, не Валерик!.. «Но сердце Эмили подбно Бастилии»!..

— Какая же это твердыня — Бастилия? — подхватывает Бенкендорф. — Ее взяли в одну ночь и даже без оружия!

— Вы хорошо знаете историю, граф! — кланяется ему поэт. — И так бывает со всякой Бастилией: берут в одну ночь и... без оружия!..

И, быстро хватая с тарелок несколько конфет, бросает их Кате Быховец:

— Катишь! Ловите!

Та не успевает поймать. Конфеты осыпают ее платье. Она притворно сердчат:

— Фи!.. Какой вы гадкий, Мишель!

— Гадкий?.. Моя прекрасная кухня, сейчас я вам отплачу за это!

Он быстро пишет на бумажке одной из конфет что-то карандашом и бросает ей:

— Ловите!

Нина и Настя тянутся к Кате:

— Что он написал? Что?

Но та ужасается притворно:

— А-ах, гадкий!.. О, дайте же мне карандаш!

— Кому карандаш? Вот карандаш! — достает карандаш из записной книжки подошедший в это время с Аграфеной Петровной Васильчиков.

— Потом дайте и мне карандаш! Я ему тоже напишу! — грозитя Нина.

— И мне тоже дайте! — просит Настя.

Медлительный Трубецкой тоже берет конфету, пишет на ней и бросает Насте:

— Ловите!

— Мишель, берите! — кидает конфету Катя.

— Теперь мне карандаш! — умоляет Катю Нина.

— Милая Катишь, — мде! — просит Настя.

— У меня есть еще один карандаш! — предлагает Васильчиков. — Я ведь... ня... по части ревизии!

— Ах, мерси! Вы—хороший!—восхищается Нина, быстро пишет и бросает Лермонтову конфету.

Зельмиц, усевшись между тем спиной к упругому, об'еденному козами кусту карагача, обводит всех мутным взглядом, останавливает глаза на Васильчикове, бормочет:

— Ох, эти мне рябчики... строчилы... Во всех карманах у них... одни только... карандаши... Естест-вэнно!..

Устраивается удобнее, перебравши плечами и свесив голову, и, незаметно для других, засыпает.

— Монтаньяр! Прими! — кричит Лермонтов Мартынову, все стоящему в отдалении с Эмилией и Надеждой.

Мартынов не успевает поймать брошенной им конфеты, и она падает около его ног на землю. Эмилия подымает ее с земли и бросает обратно.

Аграфена берет у Васильчикова еще один карандаш, что-то пишет на конфете, но карандаш ломается, и бросает Трубецкому; Настя— Бенкендорфу.

— Что вы пытались написать?—спрашивает Трубецкой Аграфену.

— Прочитайте между строк!

— Мишель!— взывает Катя. — Напишите мне экспромт!.. Вы пишете мне? Я вижу! Экспромт!

— А мне Мишель? А мне ответ? — умоляет Нина.

Лермонтов бросает им по конфете:

— Ловите, Нинет!.. Экспромт, Катишь!

— Где же? Где вы писали? — разочарованы обе.

— Угадайте!.. Угадайте, что я хотел написать, и мне напишите!..

А я сделаю вам так (поэт качает головой утвердительно) или так (он делает отрицательный жест).

— Да-а!..

— Не надувайте ваших хорошеньких губок!.. Не могу же я писать сразу пятерым!

— А Юлий Цезарь?.. Как же он диктовал шесть писем, когда писал седьмое? — вставляет Бенкендорф.

— Писал седьмое?.. Вы изумительно знаете историю, граф, и далеко пойдете поэтому!.. Эмили! Ловите!.. Я тоже вам пишу только седьмое, как Цезарь, а остальные диктую!

— Эмилия ловит и читает. Прочитав, она глядит на Лермонтова, который вдруг подымается, с изумлением и злостью, в то же время разрывает бумажку в клочки.

— Господа, в горелки! — заметив это, кричит Надежда и бьет в ладоши.

— В горелки!.. В кошки-мышки!.. В горелки! — отзываются ей и вскакивают все и убегают, так что Лермонтов и Эмилия остаются только вдвоем около разостланной скатерти, да спит скрытый густоветвистым кустом Зельмиц.

— Теперь между нами все кончено! — еле сдерживая себя, говорит Эмилия.

— Вы думаете, Эмили? — спокойно спрашивает поэт.

— Вы так меня оскорбили, что я...я... я бы не вызывала вас на дуэль!.. Я бы вас просто... заколола кинжалом! — вскрикивает она, чуть не плача.

— Из-за угла?.. Ночью?.. В спину? — осведомляется поэт.

— Ночью! В спину! Из-за угла!.. Да!.. Да!

— Вы взяли бы для этого огромный кинжал Мартынова? Он самый подходящий для этой цели!.. Но простите все-таки меня, Эмили, и отсюда поедем рядом с вами... Уже зашло солнце...

— Рядом с вами? Я?.. Ни за что!.. Я попрошу Бенкендорфа и старика Зельмица, чтобы они ехали справа и слева и чтобы не подпускали вас!

— Эмили!.. Но ведь Зельмиц спит!.. Вот он — Зельмиц!

И Лермонтов показывает ей спящего за кустами ротмистра.

— Ах! — вскрикивает Эмилия.

— Вставай, старина! — расталкивает Зельмица поэт. — К тебе обратится сейчас с просьбой красавица!

Быстро, как трудно было и ожидать, вскакивает, бормочет Зельмиц:

— А? Меня... звали!?

— Богдан Карлович!.. Вы будете сопровождать меня... Мы сейчас едем домой... То-есть, понимаете, я прошу вас, чтобы вы ехали со мною рядом!.. Вы можете?

— Я?.. Рядом?.. Охотно... С наслаждением... Почту за честь!..

Он только еще приходит в себя, и ему еще кажется, что качается под ним земля, и, заметив это, говорит Эмилия резко:

— А вы не выпадете из седла дорогой?

— Я?.. Из седла?.. Старый гусар?.. Если бы вы были не вы, а... какой-нибудь поручик...

— Тогда была бы твоя пятая дуэль! — заканчивает за него Лермонтов. — Но, Эмили, знайте, что я его вышибу из седла, чтобы все-таки ехать с вами рядом!

— Поп-ро-буй! — грозит ему непослушным пальцем Зельмиц.

Но поэт не глядит на него, — уходит Эмилия к играющим в горелки, и он кричит ей вслед:

— Пари!.. А discretion!

— Она...мне... говорит... Выпаду из седла!.. Божё мой!.. Разве я до такой степени пьян? — бормочет Зельмиц.

— Естественно, нет!.. Выпьем поэтому здоровье Эмили в шестой раз!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Домик, в котором жили Лермонтов и Столыпин, был обыкновенной казачьей хатой, крытой камышом. Простою дверью на крючке отделялась комната одного от комнаты другого. Бревенчатый потолок; выбеленные известью стены. Простые стулья; простой, покрашенный зеленой краской стол.

Близко к полночи. Возится в своей комнате, дверь в которую открыта, Столыпин, приготовляясь спать. Он в халате, как и Лермонтов, который сидит за столом и пишет, кусая иногда карандаш или чертя размашисто виньетки. За окном — шум дождя и сильные порывы ветра.

— И что же это за чортова погода! — громко возмущается Столыпин.

— Сделай милость, пожалуйста, — не мешай! — просит поэт.

— Да! «Не мешай»!.. Давно были бы в Шуре, если бы я тебе два месяца назад помешал!

— А что ты забыл в Шуре?

— Давно был бы в своем полку!

— И?.. Дальше что?.. И в Шуре те же карты и то же вино... и сквернейшие обеды вдобавок!

— А здесь что?.. Пыль, мухи, скука!

— Ну, вот теперь дождь для разнообразия... Послушай, — ты ложишься спать? Ну, и ложись!

Поэт пишет. Протяжный, рыдающий рев осла раздается где-то за окнами.

— Окаянный осел! — раздражается Столыпин.

— Что?.. Кто осел?

— Осел.

— А-а!.. Не мешай, пожалуйста!.. И закрой свою дверь, слышишь?

— Вечные глупости!

Дверь закрыта. Поэт пишет, перечеркивает, ломает карандаш. От сильных порывов ветра по крыше хлопают и скребют ветви дерева.

— Окаянная акация! — шумно отворяет дверь Столыпин. — Не даст заснуть!.. Пусть что хочет Челябин, завтра пошлю ее обрубить!

— Что ты мучаешься, как грешник перед смертью?.. Ложись и не мешай!

— Вот что! Я вспомнил!.. — мрачно говорит Столыпин. — Писать свои мадригалы ты можешь после, а теперь... Я тебя предупредить должен: очень скверно отзываются о тебе, — я слышал!

— Обо мне иначе и не отзывались, — иди спать!

— А как тебе покажется такая фраза? — повышает голос Столыпин: — Мишеля одернуть надо! Он зарвался!

— Одернуть? Буквально так? Кто?

— Задело?.. И не беспокойся! Одернут!

— Кто?

— Кто бы то ни было... Считаю нужным, чтобы ты знал...

— Разве вообще-то для меня это большая новость?.. Кто?.. Не Мартышка ли, а?.. Мартышка?

— Нет, я не от него слышал.

— Тебе это сказали, и ты... промолчал?

— Сказано было не мне лично, однако, при мне... Я отчетливо слышал... Припомни, кого ты уязвил недавно?

— Мало ли кого!.. Это не Зизи ли Мерлини?.. Ты откуда пришел нынче так поздно?

— Нет, не Зизи, конечно... Это гораздо ближе от нас, и совсем не девица.

— Глебов?.. Неужели Глебов?.. Дурак!.. Обиделся тоже!..

— На что обиделся!.. Нет, это не Глебов сказал!

— Ну, черт с ним, кто бы он ни был!.. Ну, пусть меня вызовет!.. Ты просто не в духе сегодня... Ты проигрался крупно, — можешь взять у меня тысячу, — больше не дам... И иди спать.

— Вот что: завтра я еду в Шуру! И ты со мною... А денег твоих мне не надо... Я уплатил, а отыгрываться не хочу.

— Завтра будет вечер у Верзилиных...

— Отставить!.. Вечер!.. Каждый день где-нибудь да бывает вечер!..

— Да я ведь и вообще-то не собираюсь ехать в Шуру...

— Как не собираешься?.. Совсем?

— Мне и здесь хорошо... Отсрочу отпуск... Ильяшевич старик добрый: отсрочит...

— До бесконечности?.. С ума ты сошел?.. Ты из-за этой Эмили готов на мильон глупостей, а она, говорят, над тобой смеется, как над последним дураком!

— Иди спать!.. Ну, послушай!

— Я не пойду к Верзилиным и завтра же еду!.. Так и знай!.. А Эмили водит тебя за нос... и за твоей спиной перемигивается с Мартыновым.

— Оставь же молоть вздор!.. С Мартышкой?.. Нелепость!.. И какое тебе до этого дело?

— Хорошо, но что же это такое у тебя, наконец?.. Роковой какой-нибудь роман?.. Ты что, — не жениться ли на ней хочешь?.. Как на Сушковой когда-то?..

— А ты что же это в самом деле?.. В дядьки тебя ко мне приставили? Иди спать!

— Мне черт с тобой!.. Корпи над мадригалами, вытворяй глупости, и пусть тебя ухлопают для удовольствия всех, подобных Мерлини, а я завтра же еду в свой полк, — и конец!

И Столыпин захлопывает дверь.

— С богом!.. Кто для удовольствия Мерлини?

— И конец! — повторяет из-за двери Столыпин.

Лермонтов прометнулся раза три из угла в угол и остановился перед дверью Столыпина.

— Князь Ксандр, кажется, начал экать и мнять около Зизи... Это не он ли уж хочет меня одернуть?

— Ага! Значит, у тебя и с ним история? Не доставало!

— С ним мы тут же и помирились... Спи!

Некоторое время он еще мечется по комнате взволнованный, ероша волосы сзади... Подходит к окну, слушает ветер и шум дождя. Потом садится к столу и пишет. Читает вполголоса:

Завет Предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная,
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя...

Встает. Садится. Ерошит волосы... Снова встает и пишет стоя... Ломает карандаш и разыскивает на столе другой... Все качается за окном дерево и скребет сучьями по крыше... Пишет и потом читает громче прежнего:

Смотрите, — вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами...
Глупец!.. Хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!

На глазах у него слезы... Смигивая их, он дописывает «Пророка», говоря вслух и сам откачиваясь, а левой рукой указывая перед собою:

— Смотрите, как он худ и бледен,
Как презирают все его!

— Про себя нельзя ли!.. Ты мне мешаешь спать! — раздается из-за двери голос Столыпина:

— Монго!.. Монго! — в волнении сильнейшем подскакивает к двери поэт. — Я тебе прочитаю! Слушай!

— Не хочу слушать!

— Отвори же! — трясет двери поэт.

— Не безоб-раз-ничай! — кричит Столыпин.

— Не отворишь?.. Говори, — ты не отворишь?.. Сейчас высажу дверь!

Он подбегает с тетрадью к столу, бросает ее на стол, бросается к двери, упирается в нее спиной; дверь трещит, готовая сорваться с крючка, и вдруг он застывает, выпрямляясь... Прямо против него, на белой стене появляется голова его Демона, того самого, который «ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет»... и глаза его велики, отчетливы и очень внимательны... Он становится все ясней, точно подходит ближе, и глядит сложным пугающим взглядом... Этот взгляд можно принять за грусть и за участливое внимание, такое огромное, что оно невыносимо в небольшой комнате... Так всего два-три момента, потом голова эта начинает тускнеть, удаляться, но и удаляясь, глядит неотрывно в глаза поэта будто призывающим взглядом... Последними исчезают со стены именно эти призывающие глаза.

В это время Столыпин, раздраженный, в едва накинутом архадуке, со сжатыми кулаками врывается в комнату, но видя испуг и неподвижность Лермонтова, говорит ему хотя и зло, но тихо:

— Ты... что это?

— По-ка-залось мне что-то...

— Перекрестись, чтобы не казалось!.. Домадригалился!.. До галлюцинаций!

Поэт смотрит на него, на стену, — теперь обыкновенную, привычную, подходит к ней несмело, проводит по ней рукою и говорит устало:

— Странно!.. Вот здесь... Сейчас... За этой стеной... Как это странно!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В большой гостиной дома Верзилиных чехлы с кресел сняты, — зажжены свечи в бронзовых бра, — все готово к приему гостей, из которых здесь пока только двое «своих» — Мартынов и Глебов. Около первого из них Эмилия, около второго — Аграфена. Глебов уже без палки, Мартынов в новом белом бешмете.

— Этот бал в ресторации в то несчастное воскресенье, — до чего это было ужасно! — говорит Эмилия. — Без отвращения не могу вспомнить!.. То ли дело вот как теперь: соберемся своим кружком без всяких мизераблей!.. Ах, только бы не пришел Лермонтов!

Однако как же он не придет? — удивляется Аграфена. — Ведь его же пригласили!

— Он должен догадаться!.. Он должен понять!.. Да!.. Это так просто, кажется, — догадаться!

— Эмили, ты к нему очень пристрастна!.. Одно время всем казалось, что ты в него даже влюблена, а теперь...

— Я?.. Влюблена?.. Ты меня просто сердишь!.. Ну, в кого же там было влюбиться?.. Маёшка!.. В Маёшку влюбиться?.. И он до того сутол, что я подозреваю даже, что он горбат!.. Он горбат, правда? — требовательно спрашивает она Мартынова. — Ведь он упал с лошади когда-то?

— Он упал с лошади в манеже, в школе... или чужая лошадь стащила его зубами, — вспоминает Мартынов, — но сломал он себе только ногу... кажется, левую... Ведь он прихрамывает немного... как Байрон...

— Вполне возможно, что повредил и шею!.. На это похоже!.. До чего же я зла на него!.. Даже самой противно!

— Вот, посмотрите! — говорит Глебову Аграфена. — А когда читала «Демона», то плакала!

— Когда же это я читала и плакала? Что ты?

— С месяц назад!

— Месяц назад я его еще не знала, как следует, — зато теперь!.. Впрочем, я и теперь не знаю, как с ним буду, если он не догадается и придет!.. Он может прикинуться очень тихим, и так начнет каяться... и умолять... Ведь это уж бывало... и не один раз...

— Он очень избалован, я заметил, — говорит Глебов. — Он в женском обществе воспитан... А из мужчин никто еще не проучил его, как надо.

— Вот именно! — подхватывает Эмилия. — Ваше мужское общество!.. Он всеми вами командует, как хочет!.. Да, — я это заметила!.. На всех пикниках и в кавалькадах слышно только его!.. И этот его противный леший хохот!

— Очень неприятный у него смех, — это правда! — замечает Мартынов.

— Как ни у кого!

— И ни у кого не видал я также, чтобы глаза так загорались, как у него, — продолжает Мартынов. — Они у него мечутся, — вы заметили? — это, когда он возбужден.

— Да, я видала, — вставляет Аграфена.

— Ага! Видала!.. Ты разглядела бы его поближе! — возбуждается вновь Эмилия.

— Это в нем как-то... неприятно действует очень, — продолжает Мартынов. — Напустить на себя этого нельзя, конечно, это не байро-

низм... Ведь все-таки дороховским отрядом он командовал недели три в боях, а ранен не был... Говорят, на чеченские завалы верхом кидался...

— Еще и на белой лошади! — улыбается Глебов.

— И Барант, говорят, был отличный стрелок, а по нем дал промах, — подсчитывает Мартынов, — а шпага Баранта почему-то на нем сломалась...

— Нет, это шпага Лермонтова сломалась, а не Баранта, — поправляет Глебов и спрашивает, поводя носом: — От кого это так пахнет лилией?

— Вот букет лилий! — показывает на рояль Аграфена. — И, кажется, господа, кто-то под'ехал!

Но на стук копыт и колес за окнами не обращают внимания остальные. Эмилия небрежно говорит Глебову:

— А-а... это Лермонтов держал со мной пари а discretion, что с пикника он будет ехать со мною рядом, а я защитилась Зельмицей с одной стороны, Бенкендорфом с другой... и предоставила ему ехать только сзади и злиться... А на другой день он прислал мне лилии... Я хотела их не принять, но...

Тут, обрывая себя, она обращается к Мартынову:

— Я себе тоже закажу черкеску и серебряный пояс à la Nadine... Мне будет итти?.. Я знаю, что будет итти... Я сделаю голубой раструб... А это — для пуль? — дотрагивается он до его газырей. — Тут у меня будут настоящие пули!

— И они будут стрелять из кинжала! — доканчивает Аграфена.

Поспешно отворяя дверь в гостиную, останавливается на пороге Надежда. Заметив, как Эмилия протянула руку к газырям Мартынова, она долго смотрит на него и на нее пытливым взглядом и говорит раздельно и негромко:

— Обыдёновы... приехали!

— Так рано? — удивляется Аграфена. — Надо итти встречать Нину! Так рано!.. И сказать маме!..

Она выбегает, а Надежда подходит к Эмилии, которая тем временем допытывается у Мартынова:

— А правда, Нина Обыдёнова очень, очень мила?.. Вы находите?

Мартынов делает весьма неопределенный жест, а Эмилия продолжает:

— Только почему они даже и к нам не пускают ее одну?.. Это даже обидно!.. Пока-то, наконец, собрались сами!

— Нет, она не в моем вкусе, — успокаивает ее Мартынов, на которого все глядит встревоженно Надежда.

— Он будет важничать и шуметь на правах товарища папá... — говорит об Обыдёнове Эмилия.

— Я с ним знаком немного, — отзывается Мартынов.

А уж гудят за дверью голоса новых гостей.

— Наконец-то мы вас дождались! — певуче пеняет им Верзилина, а Обидёнова старается показать, насколько ей самой все хотелось прежде, чем у кого-нибудь другого, непременно побывать у нее:

— К вам к первой, Марья Ивановна, душечка!.. К вам мы к первой! — поет она тоном ниже хозяйки; и скрепляет этот дуэт сам Обидёнов своим сановитым рокомотом:

— Как только прибыли в Пятигорск... всё думали, как бы к вам... всё думали, всё думали, поверьте!

И они входят. Впереди Обидёнова и Верзилина, за нею генерал Обидёнов с дочерью и Аграфена.

— Наконец-то! — радостно идет им навстречу Эмилия.

А Надежда отходит шага на два от Мартынова, начинает-было наперед заученную фразу: — Мы вас так давно... — и обрывается: нужно было сказать это радостно, игриво, а у нее перед глазами все неотбойно мелькает белая тонкая красивая рука Эмилии, протянутая к золотым газырям Мартынова.

Ее выручает мадам Обидёнова, целуясь с Эмилией и с нею, потом она попадает в объятия Нины Обидёновой, наконец, и сам генерал, старый товарищ ее отца, чмокает ее в лоб и щеку.

Мартынов и Глебов стоят почтительно, и, здороваясь с первым вразяжку рокочет Обидёнов:

— Майора в отставке имел счастье встречать, а кор-не-та...

— Глебов, — называет себя корнет.

— Раненый, — добавляет Мартынов, отходя к дамам.

— Ра-не-ны?.. В каком же деле?.. Или без дела? — допрашивает Обидёнов.

— При взятии аула Дуду-Юрт, ваше превосходительство.

Подводя Глебова к жене и дочери, рокочет Обидёнов:

— Хлебов, кор-нет... Обращаться с осторожностью... Аул взял, — потому раненый...

Обидёнова старается казаться очень важной. Она не столько толста, сколько ширококоста, и от широких бровей, очень черных, имеет воинственный вид.

— Похвально, что аул какой-то взял, — говорит она Глебову, — а вот что ранен, — не похвалю!.. Все храбрость свою показывают и вперед лезут!.. А к чему это?.. На то простые солдаты есть!

— По уставу!.. По уставу, — да-да-да-а, — вперед лезут! — объясняет Обидёнов. — А вот, что танцевать он не может, скажи, это — зелье!

И, оглядывая гостиную, он говорит довольню:

— Про-стор-но!.. Ничего... Есть, где... А знаете ли, майор, в молодости, лихой я танцор был!.. Да... Но-о, — с разрешения супруги своей мог бы и сейчас!..

Он выпячивает грудь, подбрасывает голову, чмыхает несколько раз и привычно играет пальцами.

— Нет, как хотите, — говорит Верзилина Обыденовой, — Нюночка очень поправилась с тех пор, как я ее видела в последний раз!

— Что вы, Марья Ивановна, душечка! — басом отзывается Обыденова. — Будто она у меня заморышем когда была!

— Да, конечно, нет!.. Но как-будто даже стала выше ростом!

— Каблуки модные!.. — И, чтобы не быть в долгу, кивая на Эмилию, добавляет: — А у вас-то какая красавица поднялась!.. И другие такие милые, — глядеть любо!

— А своенравные!.. А куролесницы!.. А амазонки! — подхватывает Верзилина. — Целый день готовы скакать, сломя голову!

Появляется в дверях парадная Луша и возглашает:

— Князь Васильчиков! Граф Бенкендорф!

— Проси же, Надин! — посылает Верзилина.

Надежда идет к дверям. С сестрами Ребровыми входят Васильчиков и Бенкендорф. Ребровы попадают в объятия женщин. Продвигаясь за ними, знакомятся с Обыденовой и Ниной Васильчиков и Бенкендорф.

Обыденов спрашивает вполголоса Мартынова:

— Этот, в штатском, — Васильчиков — князь? Тот самый?

— Тот самый, ваше превосходительство, — отвечает Мартынов.

— А-а!.. Почему же его пустили по штатской?

Он чмыхает большим ярким носом и играет пальцами. Когда подходит Васильчиков, Мартынов его представляет:

— Оч-чень приятно!.. Оч-чень рад видеть молодежь!.. Иллариона Васильича сынок?.. Слышал!.. Похвально!.. Очень... Но отчего же по штатской?.. И чин имеете?

— Титулярный советник пока, — говорит Васильчиков, забывая экнуть.

— О-очень похвально!..

Но так как в это время подходит к нему, уже обошедший дам, Бенкендорф, он вздергивает голову строго:

— Юнкер?

— Граф Бенкендорф, ваше превосходительство! — отвечает тот. И голос Обыденова вдруг становится радостным:

— Не в родстве ли с графом Александром Христофорычем?

— Родной сын.

— А-а!.. Вот как!.. Похвально!.. Что же, полечиться сюда? Или, пожалуй, погулять, вернее?.. Хе-хе-хе-хе!..

— И полечиться, и погулять, ваше превосходительство... То и другое...

Обнявши обоих молодых людей за талии, Обыденов торжественно подводит их к жене.

— Евдокия Петровна! Князь Васильчиков... Бенкендорф — граф... Достойнейшие молодые люди!

— А ведь мы с вашей мамашей были когда-то очень дружны! — басом поет Обыденова князю.

— Да-а... э-э... я от нее слышал это неоднократно! — кланяется ей никогда ничего не слышавший о ней Васильчиков.

А генерал Обыдёнов, удерживая за талию Бенкендорфа, рокошет ему в ухо:

— Совместно с вашим батюшкой На-по-ле-она добивали!.. Как же!.. Под Лейпцигом в корпусе барона Винценгероде... Потом он, ваш батюшка, в Гол-ландию был командирован, а я остался при бароне... А по-том... Это уж в сражении при Сен-Дезиэ... опять мы оказались вместе... даже в одной палатке спали... Только уж тут всей кавалерией граф Воронцов командовал...

Снова является в дверях Луша и возглашает:

— Господа Пушкин и Зельмиц!

— Проси, проси! — кричит ей Верзилина. — И зачем ты докладываешь, когда все свои?..

Лев Пушкин и Зельмиц входят не одни: с ними ясноглазая брюнетка — Катя Быховец.

И в то время, как Обыденев продолжает говорить Бенкендорфу:

— Я всегда был уверен, что Александр Христофорыч... батюшка ваш... зай-мет, по заслугам своим, современем ва-ажный пост!.. Как оно и вышло!.. Ка-ак оно и вышло в конце-то концов!..

Верзилина сама встречает вошедших:

— Катишь, моя милочка!.. Какая вы цыганочка!..

И едва успев расцеловать Катю, уже грозит Зельмицу:

— А вы!.. Я знаю, как вы себя вели на пикнике последнем!.. Мне всё рассказали!.. Вот я скажу вашему брату, Антону Карлычу, как вы себя вели!..

— А что? Молодцом, а?.. Героем? — выпучивает на нее глаза Зельмиц и, целуя ей руку, проходит дальше, оставляя ее с Пушкиным.

— На-си-луш-ки заглянули к нам!.. Заждались мы!.. Какой вы недобрый! — тянет Пушкину Верзилина, а тот оглядывается кругом, неприятно пораженный присутствием Обыдёнова, и говорит любезно Верзилиной:

— У вас сегодня торжественно!.. А меня даже не предупредили!..

— У нас как всегда... И все свои... Потанцуете... Вы, кажется, играете?.. Глебов играет... Да вот что-то Трубецкого нет: был бы хо-рош за роялем...

— Он сейчас будет... И Лермонтов с ним... Они пошли за Дмитриевскими...

— Лев Сергеич! — зовет Эмилия.

— Идите, идите к девицам, — толкает его Верзилина.

Разговор становится общим и оживленным. Слышится частый женский смех. А генерал Обыдёнов, все еще держа за плечо Бенкендорфа, терзает его своими воспоминаниями:

— И еще очень памятно мне, как мы с вашим батюшкой... при Краоне, тоже в 14-м году... в мае, кажется, месяце...

— Позвольте засвидетельствовать почтение! — подходит к нему Зельмиц.

— А-а!.. Вот!.. Зельмиц-фон... ротмистр!.. — одушевляется еще больше Обыденов, — Ведь тоже был в деле под Кра-оном!.. За какое дело теперь и... ротмистр!.. Хе-хе-хе-хе!.. А тогда был в вашем теперешнем чине, граф!

— При Краоне я не был, нет! — весело парирует Зельмиц.

— А поседел-то как, — а!... — указывает пальцем Обыденов. — Гораздо больше, чем я!

— Это потому, что при Ла-оне был!

А генеральша тем временем отчитывает Пушкина:

— А, батюшка!.. Вот он, голубчик!.. А за чью-то спину спрятался от нас на бульваре!

Но так как Обыденов все еще продолжал терзать несчастного юнкера, говоря:

— И вот тогда получил я от вашего батюшки такое поручение... не скажу: приказание, — мы были в равных тогда чинах...

Обыденова кричит мужу:

— Да уж пусти ты его к девицам, пристал!.. И думает: очень ему весело слушать!.. С нас и Зельмица будет довольно!.. И Пушкина не заговаривай!.. И этот еще годится девиц смешить: не перестарок!

Уже без доклада Луши входят Лермонтов и кн. Трубецкой.

Лермонтов, войдя, медленно обводит всех изучающими глазами, пропуская вперед Трубецкого, который подходит к Верзилиной.

— Ага!.. Вот и князь Серж! — говорит та довольно. — Мы вас заставим сегодня играть!.. А другие повертятся... Но зачем же делать такое грустное лицо?.. Потом я сама сяду за рояль, а вы повертитесь!

— О, нет, — зачем же грустить?.. Разве можно грустить в вашем милом доме? — склоняет голову Трубецкой.

Заметив, что Эмилия сидит рядом с Мартыновым, целуя руку Верзилиной, говорит преувеличенно отчетливо Лермонтов:

— Мы сейчас были у Дмитриевских, но там упорно засели мсье Флюс, мсье Насморк и подобные... и везде пахнет мятой, гвоздикой и ромашкой... кажется даже и шалфеем!

— Ну, скажите!.. Бедные!.. Где же это могло их так продуть? Не на балу ли в ресторации?.. Князь Серж, — вы с генералом Обыденовым не знакомы?

Трубецкой делает кислую мину, но она легонько толкает его:

— Идите, идите к нему! — и Трубецкой отходит.

— Говорят, он поразительно глуп... даже для генерала! — говорит ей Лермонтов.

— Мишель! — делает она испуганное лицо. — Осторожнее, ради бога, прошу!

— Хорошо... Я буду осторожен! — кланяясь и глядя на Эмилию, говорит поэт и проходит дальше.

А генерал Обыденов восторженно встречает Трубецкого:

— Князя Базиля сынок?.. Ну, как же!.. Ну, как же!.. Сколько было вместе пороху нюхано!.. И соли с'едено!.. И шам-панского выпито!.. Евдокия Петровна!.. Князя Базиля Трубецкого сынок!

— А это — наш поэт! — представляет Лермонтова генералу Зельмиц. — Поручик Лермонтов!

— Лер-ман-тов? — почему-то делая ударение на «ман», подымая голову и чмыхая носом, сразу меняет тон Обыдёнов и снисходительно подает руку. — Та-ак!.. Армеец!.. Пе-хота!.. На-слышан!.. Сочи-нитель?.. На-слышан... от генеральши Мерлини!..

— Эта почтенная женщина — мой истинный друг! — учтиво кланяется Лермонтов.

— Та-та-та-та! — подхватывает живо Обыдёнов. — Что «почтенная», то кто же спорит об этом?.. Но что она будто бы «дру-уг» ваш, — это... это уж едва ли-с!.. Чёрен!.. Очень чёрен!.. И почему это — чуть сочинитель, то прежде всех прочих талантов должен он быть чёрен?.. Не из арапов ли, как Пушкин-покойник?.. О живом я не говорю, притом же он и не чёрен!

— Почти из арапов, ваше превосходительство! — напряженно говорит поэт. — Потомок Лермы, испанского герцога!

— Гер-до-га?.. А-а!.. Это что же... по вашим родовым книгам так? — медленно разглядывает его Обыдёнов, но он продолжает так же напряженно и отчетливо:

— А ближайшие предки — шотландские графы!.. Вы, надеюсь, Вальтер Скотта читали?.. У него есть баллада о моем предке, поэте Фоме Лермонте... Не читали?

Обыдёнов, уже поднявший голову, подымает еще и пучки бровей.

— Нет... Не читал... И считаю, что...

Перебивая его, продолжает поэт:

— Он был унесен в страну фей в детстве и получил от них дар песен и дар предсказаний!.. Но он просился на землю снова и был отпущен на известный срок... Пел и предсказывал!

— Глупая сказка!.. Детская!.. Чхм!..

— И прошло много лет!.. Вдруг к замку его зимой, по снегу, сверкавшему на солнце, подошли две белых серны... Это феи прислали за ним: кончился срок!.. Повесил гусли свои поэт Фома и пошел за сернами... Опять в страну фей... И никто уж не видал его больше... ваше превосходительство!

— Глупая сказка! — усиленно играет пальцами и чмыхает Обыдёнов.

Среди Верзилиных озабоченное движение и вот уже зовет Эмилия:

— Мишель!.. Михаил Юрьевич!

— Сказка эта не так и глупа, — говорит Обыдёнову Лермонтов, — и вы, конечно, знаете, — не можете не знать, — у Гейне: «Эта старая сказка останется вечно новой»!

— Мишель!.. Идите же, когда вас зовут!

Оглянувшись, Лермонтов идет к Эмилии, а Обыдёнов озадаченно жуёт губами и укоризненно качает вслед ему головой.

Минут через десят чета Обыдёновых, Верзилина и Зельмиц в соседней комнате, куда из гостиной открыта дверь, сидят за зеленым столом, а в гостиной, очищенной от столов и лишней мебели, расположились танцующие пары: Мартынов с Надеждой, Васильчиков с Аграфеной, Бенкендорф с Эмилией, Трубецкой с Ниной Ребровой, Пушкин с Ниной Обыдёновой, Лермонтов с Катей Быховец.

За роялем — Глебов; около него Настя Реброва.

Дверь в соседнюю столовую тоже открыта, и видно, как там около столов хлопочут люди, расставляя приборы.

Вот обрывает игру Глебов:

— До-воль-но!.. Я устал!

— Еще! Еще! — кричит Нина Реброва. — Настя! Ты сядь!

— Да-а! Я!.. А ты будешь танцевать!..

— Нет! Отдых! — решает Эмилия. — Но, знаете ли, с вами почему-то тяжело танцевать! — выговаривает она Бенкендорфу.

— Нет, почему же? — конфузится тот. — Правда, зал ваш немного тесен... Тесноват...

— Нисколько не тесноват!.. Для шести-то пар? Что вы!.. Положим, Мишель танцует еще хуже, чем вы!.. Воображаю, как он вас замучил, Катишь!

— Ужа-асно! — обмахивается веером Катя. — Он настоящий медведь!

— Моя прекрасная кузина! — говорит поэт. — В наказание за это я буду танцевать только с вами весь вечер!

— Но кто изумительно танцует, — обращается к нему Эмилия, — это Мартынов... Правда, Надин?

— Да-а! — и усиленно действует веером Надежда. — Очень жарко!

— Не позволите ли мне на минутку свой веер, Надин? — склоняется над нею тонкий Васильчиков. — Мерси!.. Ах, на меня пахнуло от него... э-э... таким хо-ло-дом!

— Весь жар сердца мадмуазель Надин подарен одному, а остальным...

— Весь холод! — заканчивает за Трубецкого Васильчиков.

— Господа! В почту!.. — предлагает Нина Реброва.

— Нинет, — обращается к ней Лермонтов, — вам непременно хочется мне написать что-то?.. Скажите на ухо!

Он тянется к ней ухом, она что-то шепчет ему, он отскакивает:

— Ой, я оглушен! — и добавляет, заметив, что близко Эмилия: — Только не говорите этого же Мартынову: он слишком важен для подобных вещей!

В это время Пушкин говорит что-то смешное Нине Обыдёновой, и та неистово-звонко хохочет. Из комнаты, где играют, выставляется озабоченная голова ее матери:

— Ни-ноч-ка! — зовет она басом. — Тебе не жарко?

— Нет, мамá!

— То-то... Холодного смотри не пей!..

Она скрывается, а к Нине Обыдёновой подходит Лермонтов.

— Как вы изумительно смеетесь!.. Хотите, я вас буду смешить целый вечер?

— Смешить?.. А разве вы умеете?.. А зачем вам меня смешить?

— Господи, «зачем»!.. Да чтобы слушать целый вечер, как вы смеетесь!.. — объясняет Лермонтов. — Ведь это же гораздо лучше глебовской музыки!

Мартынов, нагибаясь к сидящему Глебову, что-то говорит ему тихо, и потом вслух:

— Попросим Лермонтова сесть к роялю: он музыкант отличный!

— А танцор плохой, хотел ты добавить?

— Я сказал, что хотел сказать.

— Не-мно-го!

— В почту, господа, в почту! — кричит Настя Реброва.

Лермонтов же говорит в это время что-то такое Нине Обыдёновой, отчего она звонко хохочет.

Поэт смотрит напряженно в комнату играющих в карты и говорит горестно:

— Нет, я не так удачлив, как Пушкин!

Однако тут же из двери показывается так же, как прежде, озабоченная голова Обыдёновой и, не сказав ничего, скрывается.

— Ха-ха-ха! — заливается поэт.

— Мишель!.. Какой у вас леший хохот! — затыкает уши Эмилия.

— Разве вы слышали лешего? Счастливица!.. Но поверьте, Эмилия, если б я хоть раз слышал, как хохочет Мартынов, я бы у него научился!.. Однако он до того доволен жизнью, что даже и не смеется!

— Итак, почта! — отходит от него Эмилия.

— Почта! Почта! — ретиво кричат обе Ребровы.

Аграфена встряхивает сумочку над головой:

— Вот почтовый ящик!.. Пишите, господа!.. Я — почтальон!..

Отберу сейчас письма!

— Но дайте же карандашей! — взывает Бенкендорф.

— И бумаги! — добавляет Нина Реброва.

— Все готово!.. Сейчас!

Аграфена убегает в ту комнату, где играют в карты, а Лермонтов говорит шутливо:

— Я могу начать! У меня есть с собою все, что нужно: карандаш, бумага и немного фантазии... Могу и вам дать, Нинет, — наклоняется он к Нине Обыдёновой.

— Фантазии? — спрашивает та.

— Бумаги, — отвечает он, и Нина хохочет.

— Как там мама, — спрашивает Эмилия вбежавшую с карандашами и бумагой Аграфену.

— Проигрывает, конечно, как любезная хозяйка... Князь Серж! Вы должны написать мне что-нибудь ошеломительное!

— Непременно! — отзывается Трубецкой.

Карандаши, бумага розданы. И среди наступившей тишины в гостиной, так как все пишут, раздается отчетливый голос Обыденова:

— Но ведь дама-то пик, матушка, ведь она все-таки старше ведь тройки?!

Лермонтов хохочет срыву, за ним Катя Быховец, за нею Пушкин и Нина Реброва, и громче всех, наконец, Нина Обыденова.

— Почтальон, готово! — кричит Лермонтов.

— Давайте! — подходит Аграфена. — Ого, сколько!

— Это за нас троих, — указывает поэт на Пушкина и Нину.

— Нет, моя вот! — подает записку Нина Обыденова.

— И вот моя, — говорит Пушкин.

— Это вы мне написали? — спрашивает Нина.

— Кому же, как не вам? — спрашивает Пушкин.

Аграфена обходит всех, отбирая записки, потом становится около канделябра.

— Silence! Читаю!.. «Эмили, вы великолепны»... Кто?.. «Эмили, вы прекрасны»... Почерк другой. Кто? «Держите его крепче, Надин!» Кто?

— Я знаю!.. Не нужно и спрашивать! — Надежда рвет записку, поданную ей Аграфеной, и смотрит на Лермонтова в упор.

— Дальше... «Нинет, вы смеетесь божественно!»... Две Нины, — неизвестно какой..

— А я написала не вам, не вам! Ха-ха-ха! — «божественно» смеется Нина Обыденова, глядя на Пушкина.

— Дальше... «О, если бы все почтальоны были так милы, их бы не кусали собаки!»... Князь Серж!..

— Алкивиад! — кричит Лермонтов. — И у собак в целости остались бы хвосты!

— Мерси, князь Серж!.. Дальше!.. «Почему «Роза Кавказа» цветет в лето четыре раза?»... Кто?.. Почерк женский... Кто, признавайтесь!.. На, Эмили!

Эмилия, принимая записку и глядя на Лермонтова, говорит насмешливо:

— Потому что она ремонтантная!

— Bravo, Эмили! — кричит Лермонтов.

— Дальше... «Мишель, я не забыла!»

— Почерк мужской? — осведомляется поэт.

— Мужской... Дальше... «Бен»... кендорфу, конечно... «Отчего вы не отпустите усы?»

Смеется Нина Обыденова, за нею сестры Ребровы.

— Непременно теперь отпущу, непременно, — клянется Бенкендорф, сплошь краснея.

— Дальше... «Надин, я — ваш верный паладин»!

— Это — Мартынов! — говорит Лермонтов.

— Нет, я этого не писал!

— Всем известно, что ты из'ясняешься только стихами!..

— Дальше...

Пред девицей Эмили
Все поклонники — в пыли,
У девицы у Надин
Был поклонник не один,
А у Груши целый век
Только дикий человек!»

— Мишель! Это вы!.. Признавайтесь!..

— Кто «дикий человек»? — спрашивает Нина Обыденова.

Пушкин что-то шепчет ей, и она хохочет. За нею хохочут почти все... Пушкин хлопает в ладоши.

— Дальше! — требует Эмилия.

— Дальше... Адрес «Э»... А что такое, не разберу... Ах! Рисунок!.. Невообразимый!.. Подписано: Монтаньяр!

Катя Быховец, Нина Обыденова и другие тянутся рассмотреть рисунок. Общий хохот.

Из другой комнаты входят игравшие в карты, и Верзилина, оглядывая всех тревожно, говорит устало:

— У вас так весело, а мы сделали перерыв... И всё почта!.. И всё бумажки!.. И ни одной конфеты нигде!.. Луша! Луша! — кричит она в столовую.—Обнеси же гостей конфетами!.. И рахат лукумом!.. Мы получили, — обращается она к Обыденову, — ящик рахат-лукума из Тегерана... Роскошь! От Алая-хана... Это, кажется, персидский министр или визирь...

— Алая-хан!.. Как же!.. — поиграл пальцами Обыденов. — Это хранитель гарема шаха... Лицо, по-тамошнему, о-очень больших полномочий!

— Вот он какой настоящий-то рахат-лукум бывает! — восклицает Обыденова, когда Душа обносит гостей рахатом и конфетами. — А то здесь тоже армяшки продают... такой рахат-лукум, что даже смотреть на него страшно!

— Да... Вот именно!.. — поддерживает жену Обыденов. — Даже и смотреть страшно, а не то, что есть!.. А где же наш сочинитель? — вспоминает он вдруг. — Вот он где... Ну, как ты им, Нина, довольна?

— О-чень!.. До того смешил!.. отзывается Нина, готовая и теперь прыснуть.

— Мы уже слыхали... А не вредно ли тебе это?—беспокоится мать.

— Не пойму я одного, майор, — обращается к Мартынову Обыденов, — каким образом это вы вдруг в отставке?.. Предполагаю, — добро-вольно?

— Да, добровольно,—наклоняет голову Мартынов.

— Чхм... та-ак... И сколько же вам лет всего? Не секрет?

— Двадцать пять.

— В двадцать пять лет—майор... хотя бы и в отставке... Чего же лучше... В тридцать лет можете полк получить... А там и бригаду... Так хорошо по службе пошел, — и на тебе! — в отставку вышел!.. А?.. Стыд!.. Таким молодцам выходить в отставку, а таким служить? — круто повернувшись, ткнул он рукой в сторону Лермонтова.

— И рада бы душа в рай, да грехи не пускают! — отчеканивает Лермонтов. — Похлопочите, чтоб выпустили в отставку, я буду рад!

— Ка-ак не пускают? — вздергивает брови Обыденов.—Значит... да... Раз-жа-лован?.. До выслуги?..

Тут он глядит на дочь и вдруг, почему-то смягчаясь, хлопает поэта по плечу.

— Ну, это, конечно, другое дело!.. Кто Богу не грешен, царю не виноват?.. В делах бывали?

— За поход в Малую Чечню представлен был к Владимиру с бантом, но в Петербурге отказали... Золотой шашки тоже не дали, — говорит Лермонтов.

— От-ка-зали?.. В награде?... А-а-а!.. Значит, его величество... Да-а... Значит, так!

— А как он свои стихи читает! — желая прекратить неприятный разговор, певуче вступает Верзилина.—Прочитайте что-нибудь новое, Мишель!

— Да-а... Что ж... А мы послушаем... — разрешает Обыденов, берёт рахат-лукум и жуёт.

— Но потом мы ведь еще за талию сядем?—беспокоится генеральша...

— Не-пре-менно!.. Мишель!.. Не заставляйте же себя просить о-чень долго!

И с разных сторон одна и та же просьба:

— Прочитайте!.. Прочитай, Мишель!.. Последнее!

— Хорошо... Я прочитаю... Только нужно всем так стать, чтобы...

— Приказывайте! — перебивает поэта Обыденов. — Приказывайте, поручик!.. И мы станем!.. А лучше сядем!..

Он сажает жену, дочь, садится сам, а около них располагаются остальные.

Лермонтов отходит в противоположную сторону гостиной, становится к стене, находит глазами Эмилию и, глядя только на нее, читает:

МОРСКАЯ ЦАРЕВНА.

В море царевич купает коня.

Слышит царевич: «Взгляни на меня!».

Фыркает конь и ушами прядет,

Брызжет и плещет и дале плывет.

Слышит царевич: «Я—царская дочь!».

«Хочешь провесть ты с царевною ночь?».

Вот показалась рука из воды,
Ловит за кольца шелковой узды...
Вышла младая потом голова,
В косу вплелась морская трава...
Синие очи любовью горят,
Брызги на шее, как жемчуг, дрожат...
Мыслит царевич: «Добро же, постой!».
За косу крепко схватил он рукой,
Держит! Рука боевая сильна...
Плачет и молит и бьется она.
К берегу витязь отважный плывет,
Выплыл, — товарищей громко зовет:
«Эй, вы! Сходитесь, лихие друзья!
«Гляньте, как бьется добыча моя!
«Что ж вы стоите смущенной толпой?
«Али красы не видали такой?».
Вот оглянулся царевич назад, —
Ахнул, — померк торжествующий взгляд...
Видит, лежит на песке золотом
Чудо морское с зеленым хвостом.
Хвост чешуею змеиной покрыт,
Весь замирая, свиваясь, дрожит.
Пена струями сбегает с чела,
Очи покрыла смертельная мгла.
Бледные руки хватают песок,
Шепчут уста непонятный упрек.
Едет царевич задумчиво прочь:
Будет он помнить про царскую дочь!

Верзилина, Зельмиц и вся молодежь, кроме Мартынова, восхищенно аплодируют.

— Браво, Мишель! — кричит Верзилина.

— Чудесно! Чу-дес-но! — восхищается Пушкин.

Подойдя к Лермонтову, говорит ему Эмилия:

— Вы на меня смотрели по старой привычке, Мишель, когда читали?

— Нет, по новой! — хмуро отвечает поэт.

— Я догадываюсь, кто морская царевна,—продолжает Эмилия.—
А кто же царевич?

Но поэт только широко смотрит, не отвечая.

— Да-а!.. встает Обыденов. — Прочитано, конечно, с известным чувством, как говорится... Но-о-о... признаться сказать...

— Но ведь это же совершенно неприличные стихи! — кончает за него генеральша и испуганными глазами глядит на поэта.

— Нет... неприличные, этого я бы, пожалуй, не сказал... — пытается высказаться Обыденов. — Они немножко вольные, да!.. — Тут он подымает жену. — Во французском духе... Но-о-о... — и, окончательно

сбившись, он говорит Верзилиной:— Значит, Марья Ивановна, дорогая, мы опять сейчас садимся за талию?.. А где же этот... наш... ротмистр?

— Я здесь!.. Иду!.. — отзывается Зельмиц.

— Конечно... Эти поэты... Они... — продолжает Обыденев.— Сочиняют там разные сказки для детей... иногда и для взрослых... Но государь, он зна-ал, разумеется, за что разжаловал... и за что награды не утвердил!..

Тут он захватывает под руку жену и движется с нею к двери, а за ними Верзилина с Зельмицем. От дверей, обернувшись, он говорит в гостиную:

— Но уж дверь теперь, господа, мы затворим по-крепче, дабы... А то у вас, молодежь, очень уж шумно. и даже мешает нам думать!..

И, пропустивши партнеров в комнату, где играли, он плотно захлопывает дверь.

— Если я морская царевна, то кто же царевич? Вы не ответили!—задает снова прежний вопрос Эмилия.—Уж не вы ли, а?.. Вы?

— Царевичи обыкновенно ходят с мечами, — быстро отвечает поэт, — или, на худой конец, с кинжалами.

— И в белых бешметах? Да?.. Да, они гораздо более похожи..

Раздраженная, она отходит, и подходит восторженная Нина Реброва.

— Напишите мне это в альбом!.. Мишель, напишите!

— И мне! — подхватывает Катя Быховец.

— И мне! — говорит Нина Обыденова.

— Это очень длинно!.. И зачем это вам? — досадует поэт.

— Но ведь это еще нигде не напечатано? Это новое,—спрашивает Аграфена.

— Предпоследнее.

— А какое последнее? — выпытывает Нина Реброва.

— Вчерашним я недоволен, — серьезно отвечает поэт.

— Князь Серж! Сыграйте что-нибудь! громко просит в другом конце гостиной Надежда.

— Князь Серж! Ну, для меня!.. Ах, вы так дивно играете!..—поддерживает Аграфена.

— Да ведь у вас нет нот!—пробует отказаться Трубецкой.

— Как нет?.. Как нет?—вскрикивает Надежда и Аграфена вместе и, доставши кипу нот, кладут их на рояль.

— Просим! Князь Серж!—раздается со всех сторон.

— Разве из Моцарта?—спрашивает больше себя, чем других, Трубецкой и играет ту самую сонату Моцарта, которую играла Лермонтову Эмилия.

Во время его игры Лермонтов, Пушкин, Катя Быховец, Нина Обыденова занимают дальний конец гостиной. Около Трубецкого стоят Мартынов и Надежда; остальные в середине. Из той группы, где Лермонтов, доносятся частые взрывы плохо сдерживаемого смеха, мешаю-

щего игре Трубецкого, который вдруг останавливается внезапно, и на весь зал раздается слово Лермонтова:

— Монтаньяр!

Мартынов, круто поворачиваясь, идет к Лермонтову и говорит негромко:

— Я не один раз просил вас, чтобы вы не делали меня смешным в обществе!

И, делая ему приглашающий знак головою, он проходит в столовую.

— Что? Дождались?.. — тихо говорит поэту Эмилия.

— Ничего, пустое, — громко отвечает ей поэт.

Мартынов, показываясь в дверях столовой, призывающе смотрит на Лермонтова, и Лермонтов медленно идет к нему.

Пятясь, уходит в глубь столовой Мартынов, и, когда входит туда же Лермонтов, Эмилия кричит:

— Танцы! Танцы!

— Танцы!.. Танцы! — кричат с разных сторон девицы, и нетанцующий Глебов снова садится за рояль.

Составляются пары, и, выходя рядом из столовой, к Кате Быховец направляется Лермонтов, к Надежде — Мартынов.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В саду между домом и флигелем в усадьбе Челяева утром на другой день за шахматным столом сидели Васильчиков и Глебов, а на крыльце дома Мартынов с казачком Ермошкой занимались осмотром седла, и Мартынов за что-то упрекал Ермошку, а у Ермошки было, по обыкновению, виновато-напуганное обвислогубое лицо и во всей фигуре явная готовность отскочить и удариться в бегство.

— Мой барон Ган грозит, что... э-э... через три дня мы с ним поедем по ревизии куда-то... мян... — говорит задумчиво Васильчиков. — Тогда дуэль надо назначить на завтра... Шах!..

— Совершенно бесполезный! — улыбается Глебов. — Хорошо, я закрылся... Завтра вечером тогда... часов в семь...

— В семь? Э-э... в семь вечера... А это не будет поздно?.. Стану сюда.

— Самое удобное время... Только надо сказать Лермонтову, а то он сейчас едет в Железные... К Голицыну... на завтрашние именины...

— Ах, как все это скверно случилось!.. Поехали бы все в Железные... Повертелись бы там недельку!.. Потом в Кисловодск... мян... скверно!.. Эта нелепая дуэль разбила все мои планы...

— Почему нелепая?.. Дуэль, как дуэль... Угрожаю ферзю.

— Э-э... это пустое... Нелепая, потому что... мне кажется...

— У Мартынова были все основания к вызову... и даже больше...

— Но, но, но-о... дорогой мой!.. Барьер от барьера только десять шагов?!

— Ушел сюда... Что здесь нового?

— И до трех раз стреляться!.. Уж... ння... прошу меня извинить!.

Пошел так.

— Однако же Лермонтов эти условия принял... Вопрос только о времени и месте.

— Лермонтов-то их принял, да-а... Однако... я заметил, как он... э-э... был удивлен... «Для меня ясно, говорит, что Мартынов решил меня уничтожить!»...

— А почему же не себя?.. Лермонтов пулю в пулю вгоняет... И как же не понять, что Мартынов рискует больше?.. Он раза в полтора выше... В кого же труднее попасть?

Прислушиваясь к разговору за столиком в саду, Мартынов отшвыривает седло и подходит к играющим.

— Разговор о трех выстрелах покончен, — срыву говорит он Васильчикову. — Это условие принято... Эти три выстрела я назначил сам и я имею на них право... Я Глебову говорил, он знает.

— Ход за мной... Право бесспорное, — подтверждает Глебов.

Мартынов теперь не в белом бешмете, а в сером; в нем он не так параден, зато гораздо более деловит. Он говорит глухо, но обдуманно:

— В защиту своей личной чести я сделаю первый выстрел... А второй и третий, если будет к тому надобность, Глебов знает, за что... и почему... У нас очень давние счеты... Когда?

— Решили завтра, в семь вечера, — отвечает Глебов. — А вот где?.. Нельзя ли на той полянке, где был пикник... Ну, вот, когда говорят, заснул Зельмиц!..

— Да!.. Зельмиц!.. Чу-дак! — улыбается Васильчиков. — Что же, там... э-э... ровная довольно площадка... А Столыпин ка-те-го-рически заявил, что едет в Шуру... на этой неделе.

— Он, говорят, покрупнее проигрался, чем мы думали, — замечает Глебов.

На что отзывается глухо Мартынов:

— В Шуре не отыграется... Значит, на той же самой площадке... завтра, в семь вечера... Кончено... Ермошка... Неси опять к шорнику! Пусть сейчас же переменит ремень!.. Горелый ремень поставил!..

Он оглядывается на флигель Лермонтова и спрашивает Васильчикова:

— Он верхом едет в Железные?

— Верхом, да... Но заезжает за своей черненькой кузиной: та с тетей в коляске... Кажется, и Дмитревские едут... И Бенкендорф... и Пушкин... должно быть, с Ниной Обыденовой... А?.. Каково? Эх... мя-я... Помирились бы вы, господа, право, а?.. Чепуха какая-то!.. И кат-ну-ли бы мы тогда все в Железные!..

— Ермошка!.. Что же ты, болван, стоишь с седлом? — кричит Мартынов.

— Запоматывал, барин!.. Ремней тут до крайности много, в седле... Какой вы изволили назвать, что будто он горелый?

— По-го-ди!.. Я тебя ткну носом, мерзавец!.. По-стой!..

И Мартынов широко и зло идет к крыльцу, а Ермошка, забросив седло на спину, опрометью бросается по ступенькам вниз и исчезает за деревьями.

— Постой, постой! — кричит ему вслед, уходя, Мартынов.

— Вот что я хотел бы... э-э... выяснить, — говорит Васильчиков Глебову, принимаясь снова за партию.—Первый выстрел за свою личную честь... это понятно... А второй и третий?.. Это не касается Эмили?

— Нет... это что-то семейное...

— А-а... Натали... сестра Мартынова?

— Не знаю...

— И потом... может быть, это несчастное письмо... э-э... где-то украденное?..

— Не знаю... Не уполномочен говорить... Шах королю!

— Шах?.. Не так серь-ез-но, мой друг!.. Не так серьезно... Что же? Совесть моя чиста!.. Я ведь предлагал Мишелью извиниться, но он... э-э... этого шага делать не хочет!.. То-есть не хочет первый шаг делать!

— А кто же должен делать этот шаг? Мартынов?.. Эту пешку я предпочитаю взять.

— Для чего она и поставлена, мой друг!.. Потому что я теперь делаю... э-э... вот что!

— А-ах! Безбожный зевок!.. Значит, офицер убит!.. Это все потому, что разговоры всякие за игрою!

— Хуже будет, если завтра... э-э... настоящий офицер будет убит! Я—секундант Мишеля и должен защищать его интересы... Мартынов—превосходный стрелок.

— А Мишель плохой?

— И Мартынов, он... чересчур раздражен, чересчур!.. А, может быть, он охладает до завтра?.. Как? Нет надежды?

— Шах королю!

— Охладает и... Защищен... И тогда мы их... Нельзя обнажать королеву!.. помирим...

— Обнажать королеву смеет только король!.. Правда... Тогда я сделаю вот что...

— Король и... паж!.. И любимый паж, нужно добавить...

— Мартынов не охладает и ни за что не захочет мириться...

— Это скверно!.. А вдруг... Мишель... в результате... будет убит?

— Признаюсь, не понимаю, почему столько разговоров о Мишеле. То—«надо одернуть, зарвался», — а когда одернули,—«надо помирить, а то кабы не убили»... Да кто же такой Лермонтов в конце-то концов? — Поручик армейского полка и внук своей бабушки!

— Поэт все-таки!.. Нельзя так!.. По-эт!

— Великая важность!.. Посредственный байронист!.. Это было известно еще в школе прапорщиков!..

— А если... большой поэт?.. Белинский, по крайней мере, назвал чут не гением!..

— Бе-лин-ский!.. Какой-то там семинарист!.. И, конечно, тоже за пятьсот рублей ассигнациями!.. А если ты гений на самом деле, тогда иди к гениям!.. К гениям, а не к нам!.. А если ты с нами, не гениями, тогда веди себя так, как мы этого требуем. И все!.. Весь разговор.. Или мы тебя вы-у-чим, как надо себя вести!.. Этот ход я беру назад, а то теряю пешку!..

— Хорошо сказать: к гениям!.. А где же их взять... э-э... гениев?!..

Тут Мартынов, появившись около своего крыльца, кричит в сторону играющих:

— Глебов!.. На минуточку!..

— Сейчас!.. Ну, так пока и оставим... мой ход!..

И он идет, опираясь на палку, а в это время из флигеля, с противоположной стороны сада показывается Лермонтов. Он — в летней шинели, под которой китель и рейтузы. На голове белая фуражка. На ходу он надевает узкую замшевую перчатку на левую руку.

Васильчиков поспешно встает и направляется ему навстречу.

— Мишель!

— Ну, что?.. Договорились?.. Мне надо знать, когда, чтобы не опоздать приехать, — говорит Лермонтов.

— Договорились... В семь вечера.

— Ка-ак?.. Сегодня?.. Я не успею!

— Нет, завтра, завтра!.. Завтра в семь!

— Это — другое дело!.. Тогда я не попадаю только на очень скучный обед... Ну, до свиданья!

— Ми-шель!.. Но неужели же нельзя как-нибудь... э-э... предотвратить?.. Ведь достаточно двух каких-нибудь слов извинения!..

— Сыну ли председателя комитета министров бояться быть секундantom?.. Это никак не отразится на твоей карьере, уверяю!

— Я не о себе!.. Я отлично знаю, что государь... э-э... Разве я отказываюсь?

— Будем смотреть на вещи трезво и просто, — говорит Лермонтов, тщательно застегивая перчатку. — Допустим, я извинился перед Мартыновым, а их тут кругом десятки!.. Уеду от здешних куданибудь к чорту на рога — в Шуру, а там их сотни! Да и не все ли равно?.. Была уж дуэль с бараном Барантом, — пусть будет с монтаньяром мартышкой... Это в порядке вещей... Вон, у Дорохова было пятнадцать дуэлей, — и ничего, жив... Это — в порядке вещей... А место?

— По дороге в колонийку Каррас... налево площадка...

— Не представляю...

— Где был пикник... вот, когда Зельмиц...

— Ах, вот где!.. Место приятных воспоминаний!.. Сейчас я буду проезжать мимо, — присмотрюсь... И до трех раз?

— В этом пункте Мартынов упорен!.. Он говорит... э-э... будто имеет на это право... на три выстрела!

— Конечно... Даже на тридцать три!.. Но я не буду ему отвечать!

— Ми-шель!.. Как же не отвечать?.. Но ведь он же стрелок, Мишель!.. И он раздражен ужасно!

— Подумай только: велика ли честь подстрелить Мартынова? Знай: я не подойду к барьеру, дам ему первый выстрел, и потом выстрелю в воздух!

— А если... если он не промахнется, Мишель?

— Тогда...

Лермонтов усмехается, хлопает его по плечу и говорит отчетливо и бодро:

— Не бойся!.. Тогда защитит тебя твой отец... и это не отразится на твоей карьере!.. До свиданья!

Он жмет ему руку и уходит своей несколько несвободной, чуть заметно прихрамывающей походкой, а Васильчиков, ошеломленный, смотрит ему вслед.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В маленькой немецкой колонии Каррас, в нескольких верстах от Пятигорска, в те времена можно было остановиться, напиться у той или иной хозяйственной немки кофе, отдохнуть от езды верхом или в очень малоудобных тогдашних экипажах. Так, дорогой из Железных вод, с именин князя Владимира Голицына, 15 июля вечером, в шестом часу, остановились здесь Лермонтов и Катя Быховец, а на другом дворе, отделенном крепким плетнем, Пушкин, Бенкендорф и Нина Обыденова.

Лермонтову и Кате не было видно трех последних, но Левушка Пушкин то-и-дело смешил чем-то Нину, и от взрывов их смеха все морщился болезненно поэт, и затыкала себе уши Катя.

— Оглушительны!.. Чрезвычайно! — говорит поэт. — Особенно эта круглая, в папашу (да и в мамашу), дура!.. Я рад, что нам удалось хоть уединиться... Сейчас это мне положительно необходимо. Как вы думаете, Катишь, я не похож на человека, который должен умереть через час?

— Ми-шель! Он все острит! — улыбается черноглазая Катя.

— Вы так напоминаете мне Вареньку Лопухину, моя милая чернавка, как-будто это она со мною!.. Прелестная Катишь!.. Вы иногда очень смешно говорите по-русски, но я в вас и за это влюблен! Жить мне осталось недолго... Никто не представляет даже, до чего я непрочно устроен!.. Голова у меня решительно перевешивает!

— Неправда, Мишель!.. Вы даже очень... как это говорят?.. Корневасты...

И сама смеется смешному слову Катя.

— Коренаст, вы хотели сказать?.. Пейте же кофе, Катишь... Вот смотрю на вас, и мне хочется вспомнить всех, всех, кого я любил когда-то... Здесь же, в Пятигорске, когда я еще мальчиком был лет десяти, какая здесь удивительная девочка была!.. Как я ее любил

тогда!.. Глаза голубые, волосы светлые... Только я уж не помню, как ее звали, и чья она была такая, тоже забыл.

И Катя еще смотрит на него удивленно, к чему это он вспоминает какую-то девочку с голубыми глазами, а он снимает вдруг с пальца перстень и говорит тихо:

— Вот этот перстень, милая Катишь, передайте его Сушковой, вашей тезке... То-есть она уж не Сушкова теперь, а Хвостова... но все девические фамилии нравятся мне гораздо больше...

Катя берет перстень и, так как она немного близорука, ближе, чем надо бы, подносит его к своим красивым глазам.

— Это ее вам сувенир, Мишель? — спрашивает она с любопытством.

— Нет, это от меня ей на память... Это — мой перстень... И передайте ей, что я вспоминал ее с большою тоской... С гораздо большей тоской, чем когда я был у нее на свадьбе...

— Мишель!.. Я слышала... Вы там... повернули соль, да? Правда?

— Перевернул все солонки... да... и везде по полу рассыпал соль... Правда, Катишь... Но ведь помните, мне ведь тогда было так тоскливо!.. Рассыпать соль, говорят, к ссоре... Я посыпал везде солью и кричал: «Это, чтобы молодые ссорились каждый день, каждый день, каждый день!..» Я ее очень любил когда-то, а потом очень ей досаждал... На вашей свадьбе я уже не буду рассыпать соли, Катишь!

— О!.. О!.. На моей свадьбе...

И, не зная, как отнестись к этой шутке Мишеля, Катишь грозит ему смуглым пальцем.

А из-за плетня новый взрыв хохота, и, морщась и потирая выпуклый висок, говорит поэт:

— Как они!.. Я даже и не думал, что они станут мне до такой степени противны!

— Это вы знаете, отчего? Сказать?.. Оттого это вам так, что вы в Железных очень мало спали! — догадывается Катя.

— Я совсем не спал, но это не оттого.

— И еще я знаю: оттого, что душная погода!

— На одной станции почтовой мне пришлось целый день ждать лошадей... — продолжает о своем поэт. — Там была девушка, простая, самовар подавала... звали Стешей... Как мне она нравилась весь этот день!

— Мишель!—возмущается уже Катя. — Это так скучно даже, когда напоминает мужчина все свои романы!.. Он тогда... стал... совсем старик!

— Как хорошо вы сказали, Катишь!.. Он и стал старик, — подхватывает поэт.

— Неправда, Мишель!.. Вы такой насмешник!.. Так всех нас смешил у князя Голицына!

— Это я только хотел казаться веселым, но веселым я не был! Я там никого не обидел, Катишь?.. Допивайте же свой кофе, моя

чернавочка, и немного пройдемся... Впрочем, мне все равно теперь, если и обидел!

— Я кончила... Как мы пройдемся?

Она встает, и золотой обруч, поддерживающий ее сложную прическу, падает с ее головы, а Лермонтов подхватывает его и прячет поспешно в карман.

— Ах!.. Моп bandeau!.. Я его потеряла! — вскрикивает Катя.

Она оглядывается кругом и, видя, что кузен серьезен, догадывается, что у него бандо. Она грозит ему пальцем:

— Мишель!.. Да-вай-те!

— Катишь! Моя прекрасная чернавка!.. Оставьте это у меня! — просит поэт.

— Зачем? — удивляется она.

— На счастье!

— Мишель, Мишель!.. Это ведь только для волос... Какое он может иметь счастье?

— Игроцкое, Катишь!.. У игроков свое счастье: везет, не везет... А почему, неизвестно... У игроков свои талисманы.

Толстая немка хозяйка, видя, что гости встали из-за столика, выходит на крыльцо своего дома, и, оглядываясь на нее, вполголоса говорит Катя:

— Не шалите, Мишель! Отдайте... Как я могу не иметь бандо?

— И без этого обруча у вас миленькая головка, Катишь, вы не верите?

— Ах, Мишель, как это неловко!.. Куда же мы гуляем?.. Пойдемте!

Итти в этом маленьком дворике некуда, — только к плетню, за которым шумная компания с Ниной Обыденовой. Вот оттуда увидели их и кричат:

— К нам!.. К нам идите!

— Вы нам надо-ели! — кричит им Лермонтов.

Дружный хохот раздается ему в ответ.

— Кажется, они и это приняли за милую шутку! Странно! — удивляется Лермонтов. — А вот наши лошади... Они ждут неумолимо. А потом повезут кого-нибудь из нас в очень грустное место...

— В какое грустное?

— Например, в Шуру...

— А зачем вы улыбаетесь?.. Вот поедете в эту противную Шуру, и там вас... чеченец какой-нибудь...

И Катя подносит платок к глазам.

— Горько? Да? — быстро спрашивает Лермонтов. — С третьего выстрела?.. А вы, Катишь, поплачете по мне хоть немного?

— Оставьте об этом!.. Что вы!..

И Катя вытирает слезы платком.

— У вас добрая душа, Катишь!.. Клянусь вам, что ради вас проживу еще сорок лет и буду наблюдать, как Вареньки выходят

замуж за Бахметьевых, а Катеньки за Хвостовых, как какой-нибудь Максим Максимыч дослужился — ого! — до генерала, а какой-нибудь новый поэт — имя рек — сослан к чорту на рога за вольнодумство... Но ведь вот вам и вся жизнь!.. Есть ли о чем плакать, Катишь? И, если потерять ее, поверьте, не так уж жалко!.. Посмотрите на свои часики, Катишь, нам не пора ли ехать?

— Без четверти шесть... А еще надо переодеться на бал!.. Посмотрим, чем вздумал удивить Пятигорск Голицын по случаю своих именин!

— Балаган уже кончали, когда я уезжал вчера... Катишь!.. Неужели вы будете танцевать сегодня?

— Не-пре-менно!

— Несмотря ни на что?

— Какой вы странный, Мишель! Ко-неч-но!

Лермонтов грустно смотрит на нее, потом направляется к немке.

— Bitte frau, сколько я вам должен за кофе?

Он платит деньги, в то время, как Катя перед зеркальцем, вынутым из ридикюля, поправляет прическу, а из соседнего двора идут к ним Пушкин, Бенкендорф и Нина.

— Катишь, милочка! Он, — указывает на Пушкина Нина, — нас все время смешил!.. Та-ак было ве-се-ло!.. Так я жалела, что не было вас!.. А отчего у вас красные глаза?.. Вы плакали?

— Откуда вы, Нинет, взяли красные глаза? — смущается Катя и еще раз смотрится в зеркальце. — Ниоткуда нет красных глаз!.. Просто, душно!

— А может быть, и у меня красные?.. Уж я хо-хо-та-ла! До слез!

И она тянется к зеркальцу Кати, но ее успокаивает Бенкендорф:

— Вы — блондинка, а у блондинок, я заметил, даже от слез глаза мало краснеют.

— Что?.. Ехать?.. Пора, пора! — подходит поэт и обращается к Пушкину с укором. — Знайте, Левушка, что в первый раз со времени нашего знакомства вы мне страшно надоели сегодня.

— Чем? — озадаченно смотрит на него Пушкин.

— Да, должно быть, тем, что я... не видал вас...

— Ха-ха-ха, чудак!

— Но-о... слышал!.. И хорошо слышал!..

— Не нужно было уединяться!.. Поверьте, там хватило бы кофе и на вас: немки народ запасливый...

Поэт смотрит на него пристально и говорит Кате:

— Вот так люди всегда понимают друг друга! Стоит ли после этого говорить? Может быть, вы доживете, Катишь, до того времени, когда лишними станут все слова... И что же будут делать тогда бедные поэты?.. Едем, друзья мои!.. Вы удивились, Нинет, почему у нее заплаканные глаза? Это я искренно влюбленно целовал ее сейчас, а она плакала почему-то... А вы тоже плачете, когда вас целуют?.. Или так же оглушительно смеетесь, как всегда?

И он быстро целует ее в щеку. Она вскрикивает.

— Мишель! — негодует Катя.

— Что, моя милая чернавка?.. Ну, едем, едем!. Пора!

Он стремительно идет к лошадям, за ним, недоуменно переглядываясь, идут остальные.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

И снова та же самая полянка у подошвы Машука, на которой не так давно играла в горелки молодежь, ссорилась с поэтом Эмилия и спал Зельмиц.

Зашло уже за горы солнце, а с востока вздымается туча, но еще светло, только душно и томительно, как бывает только перед грозой.

Мартынов в серой черкеске и серой папахе и кн. Трубецкой, только-то приехав и привязав в сторонке за кустами, ближе к дороге, верховых лошадей, осматриваются кругом, и Трубецкой говорит лениво:

— Кто же это так глупо выбрал место?

— Почему глупо? — отзывается Мартынов.

— Дорога!.. Кто-нибудь будет ехать!..

— А кто же теперь на ночь будет ехать?.. Пара волов с сеном?.. Да завтра и не базарный день.

— И время выбрано глупо!.. Того и гляди дождь хлынет!..

— Этого уж не могли предвидеть... Хотя... Туча, может быть, и свалит...

Трубецкой смотрит по направлению к Пятигорску и говорит оживленнее:

— Ну, вот и Лермонтов с князь Ксандром!.. А он, посмотри, недурно сидит на лошади, этот рябчик!.. Пожалуй, даже лучше Мишеля...

— А за ними дрожки с Глебовым... Ну, вот, Ермошка; кстати, присмотрит за лошадьми.

— Ты ему внушил, Ермошке, чтобы не болтал лишнего?.. Ведь он, дурак, где угодно ляпнет!

— Лишнее... Незачем дураку и внушать!

— Сюда! Сюда! — кричит на дорогу Трубецкой. — А что у Мишеля в руке? Пистолеты? — спрашивает он у Мартынова.

— Нет, пистолеты у Глебова. — Не знаешь, зачем он красную рубаху надел?.. По-зер!

— А лицо бледное... Но все-таки в последний раз, Мартынов, пока мы только вдвоем, ты серьезно думаешь стреляться?

— Да что же я, опять на пикник сюда что-ли приехал?

— Видишь ли, я не хотел тебе говорить раньше, но князь Ксандр передавал, что Лермонтов хочет выстрелить в воздух... как на дуэли с Барантом...

— А ты был на его дуэли с Барантом?.. Почему ты знаешь?

— Столыпин говорил: он был секундантом.

— Сто-лы-пин скажет!.. Наконец, мне нет до этого дела. Он—как хочет, а я... Промахнуться, конечно, могу, но стрелять в воздух намеренья не имею!. Я здесь не для комедий!

— По ту сторону дороги!.. По ту сторону привяжите! — кричит Трубецкой в сторону Васильчикова и Лермонтова. Там же и дрожки пусть станут!.. Послушай, последний раз: а если извинится Мишель?

Не отвечая Трубецкому и приглядываясь к тому, что держит в руках Лермонтов, говорит Мартынов:

— Это у него какой-то пакет...

— Обыкновенный фунтик, представь!.. — разглядывает Трубецкой.—Уж не конфеты ли?

— От него и этого можно дожидаться!

И к Васильчикову, идущему несколько впереди Лермонтова, обращается Трубецкой:

— А врач?.. Нет врача?.. Неужели нельзя было добиться кого-нибудь?

— Э-э... Врач! — машет рукой Васильчиков. — Это такие трусы! Я ведь у двоих был... Привезите, говорят, на дом к нам, — тут мы сделаем перевязку... Отказать в этом мы даже и права не имеем... ння... Но, чтобы сюда е-хать!

— Никто и не будет ранен, успокойся! — весело говорит Лермонтов, подходя.— Вишен, Серж, не хочет?—и он протягивает Трубецкому фунтик.

— Э-э... не советую, — морщится Васильчиков. — Кислые, как...

— Лицо тридцатилетней девы, ты хочешь сказать? — заканчивает за него поэт. — А мне нравятся: должно быть у меня сахарная болезнь! — Он оглядывает небо и добавляет: — Я говорил Монго, чтобы захватил кожан, но он не взял... А дождь непременно будет. Под'езжают тем временем дрожки.

— Ну, вот и Глебов! — говорит Мартынов Васильчикову. — Тебе придется отмеривать шаги... Будем спешить, пока нет дождя.

— Шаги?.. Почему мне это?.. Вот сейчас Глебов: он это лучше знает, — отворачивается Васильчиков, но Мартынов говорит глухо и веско:

— Глебову трудно ходить, ты знаешь?

Столыпин и Глебов подходят, оставивши за дорогой дрожки. Глебов опирается на палку. В другой руке у него ящик с пистолетами.

— Монго! — встречает Столыпина Лермонтов. — Вот видишь, ты не хотел брать кожан!.. Ты промокнешь, как устрица!

— Думай, пожалуйста, о себе! — недовольно отзывается Столыпин. — На мне-то хоть шинель, а вот ты отличился — в рубахе!

— Я уж решил заранее промокнуть... До костей!

— Не будем, господа, терять времени: вот-вот дождь!—говорит деловито и даже строго, пожалуй, Глебов, открывая свой ящик. — Берите, господа, пистолеты!

Мартынов подходит, берет пистолет и отходит с ним в сторону. Лермонтов не двигается с места, — ест вишни.

— Александр Ларионыч! Передайте поручику Лермонтову его пистолет! — строго обращается к Васильчикову Глебов.

Васильчиков пожимает плечами, глядит нерешительно на поэта, наконец, подходит, берет пистолет и подносит Лермонтову:

— Вот, Мишель.

— Обязанность секунданта посмотреть, заряжено ли оружие! — говорит ему насмешливо поэт и смотрит в дуло пистолета.

— Мы заряжали их вместе, — сухо отзывается на это Глебов. — Александр Ларионыч! Теперь меряйте шаги отсюда!

И он кладет на землю свой ящик.

— Я отмечаю шаги! — говорит Столыпин. — Но, может быть, раньше, чем шаги мерять, секунданты попробуют помирить дуэлянтов?

— Отсчитывайте шаги, князь Ксандр! — жестко говорит Мартынов.

— Няня... господа! — возвышает голос Васильчиков. — Я вам предлагаю протянуть друг другу руки... э-э... помириться... и быть друзьями, как раньше!

— Потеря времени! — говорит Мартынов отчетливо. — Не мириться я сюда приехал, а... драться!. Пусть считают шаги!

— Пустяки. господа!.. Какие пустяки! — удивленно говорит Трубецкой. — Бросьте это, что вы!.. И поедем ужинать!

— Присутствующие вмешиваться в дело не должны! — сухо говорит Глебов.

— Кто «присутствующие»? Мы — вторые секунданты, а не «присутствующие»! — бледнеет Столыпин. — Не понимаю, что у тебя за тон такой!

— Шагай, Монго!.. Второй раз выпадает тебе эта печальная обязанность.

Лермонтов пытается лихо улыбнуться, говоря это, но не выходит улыбка. Тогда он, быстро и легко нагибаясь, подымает с земли за своей спиной бутылку без горлышка и добавляет:

— Вот тебе осколок нашего пикника на первый барьер!

Столыпин берет бутылку, но, глядя на Мартынова, говорит:

— Еще раз предлагаю: подайте друг другу руки!

— Считайте шаги! — отвечает Мартынов, отходя.

— Начинайте же, чтобы до дождя кончить! — тоном приказа говорит Глебов.

Лицо у него сухое. Скулы обтянуты. Глаза презрительны. Столыпин смотрит на поэта, который ему поручен бабушкой, не скажет ли нужного слова он, но поэт говорит, явно весело улыбаясь:

— Шагай же, Монго!

И, удивленно вздернув красивую голову, срывается с места Столыпин и, стараясь делать самые большие шаги, какие позволяют ему длинные ноги, считает громко:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять!

Остановясь тут, он ставит бутылку, говорит: «Барьер!», и продолжает мерять дальше. На двадцатом шагу он вынимает из кармана платок, бросает его на куст шиповника и снова кричит: «Барьер!» и опять считает вслух до тридцатого шага. Тут он только проводит на земле черту каблуком ботфорта.

— Господа дуэлянты!.. — командует Глебов. — Прошу... занять... места!

— Остаюсь здесь! — говорит поэт, становясь возле ящика.

Мартынов идет строевым шагом к тому месту, где стоит Столыпин. Трубецкой берет под руку ошеломленно глядящего Васильчикова и отходит с ним в сторону. За ними идет Глебов, делая знаки Столыпину сделать то же, но тот еще не теряет надежды.

— Гос-спода! — кричит он. — В последний раз предлагаю вам помириться! Ми-шель!..

Проходит несколько томительных моментов.

— Схо-ди-тесь! — командует Глебов.

Мартынов тем же размеренным шагом подходит к барьеру и целится. Лермонтов стоит на месте, боком к Мартынову, прикрыв этот бок рукою с поднятым, но направленным вверх пистолетом. В левой руке его фунтик с вишнями. Он явно улыбается, глядя на Мартынова.

Падает несколько крупных капель дождя.

— Стреляйте же! — кричит Трубецкой. — Нельзя целиться так долго!

— Нельзя говорить под руку! — оборачивается к нему, как распорядитель поединка, Глебов.

Мартынов подбирает далеко отставленную ногу, подымает локоть правой руки и продолжает целиться.

— Стреляйте, или мы вас разведем! — кричит, теряя терпение, Столыпин.

Мартынов спускает курок. Лермонтов взбрасывает руку с пистолетом и падает навзничь, как подкошенный. К нему бегут все.

— Наповал!.. В сердце!.. Навылет!.. — бормочет Глебов.

— Ка-ак наповал? — вскрикивает Трубецкой.

— Быть не может! — шепчет Васильчиков. — Быть не может! — повторяет он громче.

— А-ах, Боже мой! — закрывает лицо руками Столыпин.

Отбрасывая пистолет в сторону, бросается на колени перед телом поэта Мартынов с криком:

— Миша!.. Ми-ша!.. Ми-и-иша! Прости меня!

Молния и страшный удар грома. Вдруг все бегут от тела в ужасе. Хлещет дождь... Быстро темнеет... В стороне тонко, визгливо ржет чья-то лошадь.

Май—июнь 1925 г.

Крым, Алушта.

К о н н а я

А. ЧАЧИКОВ

Гей, Мустафа!
Я — старый конник.
К чему поводья, стремяна?
Великолепнее погони
Не выдумает и весна.
 Не мне уздечкой лошадь мучать,
 Сестру родную в тяжкий час.
 Мне в гриву бы вцепиться лучше,
 В желанный вороной алмаз.
И, головою занесенной
Взмахнув, лететь во весь опор, —
Чтоб даже тополь изумленный
Ко мне склонил зеленый взор.
 И вот я слышу: шепчут листья:
 — Поэт-джигит наш, погоди!
 Куда летишь? Остановись ты:
 Дороги много впереди.
Тебя клинок звенящей стали
Порадует еще не раз.
Рука ль твоя рубить устала,
Не меток, может, черный глаз?
 Тебе пока — лоза да глина:
 Советская страна — гранит.
 Кавалеристов ряд предлинный
 Червонным полымем бежит.
Вот он летит стальной стенкой,
Приветней цоканье копыт.
Краском кидает:
— Левый шенкель! —
И музыкой приказ звучит.

К а л о ш и

Рассказ

АЛЕКСЕЙ ПЛАТОНОВ

Махновцы влетели в город свадебным поездом на обоянках— махновских тачанках, прославленных на весь мир славою не-завидной. В медвяную первоначальную осень удалые тройки взметнулись в главную улицу, пестро унизанные лентами и бубенцами. В руках свадьбы стучали, гремели и заливались тарелки, бубны, гармоники и балалайки.

Батько Махно и жинка его Галина «пировали» в поезде молодо-женами. Батько — в тонкой, ехидной улыбке, сосредоточенный, зоркий. Острилось в кожаной тужурке опущенное плечо. Наполеоновски круто поджал подбородок к горлу.

Галина — отрада солдатских сердец, — не роняя достоинства, пела, гикала, хохотала, и на площади, едва кони копытами лязгнули о булыжники, первая крикнула — лечь к пулеметам.

Песни, гармоники, балалайки мгновенно сменились лаем залпов, стрекотом пулеметов, широкими взрывами бомб. Под нагайками вспенилась кровь пленных деникинцев. Запахло пороховым чадом, конским и человеческим потом, кровью.

Батько на площади, не покидая тачанки, ставил суд и управу над врасплах захваченным городом. Тут же, под окнами наспех разгромленного белого штаба, «кralи», т.-е. пульей кончали с теми, на которых батько указывал небрежным движением руки.

Другим из набитого туго мешка батько густо сыпал керенки, деникинские «колокольчики», николаевки. Потом батько с Галиной и свитой скрылись в одном из домов на площади, предоставив городу самому заботиться о дальнейшем.

На площади долго еще незадачливо гомонила толпа.

— Он, батько-то, завтра угромыкает и — ноль! — жуя бороду, конспиративно бубнил степенный торгаш в поддевке. — А с нас какой-нибудь Шкуро сдерет последнюю шкуру...

— Тринадцатый раз начальство меняем. Как только головы держутся? — вторил интеллигентно знакомый ему портной.

— И не держутся. Чихнет начальство — головы с плеч.

— Летучее наше время, скользкая власть.

В ночь, которую спать бы бойцам без просыпа после лихого налета под маскарадом, два махновца сочувственно волокли под руки китайца, освобожденного при разгроме тюрьмы.

Китаец был невысок и щеделушен. Лицо, скуластое, цветом в желклое мыло, и узловатые, точно бамбуки, руки и пальцы дрожали от холода и, быть может, от страха.

В тюрьму его засадил месяц назад комендант еще большевистского города — Мытро Куркай. Город, отбитый у белых штурмом Железного батальона, приведенного из-под Саратова колонистом Гордоном, назначил Куркай, подпольщика, комендантом. Куркай был ранее председателем ревкома и город свой знал наизусть.

Был Куркай большевик до ногтей, облавы делал по городу часто, и в облаве накрыл Ван-Цин-Ю в каморке, увешанной веерами, цветами, драконами из тонкой, пестрой, кричащей бумаги. Среди этой индустрии в голой комнате, в уголку на веревочном коврикe Ю сосал в самозабвении благословенную трубку, мудрость далекой чайной страны — длинную, тонкую, с черной наперсточной чашечкой на конце. Ю сидел неподвижно, втянув шею в ключицы, сощурив щёлки раскосых глаз, давно лишенных ресниц. Быть может, он в час этот грезил о знойной бамбуковой деревеньке, где на узком плоту ленивой Желтой реки под тенью огромного тростникового паруса его родные едят длинными палочками рис и скользких червей.

Из трубки тонким угрем вился синий дымок и растекался узорно по логову одуряющей пряностью запрещенного курева. Он заглушал собою острый запах нежили, сырости, напоминающий о пауках, мышином помете, мокрицах.

Товарищ Куркай вскипел, увидев такое мелкобуржуазное благодушие:

— Революция, Ленин в Кремле, белогвардейцы под городом! Да что же это... Что ни на есть в чистом виде микроб религии курит. Да не будь я Куркай!

Ю не понял. Склабя улыбку, обнажая гнилые, похожие на зажаренные кукурузинки зубы, совал конец трубки в рот негодующему Куркаю:

— Покури. Очень шанго. Шанхай курила, шанго голова!

— Я тебе покурю. Я из тебя это курево выкурю! — вразумительно поднес Куркай к ноздрям китайца кулак. — Обыскать его! — приказал он армейцам Железного.

— Он, товарищ Куркай, иностранец. Китайский он человек, — прочел документ Ван-Ю армеец.

— Чхать во всемирном масштабе, что иностранец. У нас революция мировая. У нас на это мандат... мной подписан.

Разворошили коробочки, постель нескладную, угол, заваленный веерами, цветами, чертятами. Микроба религии ни зернышка не обнаружили. Не нашли и кое-чего поострее, умно запрятанного Ван-Ю. Только случайно китаец не был расстрелян. Две недели Ван-Ю сидел

без допроса, а после о нем забыли. Гордон опечаленно увел свою часть назад, в силу общего отступления фронта. На правом дальнем фланге деникинец Мамонтов прорвал фронт, сломав красную линию.

Деникинский комендант, щеголеватый поручик Яхонтов, бывалый охранник, лично камеры, не торопясь, обошел. Он добрался было до Ю, да срочно вызвали в штаб. Пришлось ему на три дня выехать по делу о большевистском подполье. Вернулся Яхонтов радостным необычайно. Кроме отчёта о двух десятках расстрелянных, привез известие, за которое не пожалел бы полжизни:

— Головка заговорщиков в городе. Берусь их сам ликвидировать. Поручите мне розыск! — доложил он командованию, взволнованно ожидая решения.

Штаб охотно ему поручил. У поручика радость удвоилась. В руках его были верные данные, что мозг заговора заключен в хорошенькой головке жены Мытро Куркая, Аглае Ткаченко. Как же было не радоваться! Такое не каждый раз случается в жизни.

«Теперь не вырвется! — сладостно замирало жаждущее любви сердце поручика. — Давно ее не видал, с большевиками связалась, красотка. Запоет соловьем, пожалуй!»

Была Аглая поручику давней обидой жизни. Гордячка, она глупо так ему, Яхонтову, предпочла Куркая, не офицера, большевика, дубовую шкуру. Но он, изящный и образованный, на кого заглядывались все городские «тигрицы», любит и жаждет подругу детства Аглаю попржежнему. Теперь она не уйдет от его неутоленной любви или... петли.

— Одна политика — что латыш, что китаец! — поставил Яхонтов замысловатое яблочко на списке против фамилии Ю, едва добрался вновь до тюрьмы.

Ю в тюрьме еще более пожелтел. Раскосые впадины глаз ввалились. Голова его явственно напоминала, что под тонкой обтянутой кожей кроется человеческий страшный череп. Его повели в застенок между тюремной стеной и каменным высоченным забором. Еще издали он услышал глухие, точно из бочки, kloкочущие в застенке выстрелы, — смертельные многоточия залпов. Рядом, в предсмертной тоске, на привязи у походной кухни, метался черный в географических желтых разводах бык. Его глаза, казалось, перевернутся в орбитах, ноздри дрожали и ширились от едкого запаха дымящейся человеческой крови.

Ю бежать не пытался. Он одеревянело стоял в ожидании очереди, точно длинный корявый мешок, набитый сырым песком. Только щёлки глаз еще более сузились, пальцы судорожно закалились. Если бы ему в этот момент разрешили сесть на корточки, как сидят в покинутой им стране, он стал бы похожим на изображение Будды.

Тогда с гиком и свистом на взмыленных конях во двор ворвались махновцы. Они были веселы, были летуче легки от упоения легкой победой.

Белые растерялись от неожиданности. Сопротивляться никто не мог думать. Они полегли под копытами лошадей, под вязкими водяными взмахами сабель, под нагайками со свинцом на концах. Остальные, кому посчастливилось, сдались в полон. Неохотно брали в плен «беляков» махновцы.

Тромба и Щусь — добрые души, водой не разлей дружки — взяли Ю под опеку. Они увели обалделого Ю из тюрьмы вместе с быком, которому все же суждено было попасть на ужин, но теперь в другие желудки. После добротной, не лишенной самогонных излишеств шамовки, оба с доброй души поволокли одеть и обуть китайца. Тромба, невиданно, крест на крест обмотанный бесконечной пулеметной лентой, одобрительно гыкал, показывая ослепительно белые зубы, точно нечем было ему еще похвалиться:

— Ты, Лей-Пей-Чай, занапрасно боишься. Ни в жисть не тронем, и никто за нами не тронет. В два счета обуем и обмануфактурим тебя. Наскрость Россию с нами пройдешь, слободу устави́м. В Китай за тобой попрем, косы будем резать буржуям.

Втроем, неспеша, без стука, вломились в приземистый одноэтажный дом Ткаченко — учителя, отца Аглаи Куркай. Старик из-за дочери большевички, жены большевистского коменданта, в революцию стал болезненно боязлив. С каждой сменой властей неустанно готовился к смертному часу. Старик взмолился, отступая мешкотно в угол под огромные образа закоптелых святителей, угодников и преподобных:

— Нет у меня ничего. Обобрали до нитки. В милость, прошу, войдите... Беднее церковной крысы остался...

На ногах Ю после недолгих стараний добродушного Тромбы, заблестели новенькие калоши. Щусь, негодуя, охаживал старика, домыто шмыгая коротким облупленным носом, храбро гарцуящим на обветренном, точно ременном, лице.

— Ты ж мэнэ! Покажу тебе як ховаться! — кричал он, грозя Ткаченко, а зараз и его угодникам. — Кытаец раздет, разут. Аж душа измэрзла на него бачиты...

Дальнейшие поиски не привели ни к чему. Только напрасно разворотили комод и сундуки старика. Ю видел, как старик, утирая серые от обиды глаза, прощался с калошами. Он точно еще обильнее поседел и осунулся, горестно в последний раз глядя на них. У китайца были свои убеждения и мораль. Он снял калоши и, улыбаясь, протянул их Ткаченко. Щусь прищурил карий свой глаз. Щусь не мог вынести эдакой провокации:

— Положь! — крикнул Щусь педагогу. — Нэ бачишь, вин дуже боится, от страху вин душу выймит, витдаст...

Бан-Цин-Ю покорно вновь влез в калоши с боязливой улыбкой. Он так посмотрел на учителя, точно сказать собирался: «Ничего, я вернусь, отдам калоши. Жди меня, я вернусь».

Выждав четверть часа после ухода махновцев, учитель пл / запер наружную дверь, озираясь, поплелся к дочери. Его губы с /

но шамкали о бесправии, о грабежах, о том, что лучше бы ему умереть от смутной эдакой жизни.

— Обиду, дочка, принес тебе. Окорнали меня, — жаловался он Аглае. — Простужусь непременно теперь без калош, слягу. Кто за мной ухаживать будет? Умру я, дочка, один, без пригляда.

Аглая — цветущая, крепкая не в отца, зорким взглядом напоминающая Галину, жинку Махно — взволнованно отмахнулась.

— Не до того мне, отец. Калоши твои, извини меня, — пустяки. А китайца, не скрою, мне тоже жалко. Конспирации не соблюдаешь. Никуда не годится это...

— Какая же, дочка, мне конспирация. Или я тебе не отец? Да я в любую секунду к тебе могу. Может, в последний раз видимся.

Она, недовольная, перебила снисходительно, с легкой гримасой презрения к его стариковской ворчле:

— Придется мне с двумя—тремя молодцами перейти к тебе на квартиру. А ты останешься здесь. Непременно квартиру надо сменить. А теперь, отец, уходи, до свидания...

Щусь и Тромба к вечеру приволокли Ван-Ю в разгар чадной гулянки к Махно. Батько отчаянно скучал за столом, уставленным самогоном и нивесть откуда добытыми винами. Зал был похож на окоп, только-что атакованный удушливым газом.

Сквозь дым курева едва чернели смоляные взбитые волосы батько. Перед ним кривлялись фигляры, щедро и скучно одаряемые пачками керенок и шоколадом.

В дальнем углу, звеня никчемными для тачаночных наездников шпорами, дожевывая огурцы, пели под ливенку «Яблочко», в такт махновскому гимну отбивая дюжими сапогами:

— Пришли гайдамачки,
тай с Петлюрою —

Позабигалы мурашки
по за шкурою!..

Эх-эх!

— Мой муж арбуз

А я его дыня —

Он меня

Крыл вчера,

А я его ныне!..

Хо-хо!..

Махно принял Ван-Цин-Ю, как дипломатического представителя, как своего давнего знаконца. Оживился в надежде позабавиться. Первым долгом заставил его показать, сколько китаец самогону способен выпить. Ю побурел от страха, увидя огромный ковш горячего хмеля.

— Пей, интернационал, — сказал батько тонкими, кривящимися губами.

Он заставил ошалелого Ю плясать. Китаец, дергаясь от страха всей кожей лица, подняв указательные пальцы к носу, прыгал на цыпочках, приседая и снова, точно ужаленный, вскакивая.

— Гоп-гоп! Ха-ха-ха... — неистово восторгался Галка, закадычный наперсник Махно. О нем тайком говорили, что нагайка его скручена из человеческих кишок. — Гей, хозяин, постели-ка постель молодым! Жених будет желтого.

Китайца с тощей курносой девкой — доброволкой, себя не помнящей от опьянения — втолкнули в темную конуру. Он долго бился всеми костями в крепкую запертую дверь и было слышно, как та слезливо гундосила.

— Дурной, и что артачишься! Мордovorотом тебе не вышла? Ничего, что морда овечья, рвотный ты порошок!

Махновцы утром покинули город так же внезапно, как неожиданно вметнулись в него накануне. Никто не знал, куда отправился батько и вернется ли после. В город снова вступили белые. Вновь тюрьма залязгала челюстями дверей, заскрипела затворами. И вновь рывком кидал вылощенный поручик Яхонтов:

— Разменять!

— Засадить!

— Отпустить!

Дня через два осведомители, обнюхав город, а главное, учителей дом, доложили поручику:

— По всем данным, Ткаченко скрывалась тут, на этой квартире. А путей, куда скрылась, нет! Просто убило нас, до чего она хитрая...

Яхонтов хмурился, сламывая мундштук папиросы. Мерил комнату длинными, точно ищущими что-то шагами. Приказывал, ничего не найдя:

— Продолжить розыск. С махновцами не ушла ли. Первому, кто о ней скажет что-нибудь утешительное,—отпуск на три недели и тыщу деньгами.

В ночь в ставень резного окна дома Ткаченко раздались тихие стуки. Только час перед тем проскользнувшая в дом Аглая, — после обыска именно тут было всего надежнее, — осторожно глянула сквозь сердечко ставня во тьму.

Зоркий глаз после мучительного напряжения различил китайца с чернеющей странной ношей в руках. Делать нечего. Он определенно мог обратить на себя подозрение, лучше покончить разом!... Накинув на плечи широкий клетчатый плед—единственную о матери память,— с браунингом в руке вышла к калитке. Разговор с китайцем был короток. Пришел калоши вернуть.

— Так, — облегченно вздохнула Аглая, вспомнив о разговоре с отцом. — Калоши принес. Хорошо, передам калоши.

Но калош китаец ей не доверил, не знал ее. Растерянно соображала, что предпринять. Не вести же его к отцу. Она ожидала сюда товарища по подполью.

— Эка ты! — раздосадованно рванулась плечом жена Куркая. — Тогда сам отнеси ему...

Она дала ему адрес, вернулась в дом. Не зажигая огня, принялась ожидать в темноте, в нетерпении.

Ван-Цин-Ю успел отойти от дома Ткаченко не больше пяти кварталов, бережно зубря название улицы, номер дома и фамилию «господина Тыхаченко калош». Внезапно перед ним, властно преграждая путь, выросла плотно тень. Зоркий взгляд Ю разглядел в ней того, кто недавно в тюрьме обрек его на верный расстрел. Он вспомнил пегого, мятущегося в смертельной тоске у кухни быка. Но бежать было поздно. Ю стоял в полосе света из окна соседнего дома. Яхонтов, теребя перчатку, не сводил взора с пленника. Потом, внезапно приняв решение, брезгливо наклонился к нему:

— Достань, ходя, опиум, я хорошо заплачу,—не узнав Ю, торопко предложил офицер. — Достань мне опиум с трубкой. Принесешь на Проломную, дом... Это что за калоши, — перебил себя Яхонтов, — покажи...

— Нелься калыоши, — пряча их за спину, умоляюще залепетал Ю.

— Так, а куда ты несешь их?—любопытствовал мягко поручик.

— Тыхаченхо, нилься, — защищался китаец, приподнимаясь на цыпочках и отступая.

— А ну, повтори, кому? — приказал строго Яхонтов.

— Ты-ха-чен-хо калыоши, нилься...

— А откуда? Кто направил тебя к Ткаченко?

Ю с трудом объяснил.

— Так. Одна говоришь? — обрадованно оживился поручик.

— Отна ходила, не снай... «Только калоши бы не отобрал», — соображал испуганно Ю. — Отна, красивый!

— Так. Теперь пойдём-ка отсюда, — коротко приказал Яхонтов, расстегивая кобур. — Пшел вперед, да не думай бежать. Предупреждаю...

Ю покорился. Яхонтов приволок его в штаб. Там, вызвав ординарца, подробно распорядился шопотом, дружественно потрепав по плечу. И добавил, потирая от удовольствия руки в перчатках лайковых:

— Деньги вот. Уплати. Где-нибудь разменяешь. Я буду дома.

Лопатенко, почти незаметно прихрамывая, шел за китайцем, раздувая ноздри, точно почуяв порох. Он был высок и плечист, с колючей рыжей щетиной на подбородке, с папачой пегой на голове. Шли в темноте. Осеннее небо было тяжелым и пасмурным. Оно сплывало на плечи обоим отвратительно мелким дождем. Ю, не видя Лопатенко, чувствовал за спиной легкую его хромоту. Ему стало не по себе. Захотелось, чтобы Лопатенко заговорил. И Ю тонёхонько рассмеялся, трогая кончик носа трясущимся, точно бамбуковым, пальцем.

— Молчи! — глухо рубнул ординарец. — У меня два брата было в большевиках. Обоих сам этой весной разменял.

— Ай-яй-яй. Пылохо так. Большевик не видал. Цветами я торговала,—слезливо ответил Ю.

— Молчи! — повторил Лопатенко глухо. — Что китаец, что большевик — одна пуля. От вас народ желтухой болеет.

На старой своей квартире, в каморке, разворошенной Куркаем, Ван-Ю быстро нашел запрятанную под половицей коробочку черного дерева. «Я тебе удружу, дам тебе опиум», — думал с ненавистью он о поручике. Ординарец, к счастью Ю, в соседней комнате воочию убеждался в добротности полногрудой хозяйки квартиры. Между ним и хозяйкой завязался срочно солдатский легкий роман — словесный.

Ю торопился, готовя поручику верную смесь из опиума и другого коричневого порошка, к которому сам он старался не прикоснуться. И улыбался злорадно.

Он объяснил ординарцу, что трубки нет и «нада пила с вода!» Тот еще раз перемигнулся с хозяйкой. Улучил момент ущипнуть добротную под лопатку.

— Приходи! — сказала она жеманно. — Чайком побалую, идол. И полбутылки поставлю. Жизнью вспомним, забавник.

— Идем со мной, — буркнул ординарец, тронув плечо улыбающегося Ван-Ю. Ну, живо!

Китаец недоуменно поднял глаза на Лопатенко. Грозный взгляд ординарца заставил его смириться. Тогда Ю надел калоши и вышел первым из дома. Хозяйка видела, как трудно он выходил. Гочно с каждым шагом отрывал трясущиеся ноги от пола. Не напрасно ли позвала она «идола»?..

Домой вернулся Лопатенко мрачный. В руке его деньги были копейка в копейку: не глядя на Яхонтова, положил деньги на стол.

— Не разменял, — доложил он хрипло поручику. — Целиком получите.

— А опиум? — заволновался поручик. — Где опиум? Не достал?

— Тут. Только менять было некогда, так я по срочности интернационал разменял. От них народ желтухой болеет...

Яхонтов вздрогнул, но ничего не ответил. Он размышлял об Аглае. Арестовать ее, или вперед увидеть ее одному. Арест вырвет Аглаю из рук поручика, обязательно вырвет. Не лучше ли, прежде чем ей повиснуть в петле... Да, он пойдет к Аглае один. Он сумеет ее убедить, напомним ей далекое невозвратное детство, дружбу первой поры созревания, когда они были вместе...

— Так трубки нет, говоришь? — спросил он вновь ординарца, оглядывая себя в зеркало. — Ладно, дай мне воды.

Он привычно принял внутрь изрядную дозу. Ушел довольный собой, приказав ординарцу не отлучаться.

...Отец Аглаи сидел один в покинутом дочерью доме, куда направила Аглая китайца с калошами. Когда учитель услышал настойчивые стуки в калитку, ему показалось, что за окнами стонут.

«Не дочь ли!» — кинулся он отпирать. — Аглая! Лапушка!..

Вместо дочери на земле у калитки ползала тень мужчины. Ткаченко не сразу узнал Ван-Цин-Ю. Китаец стонал. Он был в крови и грязи, был не в силах подняться.

— Кальоси принес! — расслышал с трудом учитель ломанные, с китайским акцентом слова. — Возьми...

— Да глупый ты человек, — помог учитель подняться Ван-Ю. — Как тебя угораздило? Стоило ли из-за галош? Кто направил тебя ко мне?..

Ю, как смог, подробно рассказал ему обо всем. Учитель зубами залязгал от страха, затормошился, запричитал, усаживая китайца на скамью у стола:

— Дочь моя, дочь! Они убьют ее. Они ее арестуют. Да как ты бежал от махновцев? Белого постового убил? Ой-ой-ой... И надо было тебе из-за калош возвращаться! Человека из-за калош убить, самому рисковать...

Ткаченко перевязал рану — большую, черную от спекшейся крови. Уложил китайца на груди хламья на полу, у изголовья поставил кружку с водой, кусок хлеба, мятый с луком картофель...

Через час, извещенные им, один за другим, к дому Аглаи подошли четыре подпольщика, рабочие маслобойки, недовольные, что их беспокоят в такую позднюю, сырую такую ночь. Им хотелось поскорее покончить с делом и разойтись по домам.

— Отца ее подождем. Он еще одного приведет, — сказал последний товарищам. — Черт ее знает, что там такое...

— Кого ждать? У всех оружие есть! — отозвался нетерпеливо другой. — Стучи условленный знак. Не эскадрон же там с артиллерией, не засада...

Дверь открыл их товарищ, молодой еще бородач, грузчик Катушка:

— Хорошо, что пришли. Трое могут домой, а одному за подводой. Да сена чтобы наметать на подводу побольше. Поручика увозить будем.

— Толком, Катушка, рассказывай, зачем полошили ночью?

— Завтра, ребятки, живей уходите отсюда. Не вышло бы хуже от скопища. Кто подводу достанет?..

Вслед, едва успели с Яхонтовым разделаться, явился Ткаченко. Его впустили. Успокоившись, он рассказал о китайце. Аглая невесело улыбнулась, выслушав его до конца:

— Так вот он что. Значит не только опиум. Не того ли китайца мой муж за опиум к праотцам собирался отправить. Ведь вот оно, все революции в пользу, даже никчемность такая...

Она рассказала отцу, как два часа назад сюда явился поручик:

— Помнишь, который за мной ухаживал, смазливый, Яхонтов по фамилии? Жениться на мне хотел. Ты отца его знал. Скорняка. Свой дом на Проломной улице...

Старик узнал, что теперь Яхонтова полумертвого свезли на подводе — свалить на каком-нибудь пустыре, подальше от дома.

— Сначала стал набиваться с чувством, — рассказывала Аглая. — С детства любил, говорит. Не выдам, если согласна... Потом гляжу с любовником что-то не ладно. Помутнел глазами, а сам побелел, закорчил. «Что с вами, — спрашиваю, — поручик?» Сначала не верила, думала офицерский прием: вот, мол, как страдаю, мучаюсь... Смотрю,

поручик, вместо об'ятий, попросил указать расположение комнат: в уборную провести. Оттуда выполз белее покойника. А тут Катушка явился на помощь. Все умолял его не губить.

— Ко мне придется вам пойти ночевать. — отозвался баском безразличным Катушка.—Совсем квартиру эту оставить. Опасно туточко...

— Аглаинька, правда, пойдй к нему. А мне китайца провести надо,—вспомнил Ткаченко.— А что, Катушка, если поручик опра-вится?— вдруг спохватился он, побледнев, и его взяла оторопь.

— Будьте покойны! — сплюнул смачно, погладив усы, бородач.— На всякий случай легонько за горлышко попрдержать наказал. Положение наше требует...

Потушив огонь, вышли по одному. Дорогой с Куркаем советова-лась:

— Послать бы надо кого понадежней к Гордону. Непременно надо связаться с Железным нашим, как думаешь?

— Самой тебе выехать для безопасности. Сквозь белый фронт проведем, а в красном не заплутаешься. Надежнее и не придумать.

Ткаченко шел, семена торопливо по грязи. Был рад, что дело закончилось только потрясениями. Могло быть хуже. В радости не заме-чал, что ноги промокли, что грязь была невылазная. А заметив, улыб-нулся себе:

«Что же это я не надел калоши? За что китаец страдал? В сенях остались без пользы»...

Дома зажег коптилку, фитиль веревочный в сале. На полу в разворошенном тряпье, заломив подбородок кверху, скрючив руки, лежал бездыханно Ван-Цин-Ю. Он был похож на огромного пса, пришитого к земле пулей.

Его лоб говорил о мудрости предков, остекляненный взгляд — о несравненном покое, которого не может дать даже всесильный чад опиума, а оскаленный рот насмешливо улыбался едва уловимой улыб-кой мертвеца.

...Время было летучим, и власть была скользкой. Еще в ночь над городом загрохотали взрывы гранат. Утром в город, в силу общего отступления белых из-за прорыва фронта первой конармией, вошел отдельный Железный батальон колониста Гордона.

Вечером бойцы хоронили жертвы последнего боя. Из одиннадцати погребаемых по чести первым был Ю. Он вызывал всеобщее любо-пытство.

Над гробом китайца, увитым красным полотнищем, боевые ораторы говорили о солидарности международного пролетариата, о геройском китайце, имени которого никто не знал.

Ораторы повторяли это один за другим, а в стороне командир батальона Гордон давал едва уловимым жестом знак ружейного траур-ного салюта. Он сам распоряжался салютом, ибо патроны надо было беречь.

На жарком пляже

МИХ. ГЕРАСИМОВ

Солнце золотые крошки
Сыплет на морской песок,
Волны — голубые кошки,
Мурлыча, ласться у ног.
 Орлами, чайками играют
 Пылающие небеса,
 Зеленой пеною стекают
 Со скал прибрежные леса.
Душистым, ласковым, счастливым
Цветеньем каждый куст одет,
И к сердцу радостным приливом
Горячий подступает свет.
 Детей и птиц веселый улей,
 Морских и ручейковых вод,
 Вот пальмы лапы протянули
 В обнаженный хоровод.
Над маревыми песками
Играющая даль цвела,
Золотыми лепестками —
Купающиеся тела,
 Как-будто бы цветок огромный,
 Рассыпанный на берегу.
 И пьют глаза над розой темной
 Прибоя музыкальный гул.
Живым сияньем все об'ята,
И чтобы не было тоски,
Просмоленные канаты
Накручивают рыбаки.
 Цветут драцены и алоэ,
 Вон парус опустил крыло,
 Наполненный камбалою
 Баркас вздыхает тяжело.
Налить лучами тело хочет,
Обдуваемое ветерком,
Мускулистый чернорабочий
И отдыхающий нарком.
 И люди, пьяные без водки,
 Дельфинами скользят в волну.
 Как опрокинутая лодка
 Нырнуло солнце в глубину.
И ветер теплыми руками,
Любовной лаской обнял всех,
И долго, долго светлячками
Вспыхивал девичий смех.

С п и ч к а

АЛЕКСАНДР МИНИХ

I

Нет, не магний, не молния — просто
Спичкой чиркнувшая рука...
И пахучая папироса
Упоительна и крепка.

Разорвалась, отпрянула темень,
Но уже возвращается вспять;
Так и я, оторвавшись, к теме
Возвращаюсь, мой друг, опять.

Вот пока этот сумрак штопал
Белой ниткой дымный клубок, —
С горьким криком обиды о пол
Хрустнул спичечный коробок.

Он желтеет от злобы едкой...
Наклонись, чутка и нежна:
Слышишь, в жалкой, копеечной
клетке

Буря гордая заключена.

Как на знамени у японца,
За биплановой черной спиной
Там лежит линялое солнце
На коробке берестяной.

II

Как отряд, мой рассказ веду я
В обойденный солнцем простор,
Где огромная стужа дует
Сквозь огромный и гулкий бор.

Там на страшные расстоянья
Только ель, да сосна, да вдруг
Вскинет северное сиянье
В синих пальцах Полярный круг.

Там рассказ мой найдет основу,
Там, где труд и тяжел, и высок,
Где по стройным стволам сосновым
Льется черный, пахучий сок.

Хвои, поднятые веками
Прямо в звездные жемчуга,
Будит утренними шагами
Человеческая нога.

Вот сосну человек невзрачный
Гладит иглами хищных глаз.
(Так, наверное, новобрачной
Муж касается в первый раз).

Вот подходит, кичась властью,
И пила (о мужская власть!)
Вся рыча от голодной страсти,
В тело дрогнувшее впила.

Серный дым, как на адской кухне.
Под луной в миллиард свечей
Не ослабнет и не потухнет
Лихорадочный дух печей.

Как на карте червонной масти,
Сердцем алым в печи огонь...
Сыплет фосфор сутулый мастер
На обугленную ладонь.

А другой, молодой и хитрый,
Длинным вооружась совком,
Ярость взрывчатую селитры
Умеряет речным песком.

С этой жгучей скрестясь начинкой,
Из купели своей огневой
Выйдет спичечная лучинка
С умной черною головой.

III

В окна льется цветочный вихорь.
Что ты скажешь, мой друг, в ответ.
Вот на кончиках пальцев тихо
Входит в комнату к нам рассвет.

Рассказал я про флаг японцев,
Про селитру, и труд, и зной,
И восходит лимонное солнце
На коробке берестяной.

Ты, лукавые очи щуря,
Наклоняешься над ковром
И в руке твоей сонная буря,
Дрессированный нами гром.

Я же в противовес привычке,
Зажигая трубку мою,
В этой тихой белянке-спичке
Диво дивное узнаю.

Больные места „спецства“

М. БРАЗ

1. В стороне от большой дороги „мировой цивилизации“

В связи с шахтинским заговором буржуазная печать израсходовала немало таланта, блеска и остроумия, чтобы показать, как далеко от большой дороги «мировой цивилизации» копошится советское «правосознание». Цивилизованные перья международной прессы более или менее грациозно прошлись на счет нового «большевистского трюка», социальные корни которого они не преминули найти в специфических свойствах нашей культуры, а сия последняя, как известно, ассоциируется в понятиях этих утонченных людей с некоторыми представлениями о «Гонолулу» и «Сандвичевых островах». Все это было изображено не без элегантности, под которой, однако, не удалось скрыть бешеного раздражения пойманного с поличным клубного шулера или фальшивомонетчика из хорошего общества. Волноваться и раздражаться было из-за чего: срывалась длительная, кропотливая и сложная работа интервенционистского характера, срывалась как-будто неплохо задуманная и терпеливо проводившаяся подготовка к новому звериному прыжку. Сдержанная «Deutsche Allgemeine Zeitung» не без ехидства писала: «Процесс должен будет показать, действительно ли существовал заговор, или этот заговор является только фантазией прокурора». Увы, процесс показал, что заговор был не фантазией прокурора, а плодом фантазии международной буржуазии, вздумавшей разрушить работу миллионов трудящихся руками нескольких кучек подкупленных негодяев. Эти негодяи уж, конечно, стояли на большой дороге «мировой цивилизации», ибо ведь на этой большой дороге стоят и хозяева и подкарауливают запоздавших прохожих. Процесс лишний раз показал, что это за дорога и к каким культурным высотам она ведет.

Так или иначе, но на советской работе, на ответственных постах оказалась кучка крупных специалистов, состоявших одновременно на службе у зарубежных капиталистов и связанных между собой единой целью подорвать хозяйственную мощь советского государства, подорвать его обороноспособность и добиться, таким образом реставрации капиталистического господства. В задачи этой организации входило: сохранение для бывших и «будущих» хозяев недр и ценных месторождений, борьба против увеличения добычи угля, борьба за сдачу предприятий в концессию, подготовка полного срыва капитального строительства, подготовка к дезорганизации нашего тыла в случае военного нападения и, как конец, который венчает дело, полной ликвидации советского режима. Для выполнения этих задач вредители затопляли шахты, задерживали пуск новых шахт»

всеми средствами задерживали и расстраивали капитальное строительство, ухудшали качество угля, варварски эксплуатировали машины, в частности врубовые, добились того, что двое рабочих на врубовой машине выработывали меньше одного рабочего, работавшего вручную, выписывали из-за границы ненужные машины, выписывали их в ненужном количестве, отправляли их в те места, где они были ненужны, культивировали утонченнейшими способами волокиту. с выработкой, рассмотрением и утверждением планов, проектов и смет, умышленно долго их пересматривали, корректировали, дополняли, сокращали, согласовывали сугубо «добросовестно», их вновь обсуждали и вновь корректировали, — словом всячески содействовали тому, чтобы эти планы и проекты максимально долгое время оставались бумажками и не перевоплощались в реальное строительство, всячески удорожали это строительство, противодействовали снижению себестоимости продукции, противодействовали социалистической рационализации и т. д. и т. п. Как видим, вредители строго следовали директивам партии и правительства с той лишь особенностью, что работали не по этим директивам, а применительно к ним, — применительно к ним они строили свою дезорганизаторскую деятельность.

Экономическое вредительство не стояло особняком от диверсий и чисто политического характера. Эти последние были освещены в закрытом заседании суда. О закрытом заседании мы можем говорить лишь постольку, поскольку оказалось возможным приподнять над ним завесу в специальном сообщении ТАСС'а. По этому сообщению, подсудимый Матов подтвердил «передачу некоторым заграничным учреждениям, польским и французским, ряда сведений не только экономического, но и политического характера, о подготовке и возможных действиях организации на случай интервенции», а подсудимый Скорутто сообщил суду «некоторые подробности о том, как осуществлялись связи с польским объединением с'езда горнопромышленников, а затем и с французскими промышленниками, и назвал два учреждения, через которые связь с этими организациями осуществлялась до начала 1927 г.».

Таковы в самом общем виде об'ем и характер вредительских действий, которыми руководили на территории СССР крупнейшие инженерно-технические работники. Верхушка организации поднималась довольно высоко по служебной иерархии и соприкасалась не только с каменноугольным вредительским сектором, но и с вредительскими секторами, свившими свои гнезда и в других отраслях промышленности.

Члены организации занимались своим иудиным делом не бескорыстно: предательство неплохо оплачивалось зарубежными хозяевами. Это, очевидно, очень хорошо укладывается в буржуазные понятия о высокой культуре, но у нас, на глазах миллионов «варваров», носители «мировой цивилизации» выступали не с высоко поднятой годовою. Ибо защищать у нас горделиво и патетически эксплуататорские идеи было бы величайшим цинизмом, на который до сих пор никто пока еще не осмелился. В стране, где командуют массы, борющиеся за действительно высокие цели, освобождение человечества от эксплуатации большинства меньшинством, сознание мерзости эксплуататорских тенденций является господствующим, — и те, кто борется за права эксплуататоров, по нашим нравам, суть люди отверженные, презренные. Это разъедающее волю презрение и испытывали они — эти политические заговорщики. И они понимали, и все окружающие понимали, что хозяйские интересы можно защищать только за то или иное количество серебрянников. Без серебрянников где взять для такого дела пафос, внутреннюю нравственную силу, когда впереди в лучшем случае рисуется лишняя сотня в месяц, т.-е. еще одна лошадь, еще одна по-

стель, еще один кутеж, еще дюжина устриц и дюжина шампанского? При таком идеале с кем через голову суда могли говорить эти уличенные в грязных делишках одиночки? И потому-то всем пойманым на контрреволюционных махинациях остается у нас либо каяться и клясться: «больше не буду», либо отпираться от обвинений, которые прежде всего позорны. Такова судьба у нас всех контрреволюционных политических преступников, ибо такова уж наша «варварская» цивилизация, сверкающая действительно в стороне от большой дороги «мировой цивилизации» хищников.

2. В Троянском коне

В Троянском коне доверия и всяческой поддержки, которыми советская общественность окружила специалистов, классовый враг в'ехал на самый решающий участок социалистической стройки и эту стройку попытался превратить в пункт взрыва всего социалистического строительства. Попытка не удалась: бурный рост социалистического хозяйства, избравшего правильные результаты уже оправданные пути, смял усилия одиночек, пытавшихся в подземельи удержать слабыми руками мощное движение вперед сплоченного единой революционной целеустремленностью многомиллионного класса. Заговорщики выловлены, обезврежены, дьявольская затея международных хищников разоблачена, пролетариат еще раз лицом к лицу встретился со своим непримиримым классовым врагом. Гнойник вырезан, будут вырезаны и другие гнойники, которые уже обнаружены или еще будут обнаружены. Но все же факт остается фактом: не всюду и не всегда в надежных руках находится техническое проведение социалистической реконструкции. Шахтинское дело, будучи исключительным по глубине и размаху задуманного предательства, было не единственным, которое внушило рабочему классу необходимость «здорового недоверия» к специалистам, поставило перед ним во всей широте «спецовские» проблемы. Шахтинскому процессу предшествовала средне-азиатская водхозная панама. Там, быть может, не было субъективных контрреволюционных замыслов и поползновений, там расхищали народное достояние по примитивнейшей заповеди: «в карман норови», но от этого нисколько не меняется объективная контрреволюционная природа преступлений, которые на далекой песчаной окраине, ждавшей от советского строительства воду, дали дехканину, тамошнему крестьянину, за большое количество миллионов все тот же песок. Там, например, прорыли Керкинский канал. Работы проводились без планов, без смет, без установленных кредитов, без какой бы то ни было возможности даже установить в конце-концов, во что обошлось сооружение. Но зато открыли канал торжественно, по-советски, т.-е. с использованием события в целях агитационных, пропагандистских, просветительных. На головном сооружении повесили очень выразительный плакат: «Вода дехканину, хлопок — городу, мануфактура — всем». Через три недели, когда еще в ушах звучали торжественные речи, произнесенные при открытии канала, первый же напор паводка разрушил сооружение, унес куда-то в пески и миллионы рублей, и агитационный плакат, и агитационные заверения. Над безводным участком реют сейчас тугие думы дехканина, — такие думы, за которые, как за продукт злейшей контрреволюционной агитации, и не придумаешь достойного наказания для хищников и для головоотяпов, хищниками одураченных...

Там же по проекту крупнейших специалистов Ризенкампа и Сыромятникова, построили Тетжанскую плотину. Ухлопали в нее 862 тыс. руб. Когда работу закончили, посыпались телеграфные поздравления по случаю «завершения громадной государственной работы на важнейшей командной высоте водного хозяйства»... «И вот, — меланхолически повествует таш-

кентская «Правда Востока», — третий год стоит плотина на сухом месте. Кругом, вместо воды, чистый песок. Для питья рабочих тут же, у плотины, стоит кадучка с водой. Ни одной десятины прироста новых земель плотина, конечно, не дала».

Узбекводхоз израсходовал на инженерное строительство до 4,5 млн. Реальный эффект этого строительства — 1.740 гектаров орошенной земли. Но это еще ничего, ибо Туркменистан за 8 млн. руб. получил всего-на-всего... двадцать десятин реального прироста земель нового орошения. Эти двадцать десятин обошлись в 11 тыс. руб. А остальные 7.989 тыс. руб.? Застряли где-то в проектах, в планах, в изменениях, ну и, конечно, в чьих-то карманах.

Атреский канал обошелся в 160 тыс. руб. Зампредседателя СНК ТССР и председатель исполкома Кизилатрекского района очень красочно рассказывали на суде о том, как за этот канал «население клянет водхозцев».

Население клянет водхозцев — это после того, как были ухлопаны миллионы рублей, чтобы дать населению воду. Сколько же усилий, денег и творчества понадобится теперь, чтобы заставить население не клясть, а почувствовать все блага советского строительства!

А денег было в общем истрачено, как выяснилось на суде, 68 млн. руб. И это только из средств госбюджета. Из этой суммы на полезную эксплуатацию деятиельность, на эффективное новое строительство и ремонтные работы, включая сюда и расходы по земельной реформе, ушло около 9 млн. руб. А остальные 59 млн.? А остальные составили издержки слепого доверия и некритического отношения к специалистам, издержки недалекости, скажем мягко, и непроницательности хозяйственников

В то время как каналы и плотины, возводившиеся по проектам и усилиями столь преданных делу инженеров, исчезали в песках чуть ли не на второй день после церемонии по их открытию, местные хозяйственники позволяли себе роскошь строительных мечтаний не иначе, как в мировом масштабе. Таким мечтанием был Кара-кумский канал. Проф. Ризенкампф произвел необходимые (ему и его соратникам) изыскания и составил проект канала длиной в 1.300 верст и шириной в 200 саж. Инж. Моргуnenков составил проект орошения Кара-Кумов. По мысли Моргуnenкова, система Кара-Кумских каналов должна была связать Туркмению с бассейном Каспийского моря, с Волгой, а в будущем, с проведением Маньчжунского канала, с Азовским морем и «внешним миром». И Моргуnenков и Туркменводхоз, — как отмечало обвинительное заключение, — «уже видели в будущем корабли из Англии и Франции, плавающие в Кара-Кумах». Кара-Кумский канал, по проекту Моргуnenкова, потребовал бы на свое сооружение, примерно, три миллиарда шестьсот миллионов рублей. В Панамском канале за 35 лет было вынута 14 млн. куб. саж. земли, проф. Ризенкампф составил проект, который потребовал бы земляных работ на 400 млн. куб. саж.

И вот такие проекты разрабатывались, обсуждались, кружили слабые местные головы, а прожекторы пока-что набивали себе карманы. Обошлась эта явно шарлатанская затея, по сведениям самого Моргуnenкова, в 1.189.346 рублей. В эту сумму не входят отдельные договоры на десятки тысяч рублей и стоимость заготовленных материалов на 665 тыс. руб. Только и всего... Конечно, никакого канала нет и не было, была лишь скамья подсудимых и мучительные переживания одуроченных людей.

Мы взяли из комплекса средне-азиатских проделок только несколько примеров и не ручаемся — самых ли выразительных. Но и их достаточно, чтобы еще раз подчеркнуть, что не всюду и не всегда в надежных руках находится социалистическое строительство. Апрельский объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) констатировал, что шахтинский заговор «вскры-

вает вопиющие недостатки в нашей хозяйственной работе и в самой системе хозяйственного управления, притушение коммунистической бдительности и революционного чутья наших работников в отношении классовых врагов, неудовлетворительность работы по вовлечению рабочих масс в дело руководства производством, отрыв руководящих органов массовых организаций, профессиональных и партийных, от повседневных нужд и запросов рабочих и явную слабость партийного руководства хозяйственным строительством». В эту характеристику целиком и полностью укладывается и средне-азиатское водхозное дело и ряд других дел, обнаруженных в последнее время; дело Калужского текстильного треста, где в качестве специалистов засели бывшие хозяева предприятий, разоблачение Одесского металлообрабатывающего завода и т. д. На них останавливаться не будем, так как после шахтинского и средне-азиатского дела нового они нам дать уже ничего не могут.

3. «Колеблющееся болото»

Мы взяли два крупнейших процесса последнего времени, в которых большие проблемы «спецства» получили свое до жути яркое выражение. Исполнинские размеры предательства и хищничества являются здесь как бы показательным, сквозь увеличительное стекло преломившимся отражением менее разительных проявлений в работе тех специалистов, которые пошли на службу к новой власти с камнем за пазухой. Правда, эта прослойка специалистов является в общей массе инженерства далеко не преобладающей, но дело в том, что и преобладающая часть инженерства требует самого серьезного, — и заботливого и критического внимания к себе. На июньском пленуме ВЦСПС с докладом выступил председатель ВМБИТ'а С. Д. Шейн. Тов. Шейн, между прочим, дал любопытную классификацию инженерно-технической массы. Он разбил инженерство на три неравные группы. «Первая, пока еще немногочисленная, но все растущая, стремится активно участвовать в социалистическом строительстве. Вторая, также небольшая группа, — скрыто саботирующая, враждебная, из которой вырастают вредители. Между этими двумя группами самый многочисленный пласт — политически некрепкое, колеблющееся болото, которое в сущности честно работает, но которое легко склонить в сторону саботажа и вредительства». Очевидно, к четвертой группе нужно отнести тех преступно-равнодушных специалистов, которые свою задачу видят в том, чтобы угрождать начальству. О них на том же пленуме поведал делегат Татарской Республики. Он привел два эпизода, которые должны заставить крепко задуматься и специалистов, и хозяйственников. Когда правительство Татарской Республики отстаивало Бондюжский завод от ликвидации, компетентная комиссия специалистов технически и научно обосновала эту точку зрения. Затем, когда было все же решено завод ликвидировать, та же комиссия технически доказала необходимость ликвидации. Другой эпизод: на одном заводе в Татарской Республике директор требовал закрытия лесопильного цеха; на этом же настаивали и инженеры. Был назначен новый директор, и в соответствии с его мнением те же самые инженеры начали доказывать, что лесопильный цех надо развивать...

Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) признал необходимым особое внимание «сосредоточить на вопросе о подготовке новых кадров красных специалистов и значительном расширении использования их на производстве». На проблемах подготовки новых кадров мы остановимся ниже. Это — задача первостепенной важности и выдвигается сейчас, как самая острая и неотложная. Но до тех пор, пока новая смена в нужном количестве и соответствующего качества вступит в руководство строительством,

нам еще долгое время придется проводить работу с помощью старых кадров. Это выдвигает, тоже как первостепенной важности задачу, надлежащее использование старых специалистов, надлежащую постановку работы хозяйственников со специалистами, надлежащую работу профессиональных организаций в деле привлечения специалистов к активной и сознательной помощи социалистическому строительству. Если остановиться на приведенной выше группировке, то придется признать, что особое внимание должно привлечь к себе то «колеблющееся болото», которое, по определению председателя ВМБИТ, является наиболее многочисленным. Эта группа должна стать объектом воздействия и со стороны хозяйственников и со стороны профсоюзных организаций, и со стороны рабочих общественности, и со стороны передовых, преданных социалистическому строительству групп инженерной общественности. Здесь, в этом преобладающем пласте свили свои гнезда такие грехи инженерства, как спецчанство, отчужденность от рабочей массы, кастовая замкнутость и та специфическая «этичность», которая не позволяет инженеру публично критиковать работу товарища, наконец, особая критикобоязнь специалистов, воспринимающих всякую неблагоприятную оценку их работы как спецедество.

Нужно признать, что обстановка, в которой приходится сейчас работать инженерству — нелегкая. Шахтинский заговор и средне-азиатское хищничество не могли не вызвать в рабочей массе настороженного отношения, не могли не заострить критического подхода к работе специалистов и со стороны хозяйственников. Не обходится здесь, разумеется, и без уродливых крайностей недоверия, не обходится без головотяпства, как некоего реванша за головотяпство обратного свойства — за слепое и некритическое отношение к работе специалистов. Все это в порядке вещей, и с крайностями, как с явлением временным, рано или поздно — скорее рано, чем поздно, — справится советская общественность. Но необходимо, чтобы с рецидивами спецедества, или, быть может, точнее — с нездоровою настроенностью в отношении к специалистам, повели борьбу сами же специалисты, а главное — их общественные организации. Нужно сказать, что эти последние находятся далеко не на высоте тех общественных задач, которые стоят перед ними. Упомянутый пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) отметил уже, что «профорганизации инженеров и техников проникнуты кастовым духом и узко-цеховыми настроениями», что «нередко они захвачены чуждыми пролетариату элементами, противопоставляют себя пролетарскому государству и профсоюзам и работают фактически без руководства со стороны последних»... «В результате отдельные саботажные элементы из буржуазных специалистов не встречают должного отпора со стороны большей части инженеров и техников, добросовестно относящихся к своему делу». И так ли уж далеко от истины был член президиума союза горнорабочих, который в Харькове на пленуме украинского бюро инженерно-технических секций союза горняков в своем докладе заявил, что «шахтинские вредители имели возможность в течение ряда лет вести свою контрреволюционную работу главным образом потому, что в инженерно-технических секциях был исключительно силен дух кастовости и корпоративности».

Инженерно-техническая общественность уже одним тем не борется со спецедеством, что всячески отмежевывается от рабочей общественности и этим укрепляет свою кастовую замкнутость. А всякая замкнутость отнюдь не способствует укреплению доверия... Возьмем хотя бы эту «этику», воспрещающую на собраниях критиковать работу товарищей. В Нижнем-Новгороде на заводе «Двигатель Революции» инженеры прямо заявили, что считают для себя неудобным критиковать работу коллеги. Поэтому на производственных совещаниях они предпочитают отмалчиваться.

Нижегородский завод — совсем не исключение; эта своеобразная этика — явление чрезвычайно распространенное. Как ее понимает рабочая масса? Понимает в ее подлинной подоплеке, т.-е. как своего рода круговую поруку чуждой касты. При таком своеобразном понимании этических обязанностей не так уж правы инженеры, непричастные к шахтинским и среднеазиатским мерзостям, когда протестуют против того, что подозрительность масс распространяется и на честных работников. О честности в советских условиях мы скажем несколько слов ниже, здесь же отметим, что если на глазах у честного инженера мало честный или невежественный своими действиями вредит строительству, а он, честный и знающий инженер, из соображений «этики» не считает нужным выступить с разоблачением невежества или недобросовестности товарища, то, согласитесь, такую честность рабочий берет под сильное подозрение. не без основания. Разве при широкой и граждански понимаемой общественности могли среднеазиатские водхозники так долго и безнаказанно порочить местных хозяйственников своими шарлатански-фантастическими и жульническими проделками. Разве при граждански понимаемой общественности не всплыли бы в свое время хитроумные махинации шахтинских вредителей, имевшие своей целью нарочитой волокитой максимально оттянуть перевоплощение проектов в реальное строительство? Пусть инженерно-техническая общественность не раскрыла бы контрреволюционной организации, но она вскрыла бы недобросовестность, саботаж, противодействие строительству, преступную медлительность и подозрительную «добросовестность».

Сказанным углубляется понятие о честной работе. Не вредить, не саботировать, добросовестно отсиживать положенные часы, отпускать за определенное вознаграждение положенное количество знаний — это в наших условиях еще не значит честно работать. Там, где нет «святого спокойствия» за порученное дело, там, где люди окапываются своевременно зарегистрированными записками, ограждающими от личной ответственности, там, где соседний околодок не беспокоит, ибо это «меня не касается», там, где нет в работе общественного служения делу, там честность высококвалифицированного работника, облеченного широким доверием власти, нужно понимать в весьма условном смысле.

Посмотрите, например, как ведут себя честные инженеры — по преимуществу из «колеблющегося болота» — на производственных совещаниях. Вот два-три примера.

Заводской комитет крупнейшего украинского завода с.-х. машиностроения «Серп и Молот» недавно жаловался в печати: «Много недочетов было допущено при постройке нашего литейного цеха. Тут и краны допотопные поставили, тут имеется и несоответствие между оборудованием и помещением для установки его. Созвали мы пленум завкома и крыли строителей. Казалось бы, — да мы и ожидали, — что особенно активно выявит себя на этом пленуме инженерно-технический персонал. Но оказалось не так. Выступило 30 рабочих. Выступали с жаром. Инженерно-технический же персонал, которому, казалось бы, в таком совещании принадлежало первое место, не выступал. Посидели, послушали и разошлись».

Такую же примерно картину нарисовал в газетах секретарь завкома Мытищинского вагоностроительного завода. «По рационализации, — говорит он, — у нас множество недочетов. Все инженеры видят это, но молчат. На собрании коллектива инженеров, где был заслушан доклад заведующего бюро рационализации, никто не сказал ни слова об этих ошибках. А на рабочих собраниях инженеры покрывают ошибки друг друга. Правда, инженеры и техники аккуратно посещают производственные совещания и заседания производственных комиссий, но участие их только формальное».

Вообще на производственных совещаниях много инженеров ведут себя странно: они не возражают против предложений на собраниях, но потом, когда эти предложения направляются по административной линии, представляют серьезные против них доводы. Такие факты раздражают рабочих.

По мере приближения к рабочей массе и вставания в рабочую общественность инженерство изживет индивидуалистические навыки и предрассудки, унаследованные от буржуазных времен, приобретет навыки подлинно общественные и тем самым углубит понятие о честной работе. Ибо о честной в действительном смысле слова работе можно будет говорить только тогда, когда «саботажнические элементы из буржуазных специалистов» будут встречать отпор со стороны большинства не только в резолюциях и протестах, принимаемых в исключительных случаях, а и в повседневной деловой и общественной работе. Тогда «колеблющееся болото» инженерства уже не будет преобладающим, а отойдет к кучке неисправимых, — либо преступно активных, либо преступно равнодушных.

4. „На наш век хватит“?

Если, по компетентному отзыву председателя ВМБИТ, самую многочисленную группу инженерно-технической массы составляет «политически некрепкое, колеблющееся болото, которое, в сущности, честно работает, «но которое легко склонить в сторону саботажа и вредительства, — то понятно, почему проблема подготовки новых технических кадров встала сейчас в центре внимания советской общественности. Наше хозяйство разворачивается, социалистическо-реконструктивное строительство расширяется и углубляется, своеобразный характер этого строительства предъявляет к техническим кадрам серьезнейшие качественные и количественные требования. Между тем именно здесь, в процессах подготовки красной смены, больше, чем где бы то ни было, приходится наблюдать необычайное в наших условиях благодушие и бюрократическое самодовольство. Здесь нет широкого творческого размаха, нет попыток итти нога в ногу с общей перестройкой революционной эпохи. «Втузы обучают студентов так, как обучали 20 лет тому назад», — это еще самое лучшее, что было сказано о подготовке новых кадров во время дискуссии, развернувшейся в последнее время по вопросу о красной смене. Факты, которые всплыли в этой дискуссии, говорят, увы, о том, что даже 20 лет тому назад молодой инженер получал более широкую, хотя бы только и теоретическую, подготовку.

На одиннадцатом году революции приходится констатировать своеобразную «автономию» высшей школы, которая не связывает своих планов с состоянием и потребностями народного хозяйства, не связывает своих учебных программ со своеобразными условиями социалистической реконструкции.

Как известно, нынешние инженерно-технические кадры количественно ничтожны, даже на предприятиях общесоюзного значения инженерно-технический персонал составляет всего лишь 2,3% к числу рабочих. Это примерно в 3—4—5 раз меньше того количества технических кадров, которые обслуживают буржуазное хозяйство на Западе. В отдельных местах и в отдельных отраслях промышленности процент квалифицированных специалистов снижается у нас до 0,4% и даже до 0,1%: при такой нужде в квалифицированной силе высшая школа поставляет промышленности инженеров и техников по специальностям не в соответствии с потребностями промышленности в каждой из них, а как бог на душу положит. При острой нужде в специалистах по текстильной промышленности, по угольной и горно-рудной специальностям, по дизелестроению, фабрично-завод-

скому строительству и по ряду других отраслей, на бирже СССР числится около 10 тыс. безработных инженеров, техников, агрономов, экономистов, — по преимуществу из числа окончивших за последние годы и оказавшихся за бортом из-за перепроизводства специалистов по группам сельскохозяйственной, экономически-правовой, пищевкусовой. Этот отрыв от народного хозяйства и его потребностей сказывается и во всей системе подготовки инженерно-технических кадров. Наши газеты развернули широкую дискуссию по вопросам, связанным с подготовкой новой смены специалистов. Дискуссия, в которой приняли участие руководители вузов, представители различных отраслей промышленности, профессора, инженеры, стажеры, практиканты, студенты и т. д., дала богатый материал, который, на наш взгляд, должен помочь уразумению многих болезней высшей технической школы и нащупыванию путей к их излечению. Мы далеки от мысли использовать здесь весь обширный материал, данный в дискуссии, — это не входит в задачи нашей статьи. Нам нужно будет, однако, отметить несколько основных штрихов из той неприглядной картины, которую развернул оживленный обмен мнений по этому острому и волнующему советскую общественность вопросу.

Первое и основное, что отмечают участники дискуссии, — это оторванность учебных программ и планов от жизни, от нужд растущей и реконструирующейся промышленности. Ряд выступавших в дискуссии работников заявлял, что «программы вузов, вырабатываемые Главпрофобром, недостаточно увязываются с интересами растущей промышленности». ЦБ пролетарского студенчества отмечало «многопредметность программ и несоответствие читаемых курсов новейшим требованиям науки». Член президиума ВСНХ УССР тов. Маслов: «Наши студенты не знакомятся во вузах с современными направлениями реконструкции и реорганизации производств. Их сведения часто носят отвлеченный характер. Необходимо произвести коренной пересмотр программ преподавания, особенно по специальным предметам». Председатель правления Химстроя тов. Дубов: «Постановка преподавания в учебных заведениях мало способствует постановке новых производств. Должно быть введено изучение тех дисциплин, которые готовят специалистов по тем видам производств, которые у нас находятся еще в зачаточном состоянии, — например, по искусственному волокну, синтезу азота и др». Председатель Госпромстроя тов. Орлов: «В революционной рационализаторской работе технический молодежь должен был бы принять активнейшее участие. Но этого нет, ибо наши вузы с требованиями современного производства знакомят молодежь от случая к случаю».

На последнем, июньском, пленуме ВМБИТ представитель ВСНХ тов. Краваль также отмечал оторванность вузов от производства. «Это, — говорил он, — главное, что вызывает недостаточную квалификацию нового инженерно-технического персонала. Вузы выпускают молодежь, малограмотную технически и если кое-что и знающую, то ничего не умеющую. Молодые инженеры, появляющиеся на производстве, обычно не знают ни одного иностранного языка и не имеют возможности пополнить пробелы своего образования чтением иностранной технической литературы: это — громадный недостаток вузовской подготовки». На тот же крупнейший дефект подготовки новых специалистов — на незнание ими иностранных языков указывалось и на совещании, устроенном в редакции «Правды» по вопросу о подготовке новых технических кадров. «Мне, — говорил один из участников совещания, — приходилось сталкиваться со многими студентами МВТУ, Менделеевского института и др. и всюду я видел, что инженеры не знают иностранных языков. Я работаю в текстильной промышленности, на фабрике у нас имеется великолепная библиотека,

но она на 60% состоит из иностранных книг. Наша литература по этому вопросу очень бедна». А на таком же совещании, устроенном в редакции «Экономической Жизни», представитель Центрального бюро инженерно-технических секций при союзе кожевников тов. Каплан отметил еще один зияющий дефект в том образовании, которое дается сейчас специалисту: «В Западной Европе средняя школа выпускает учащихся уже со знанием высшей математики, тогда как наша школа не дает зачастую и знаний элементарной математики»...

Не слишком ли оптимистичным является после этого горестное восклицание одного из участников дискуссии: «Втузы обучают студентов так, как обучали 20 лет тому назад?» Промышленность переживает революционную реконструкцию, а втузы, поставляющие технических руководителей этой реконструкции, в лучшем случае приводят либеральную ревизию дореволюционной школы. А в иных случаях и отстают от нее. В переустройстве школы революционного размаха пока нет.

На том же совещании в редакции «Экономической Жизни» представитель Наркомпроса тов. Челябинов на вопрос, чем отличается наша высшая школа от дореволюционной, — дал такой ответ: «Сейчас методы обучения коренным образом реформированы. Активные методы обучения (практические занятия, лаборатории и т. д.) занимают основное место, тогда как лекции играют второстепенную роль. В производственной практике имеется много недостатков, но самый принцип десятимесячной практики уже проводится твердо в жизнь».

Посмотрим, как поставлена эта производственная практика студентов. Здесь уже не недостатки, как говорил тов. Челябинов, — а сплошные безобразия. Дело поставлено так, что предприятия смотрят на практикантов, как на дополнительные издержки производства: уж очень мало пользы приносят им студенты. Никто и ничему практиканта не учит на производстве, никто им не руководит, никто не заботится о том, чтобы поставить студента на такое место, на котором бы он извлек пользу для себя и принес пользу предприятию. Инженерно-технические секции, которых общественные и профессиональные обязанности должны были бы заставить взять будущего товарища под свое покровительство, проявляют почти всюду полнейшее равнодушие к практикантам, к условиям их работы. Практикант бесконтролен и безпризорен. А в иных местах оказываются возможными и такие, уж чисто пошехонские, сюрпризы: студента-практиканта, присланного на производство учиться, заставляют переносить тяжести, рыть котловины, считать бочки с водой. На заводах Югостали будущие инженеры на практике или даже на стаже подшивают бумаги, исполняют обязанности сторожа, дворника, милиционера. Ну, а как к этому относятся старшие инженеры, те, которые считают себя — и по своему не без основания — честными? Равнодушное отношение к этому безобразному разрушению смеяны, — входит ли оно в понятие профессиональной честности?

Ко всему этому прибавьте бедное оборудование высшей технической школы: слабо обставленные лаборатории, длинные и долгие очереди студентов, которым нужно отработать лабораторию, тяжелую материальную бытовую обстановку, в которой протекает подготовка студента к тому, чтобы заменить собой старого специалиста, в массе съевой воспитывавшегося в обстановке, гораздо более благоприятной для умственной работы.

А в результате всего этого получилось то, что поставляемые высшей технической школой новые кадры во многом не отвечают требованиям производства. Дискуссия, проведенная газетами, выявила это с полной очевидностью. «Эк. Жизнь» запросила ряд хозяйственников о «качестве» поставляемой ей втузами «продукции» и получила ответы мало утешитель-

ные. «Молодые инженеры, — ответил директор завода «Электросила», — являются на завод с чрезвычайно поверхностным багажом знаний». «Из числа оканчивающих втузы, — говорит заведующий трансформаторным отделом того же предприятия, — трудно подобрать конструктора. Студенты не получают во втузах никакой практики по расчету и конструкции машин». «Наиболее трудным является насыщение инженерами бюро проектирования, — сказал представитель завода «Динамо». Повидимому втузы не принимают мер к развитию интереса к строению даже у тех студентов, у которых намечается конструкторский уклон». Представитель одной из организаций химпромышленности жаловался на то, что «молодые специалисты, не наученные, повидимому, широко химически мыслить, не легко охватывают разнообразные технологические процессы». «У окончивших втузы, — говорит представитель крупного электропредприятия, — не хватает умения применять полученные в школе теоретические знания на практике». «Вузы, — читаем в другом отзыве, — уделяют мало внимания развитию организаторских способностей и умению прилагать технические знания в заводской обстановке». И еще один отзыв, самый жестокий: «У молодых специалистов наблюдается низкий уровень знаний по математике, физике, теоретической механике и сопротивлению материалов. Одновременно наблюдается слабость общей подготовки, выражающаяся часто в недостаточном умении грамотно и понятно излагать свои мысли. Оканчивающие технические учебные заведения часто не умеют чертить».

* * *

Как-будто бы достаточно для того, чтобы судить о крайнем неблагоприятии на одном из главнейших наших участков. Мы развертываем грандиозное строительство — социалистическое строительство, — а проводить его мы вынуждены техническими силами, которые в массе своей работают честно, но в понятие о честности не вкладывают того творческого пафоса, без которого в таком деле продвигаться вперед чрезвычайно трудно. Мы так некультурны, что проявляем преступную расточительность в использовании ограниченных у нас квалифицированных инженерно-технических сил, не умеем взять от них все то, что они могут дать, не умеем обставить их так, чтобы они не растеривали своих ценностей, а приумножали их, из плохо понятого и головотяпски уродуемого «режима экономии» мы загружаем квалифицированных специалистов на 60—70 и даже на 80% канцелярской работой*). Мы предоставили инженерно-техническим силам все возможности развернуть свою общественность, но не сумели предупредить того печального факта, что эта общественность превратилась в кастовую замкнутость, которая только укрепила пуповину, связывающую инженерство с его буржуазным прошлым. Профессиональные организации слишком долго предоставляли инженерно-технические секции самим себе, а эти последние слишком долго стояли в стороне от рабочей общественности и не понимали,

*) ЦК союза горнорабочих установил, что из своего 12-часового рабочего дня специалисты вынуждены около 3½ часов затрачивать ежедневно на чисто канцелярские работы. Обследование работы специалистов на Пермской ж. д. дало еще более разительную картину: ответственные инженеры отдают работе по своей специальности всего лишь 19% рабочего дня. В подмосковном угольном районе больше половины техников работает в конторах и лишь меньшая часть (45%) — непосредственно в шахтах, на производстве. Председатель Уральского обл. бюро ИТС жаловался недавно в печати, что в Тагильском округе инженерам приходится заниматься распределением мочалы по предприятию и что вообще на Урале инженеры имеют возможность уделять чисто производственной деятельности всего лишь 3—4 часа в день.

что больше всего и прежде всего питает вредное спецеество именно эта оторванность специалистов от рабочих масс. Мы готовили смену новых кадров, но готовили ее на радость и утешение худшей части специалистов, которые, глядя на эту смену, довольно ухмыляются: на наш век хватит... Санировать нужно всю систему взаимоотношений со старыми специалистами и все дело подготовки и использования новых. Точные и ясные директивы на этот счет даны апрельским объединенным пленумом ЦК и ЦКК и июльским пленумом ЦК ВКП(б). Если вокруг этих директив, вокруг проблем «спецства» не мобилизовать всей советской общественности, если в особенности и в центре всего не поставить задачей подготовку новых кадров, которые не только не уступали бы старым, а превосходили бы их во всех отношениях, социалистическая индустриализация затянется на сроки, которые не оправдываются внутренней динамикой социальных процессов в условиях социалистического строительства.

Японский империализм и Китай

И. ТАЙГИН

1. Предимпериалистический период

Хотя о подлинном империализме в Японии можно говорить лишь на протяжении последней четверти века, он имел здесь весьма любопытную предисторию. Из целой серии относящихся сюда фактов я выделю только три—наиболее характерных и показательных, имеющих непосредственное отношение к моей теме.

Первый факт — это так называемая «экспедиция на Формозу», имевшая место в 1874 году. Суть дела заключалась в следующем. Японские моряки потерпели крушение у берегов Формозы, но сумели, все-таки, высадиться на территорию острова. Пострадавшие были захвачены в плен местными каннибалами и съедены. Формоза в то время находилась в составе Китайской империи. Японское правительство обратилось с протестом к правительству богдыхана. Однако, последнее заявило, что каннибальские племена Формозы не признают никакой власти, и что оно бессильно как-либо их покарать. Тогда японское правительство снарядило отряд в 3.000 человек, посадило его на суда и отправило на Формозу для наказания виновных людоедов. Это заставило и китайское правительство круто изменить линию поведения: Пекин заявил протест против военной интервенции Японии и, в свою очередь, послал на Формозу китайские войска. Казалось, между двумя соседними государствами вот-вот разгорится война. Но тут в события вмешалась Англия и в лице своего посланника в Пекине предложила посредничество спорящим сторонам. Посредничество было принято, и конфликт ликвидирован мирным путем, при чем китайское правительство согласилось уплатить денежную компенсацию семьям погибших японских моряков.

Второй факт, — это «экспедиция в Корею», разыгравшаяся в 1875 — 1876 гг. Обстоятельства названной экспедиции в основных чертах таковы. Корея в рассматриваемый период представляла собою полусамостоятельное государство, одновременно считавшееся, однако, вассальным владением двух держав — Китая и Японии. Столь сложное международное положение, естественно, чревато было постоянными осложнениями между Кореей, с одной стороны, ее сюзеренами, с другой. В 1875 г. произошло одно из таких осложнений между Кореей и Японией: с корейского форта было обстреляно проходившее мимо японское военное судно. Токийское правительство решило строго покарать виновных. В феврале 1878 года в виду Чемульпо (морская гавань, связанная со столицей Кореи Сеулом) появился японский генерал во главе достаточной армии, а вместе с ним прибыл и представитель японского министерства иностранных дел. В результате состоялась

«дипломатические переговоры» между Японией и Кореей, закончившиеся формальным договором, который — весьма характерная деталь! — был подписан не представителями министерства иностранных дел, а командующим японскими вооруженными силами. Центром тяжести названного договора была статья, гласившая, что Корея является вполне суверенной страной, столь же независимой в международных делах, как Япония. Это был прямой удар в лицо Китаю, который попрежнему продолжал считать Корею своим вассальным владением. Китай отказался признать японо-корейский договор 1876 г., в надежде добиться ликвидации его при первом удобном случае, но зато Япония торжествовала крупную победу.

Итак, Формоза и Корея! Вот два объекта японской колониальной политики 70-х годов прошлого века. В предисторический период империализма токийским правителям грезился захват этих двух обширных владений. И они упорно и систематически работали над достижением своей цели, но только 20 лет спустя им представился благоприятный случай для осуществления первого пункта своей программы. Этим случаем явилась японо-китайская война 1894—95 гг.

Внешним поводом для развязывания давно подготовлявшихся событий явилось так называемое восстание «тонгхек» (оппозиционная группа с сильной примесью религиозных моментов) против корейского правительства, разгравшееся в 1894 г. Правительство, состоявшее из людей китайской ориентации, не будучи в состоянии само справиться с восстанием, обратилось за помощью к Пекину. Результатом этого обращения была посылка в Корею 3.000 китайских солдат. Тогда Япония, поддерживавшая восстание тонгхеков, высадила в Корею 8.000 японских солдат. Некоторое время китайские и японские войска неподвижно стояли друг против друга, но такое положение не могло долго продолжаться. 25 июля 1894 г. произошло первое вооруженное столкновение между китайцами и японцами, — начало японо-китайской войне было положено.

В мою задачу не входит подробно изображать развитие военных действий. Достаточно будет сказать, что с самого начала Китай стал терпеть одно поражение за другим. Его северный флот был совершенно разгромлен японским флотом. Его сухопутная армия была разбита японской армией в нескольких сражениях на территории Кореи, так что, в конце концов, путь на Пекин был открыт. Соотношение сил было явно не в пользу Китая. В результате 17 апреля 1895 г. в Симоносеки был подписан мирный договор, формально закреплявший блестящую победу Японии и вместе с тем, как бы, выдававший ей аттестат в успешном прохождении курса «европеизации». Основные пункты Симоносекского договора сводились к следующему:

- 1) Китай уступает Японии Формозу и Пескадорские острова.
- 2) Китай признает полную независимость Кореи.
- 3) Китай уплачивает Японии 200 млн. таелей (около 350 миллионов рублей) контрибуции и открывает для внешней торговли 4 новых порта.
- 4) Китай передает Японии Лиаотунгский полуостров.

Под давлением России, Германии и Франции уступка Лиаотунгского полуострова в дальнейшем была аннулирована и заменена дополнительной контрибуцией в 30 млн. таелей (около 50 млн. руб.). Прочие пункты Симоносекского договора остались в силе.

Формоза, таким образом, стала неотъемлемой собственностью Японии еще в предимпериалистический период. Тогда же был пройден значительный кусок пути в направлении аннексии Кореи. Однако, реализация этой последней задачи перешла по наследству уже к следующему периоду развития — империалистическому, начало которого совпадает приблизительно с первыми годами XX столетия.

II. Русско-японская война и аннексия Кореи

Японо-китайская война дала мощный толчок развитию японского капитализма. 400 миллионов рублей, сразу влившиеся в японское народное хозяйство, способствовали быстрому разворачиванию его производительных сил, правда, как всегда бывает в подобных случаях, сопровождавшемуся спекулятивным грюндерством и последующими финансовыми и промышленными крахами. Восемь лет, отделяющие окончание японо-китайской от начала русско-японской войны, ознаменовались бешеным темпом хозяйственного прогресса страны. Достаточно привести хотя бы следующие немногие цифры. Сумма оплаченного капитала японских акционерных обществ за период 1895—1903 г. возросла с 174 до 888 млн. иен, т.-е. больше, чем в пять раз. Общий оборот японской внешней торговли за тот же период увеличился с 265 до 607 млн. иен, т.-е. больше, чем вдвое, а добыча угля с 4,8 до 10,1 млн. тонн или в два с половиной раза. Металлургия, практически не существовавшая перед 1894 годом, теперь стала обнаруживать заметное развитие: в 1906 г. выплавка чугуна составила 145, а продукция стали — 70 тыс. тонн. Нельзя не упомянуть также о том, чрезвычайно важном факте, что в 1897 г. была произведена стабилизация японской валюты. В области экономической, влияние войны 1894—95 гг. на Японию можно в известной мере сравнить с влиянием франко-прусской войны 1870—71 гг. на Германию. Японский капитализм явно становился на ноги, а вместе с тем создавались и необходимые предпосылки для зарождения современного японского империализма.

Его первое серьезное выступление было теснейшим образом связано с борьбой за Корею, игравшей такую важную роль в японской колониальной политике конца XIX века. Война 1894—95 гг. устранила одно серьезное препятствие на пути к аннексии Корейского государства — сопротивление Китая. Но оставалось еще одно, гораздо более опасное — империалистическая экспансия царской России. 90 годы прошлого века явились эпохой стремительного внедрения российского «влияния» в Северной и Южной Манчжурии и даже в Корею. Как известно, в 1898 г. Россия «получила в аренду» от Китая на 25 лет Порт-Артур и Дальний (т.-е. южную оконечность того самого Лаотунгского полуострова, с которого за 3 года перед тем она вместе с Германией и Францией заставила уйти Японию). Порт-Артур был превращен в первоклассную крепость, а Дальний стал превращаться в первоклассный коммерческий порт. Оба города были соединены железнодорожной линией с КВЖД. На реке Ялу, по границе с Кореей, царские сановники и сам царь «получили» от Китая крупнейшие лесные концессии. Одновременно царское правительство стало проявлять необычайную энергию в Корею. Его интриги при сеульском дворе, его мероприятия по расширению консульской сети, его почти ничем не прикрытые военно-подготовительные шаги в Корею не оставляли никаких сомнений в истинных намерениях царских империалистов. Россия являлась важнейшей угрозой для экспансии Японии в Корею. Для того, чтобы стало возможным осуществление заветных планов японских правителей, Россия должна была быть побеждена.

Русско-японская война 1904—05 гг. блестяще выполнила эту задачу. Мне незачем останавливаться на подробностях и только что названного военного столкновения. Они общеизвестны и сейчас, в свете почти четвертьвековой давности, не вызывают никаких сомнений. Необходимо отметить только следующее. В то время, как царская Россия, относившаяся с величайшим презрением к «макакам», совершенно не готовилась к предстоящей войне и даже едва ли верили в самую ее возможность, Япония, наоборот, всесторонне мобилизовала свои силы для предстоящего конфликта. Она

реорганизовала свою армию, строила флот, создавала промышленность, потребную для военных целей, готовила финансовые ресурсы, наконец, запасалась иностранной помощью. На рубеже XX столетия покойный князь Ито, бывший сторонником «русской» ориентации в японской внешней политике, ездил в Петербург и пытался там нащупать почву для компромисса между японским и русским империализмом. Однако, Ито встретил в Петербурге весьма холодный и даже высокомерный прием. Тогда Япония обратила свои взоры в другую сторону: в 1902 г. был заключен англо-японский союз, острием своим направленный против России.

Полтора года войны с полной ясностью обнаружили реальное соотношение сил на Дальнем Востоке. Царский режим оказался колоссом на глиняных ногах. Русская армия терпела поражение за поражением. Русский военный флот был уничтожен при Цусиме. Вся огромная военная машина царской империи с ее генералитетом, офицерством, штабами, интендантством и т. д. оказалась прогнившей до конца. Внутри страны вспыхнуло широкое революционное движение, перешедшее в памятный 1905 г. Это движение било, как тараном, по самым устоям романовского самодержавия. Наоборот, Япония с первых же шагов обнаружила огромное превосходство над Россией: как в смысле руководства, организации и снабжения сухопутных морских вооруженных сил, так и в отношении устойчивости своего тыла. Подавляющее большинство населения страны, тогда еще слабо затронутое классово дифференциацией, было полно «патриотических» настроений и энергично поддерживало правительство. К этому прибавлялось естественное преимущество Японии — ее географическая близость к театру военных действий, стоявшая в таком резком контрасте с чрезвычайной отдаленностью этого театра от основной базы российских вооруженных сил — Европейской России.

Конечный итог войны при таких условиях был заранее предрешен. Россия потерпела сильное поражение, и вынуждена была 5 сентября 1905 г., при посредничестве Соед. Штатов, подписать «Портсмутский мир», сущность которого сводилась к следующему:

1. Россия признает «исключительную важность политических военных и экономических интересов Японии в Корее» и обещает в дальнейшем ни в какой форме не вмешиваться в японо-корейские отношения.

2. Россия передает Японии все свои права на Ляотунгский полуостров, включая Порт-Артур и Дайрен (т.-е. аренду полуострова до 1923 г.), а также Южно-Манчжурскую жел. дор. от Чанчуня до Порт-Артура со всеми относящимися к ней предприятиями.

3. Россия уступает Японии южную половину Сахалина.

Хотя на этот раз Японии не удалось получить контрибуции, исход войны 1904—05 гг. означал крупнейшую победу японского империализма и новый мощный толчок в развитии японского капитализма.

Итак, теперь дорога к аннексии Кореи была открыта. Ни Китай, ни Россия больше не могли воспрепятствовать Японии в осуществлении давно лелеемых ею целей. Действительно, эта аннексия началась немедленно же после заключения Портсмутского мира, но в силу целого ряда внешних и внутренних обстоятельств она растянулась на целых пять лет. Процесс аннексии имел три главных этапа.

Первый этап начался заключением в ноябре 1905 г. японо-корейского договора о протекторате Японии над Кореей. Однако, на первых порах этот протекторат носил сравнительно мягкие формы, и назначенный в Сеул японский генерал-резидент имел сравнительно ограниченные права.

Второй этап относится к 1907 г. В этом году корейское правительство секретно от Японии отправило особую делегацию на Гаагскую мирную конференцию с жалобой на токийское правительство и с просьбой о

защите от его агрессии. В том же году в Сан-Франциско произошло покушение на жизнь американского советника при корейском правительстве Стивенса, назначенного в Сеул по рекомендации японцев. Результатом обоих указанных событий явился новый японо-корейский договор 1907 г., сохранявший, правда, номинально, корейское правительство, но предоставлявший японскому генерал-президенту право санкции всех его законодательных и административных мероприятий. Договор также предусматривал назначение японцев на крупные посты в корейской административной машине.

Третий этап разыгрался в 1910 г. В октябре 1909 г. князь Ито, первый генерал-резидент в Корее, был убит на Харбинском вокзале корейским националистом. Князь Ито ехал в Петербург. Это покушение дало токийскому правительству желанный повод для полной ликвидации последних остатков корейской независимости. 22 августа 1910 г. между Японией и Кореей был подписан договор о «добровольном присоединении» Кореи к Японской империи, о ликвидации корейского правительства и корейской династии, а также о тех наградах, пенсиях, чинах и орденах, которые в ознаменование «великого события» должны были получить члены королевского дома и их ближайшие соратники.

Мечта двух поколений токийских правителей, наконец, осуществилась: Корея стала нераздельной составной частью Японской империи.

Блестящие успехи 1904—10 гг. сильно окрылили японский империализм, и теперь он начинает претендовать на новые победы, на новые достижения. Его взоры отныне обращаются на Манчжурию, а его практическая политика строится применительно к захвату ее естественных богатств, как предпосылке формальной аннексии этой территории. Конечно, при проведении своих манчжурских планов, японский империализм должен был считаться с реальными условиями, со сложностью международного положения, с силами и возможностями Китая и царской России. Что касается Китая, то он продолжал пребывать в состоянии прежнего бессилия, располагая довольно сомнительной гарантией своей «независимости» лишь в противоречии интересов различных империалистических держав. В ином положении была Россия. Война 1904—05 гг. заставила ее уйти из Кореи и сильно потесниться в Манчжурии. На Южную Манчжурию царское правительство уже более не решалось покушаться, ограничив сферу своего влияния лишь Северной Манчжурией в районе протяжения КВЖД. В такой обстановке Японии не оставалось ничего больше, как удовлетвориться пока Южной Манчжурией и серьезно приняться за империалистическое освоение этого богатого района. О большем в тот момент не приходилось мечтать (особенно в виду все большего беспокорства, обнаруженного Соед. Штатами к японской экспансии на азиатском материке). Действительно, в годы, предшествовавшие мировой войны, японский империализм обнаруживает большую энергию в области железнодорожного строительства, эксплуатации горных богатств и постройки всякого рода новых предприятий в Южной Манчжурии. Его руководящая идея при этом сводится к следующему положению: в порядке экспорта капитала включить Южную Манчжурию в хозяйственную систему Японской империи и, превратив ее в укрепленный — экономически, политически и военно-стратегически — плацдарм, подготовить в дальнейшем вытеснение России из Северной Манчжурии и распространение на эту последнюю своей экспансии.

III. „21 требование“ 1915 года

Но вот в 1914 г. вспыхивает Великая империалистическая война, и планы Японии круто меняются, Англия, Франция, Германия, Россия на время «уходят» из Восточной Азии, целиком занятые борьбой на европей-

ских фронтах. Им теперь не до Китая и не до Японии, они схватились в смертельных объятиях на Марне, на Висле, у берегов Фландрии. Соед. Штаты формально не участвуют в войне, но все их внимание тоже отвлечено в сторону Европы, и о Восточной Азии в Вашингтоне тоже думают мало. Пред японским империализмом внезапно открываются как будто бы безграничные перспективы: он остался один-на-один со своей жертвой — слабой и разрозненной Китайской республикой, и в головах его носителей зреют планы экспансии один грандиознее другого. Теперь речь идет уже не о том, чтобы отхватить от тела Китайского государства тог или иной остров, ту или иную украинную провинцию. Теперь японские империалисты мечтают о гораздо более серьезных вещах. Они хотят оседлать весь Китай в целом и, поставив на службу своей алчности ресурсы и население этой гигантской страны, превратиться в полных хозяев Дальнего Востока, а, может быть, и хозяев всего мира, если великие европейские державы выйдут из жестокой схватки надолго ослабленными и обескровленными.

Конкретное осуществление этой грандиозной империалистической программы сводится к двум этапам. В конце 1914 г. Япония вступает в мировую войну на стороне Антанты, захватывает Циндао и фактически оккупирует Шаньдунь. А в начале следующего 1915 г. она делает дальнейший шаг вперед, и 18 января предъявляет Китаю знаменитые «21 требование», рассчитанные на то, чтобы превратить Великое Срединное царство в вассальное владение токийского правительства.

В чем состояла суть «21 требования»?

Вот она вкратце, в том порядке, как японские требования были изложены в знаменитом дипломатическом документе.

1. Первый раздел требований обязывал Китай заранее дать свое согласие на все те сделки, которые в дальнейшем Япония заключит с Германией относительно владений, прав и привилегий последней в Шаньдуни. (ст. 1). Далее тот же раздел предусматривает согласие Китая на открытие нескольких новых портов в Шаньдуни (ст. 4), постройку японцами жел. дороги от Чифу или Лункао до соединения с жел. дорогой Циндао—Цинань (ст. 3) и, наконец, обещание Китая не сдавать в аренду и не передавать какой-либо третьей державе никаких территорий или островов в Шаньдуни.

2. Второй раздел касается Манчжурии и Восточной Монголии. Здесь Китай обязуется заменить существовавший в тот момент 25-летний срок аренды Порт-Артура, Дайрена и Южно-Манчжурской жел. дороги 99-летним (ст. 1). Далее Китай обязуется предоставить японским подданным право свободно селиться, владеть землей, открывать рудники, заниматься промышленностью и торговлей в Южной Манчжурии и Восточной Монголии (ст. ст. 2, 3, 4). Еще далее Китай передает Японии контроль и управление Гирин-Чанчуньской жел. дорогой на 99 лет (ст. 7) и обещает без предварительного согласия японского правительства не сдавать концессий на постройку железнодорожных линий в тех же районах подданным третьих держав, а также не заключать займов у третьих держав под гарантию местных налогов. Точно так же согласованию с японским правительством подлежит приглашение в Южную Манчжурию и Восточную Монголию иностранных инструкторов и советников — политических, финансовых и военных (ст. ст. 5 и 6).

3. Третий раздел посвящен так называемой «Ханьпингской компании» — крупнейшему в Китае металлургическому предприятию. Требования предусматривают превращение этого предприятия из китайского в смешанное японо-китайское, при чем без согласия названного предприятия никому другому не может быть передана разработка же-

лезных руд в районе действий Ханепингской компании, охватывающем богатейшие горные месторождения Китая (ст. 1 и 2).

4. Четвертый раздел состоит всего лишь из одной статьи, в которой Китай обязывается не сдавать в аренду и не уступить какой-либо державе «никакой гавани, никакого побережья и никакого острова вдоль береговой линии Китая».

5. Наконец, пятый раздел, который не без основания можно считать центральным пунктом всего рассматриваемого документа, предусматривает подчинение японскому влиянию всей государственной машины Китая. Действительно, ст. 1 этого раздела обязывает пекинское правительство назначать «влиятельных японцев в качестве советников по политическим, финансовым и военным делам» при центральном аппарате республики. Ст. 3 пред'являет требование о создании совместного японо-китайского полицейского управления в крупнейших центрах страны или, в крайнем случае, принятии в этих центрах на полицейскую службу большого количества японцев. Одновременно ст. 4 обязывает Китай закупать в Японии не меньше половины потребного ему военного снаряжения (или построить в Китае японо-китайский арсенал под управлением японских техников и с использованием японских материалов), а ст. ст. 5 и 6 предусматривали передачу Японии концессий на постройку железнодорожных линий в районе Янцзы (Учан — Цзюцзян — Нанчан, Нанчан — Ханчжоу и Нанчан — Чанчжоу) и необходимость предварительного согласия Японии на привлечение иностранного капитала для эксплуатации рудников, оборудования гаваней и постройки жел.з.н. дорог в провинции Фуцзянь.

Несмотря на то, что все великие державы в момент пред'явления «21 требования» были по горло заняты своей собственной судьбой, выступление Японии вызвало повсеместную сенсацию. Однако, ни Россия, ни Англия, ни Франция, ни Германия не могли предпринять никаких реальных шагов для «охраны своих интересов» на Дальнем Востоке. Они вынуждены были ограничиться лишь словесными и при том составленными в довольно вежливой форме протестами. Сам Китай тоже протестовал, но не мог подкрепить своего протеста ничем, кроме торжественных деклараций. Только Соед. Штаты, еще не втянувшиеся в войну, были в состоянии оказать на Японию более серьезное давление, и Вашингтон действительно использовал эту возможность. В конечном итоге токийскому правительству пришлось пойти на кой-какие уступки. Так, весь пятый раздел был официально снят с обсуждения и оставлен открытым. В разделе втором Япония отказалась от притязаний на передачу ей Гирин-Чаньчунской жел. дороги. По целому ряду пунктов было достигнуто соглашение в том смысле, что они не фиксируются в заключаемом договоре, а регулируются в порядке обмена нот. В некоторых случаях смягчена была формулировка тех или иных требований. Словом, давление Вашингтона, поддерживаемого «моральным сочувствием» со стороны остальных великих держав, заставило Японию слегка умерить свои аппетиты и согласиться на обlamывание некоторых слишком острых углов. Тем не менее, «21 требование», даже и в своем пересмотренном виде, целиком отдавали в руки токийского правительства Шаньдунь, Южную Манчжурию и Восточную Монголию, а также Ханепингские металлургические предприятия. Эти смягченные требования были вновь пред'явлены китайскому правительству 26 апреля 1915 года. Китайское правительство, во главе которого тогда стоял Юань Ши-кай, колебалось, тянуло, стараясь выиграть время. Тогда 7 мая Япония в ультимативной форме потребовала от Китая принятия «21 требования». Ультиматум возымел свое действие: 25 мая между Японией и Китаем был формально подписан договор, полностью включавший в себя все японские требования от 26 апреля.

Последовавшие затем 4 года были эпохой максимального расцвета японских успехов в Китае. Влияние Токио стояло в зените, оттесняя и заслоня собою влияние всех других империалистических столиц. Японцы распоряжались в Китае, как в своем вассальном владении, широко используя сложившуюся ситуацию как в экономическом, так и в военно-политическом отношении. Между прочим, в этот период они сумели фактически провести в жизнь (правда, в несколько ослабленной форме) центральный пункт «раздела пятого» — о назначении «влиятельных японцев» советниками и инструкторами при центральном и местных правительствах. Победы 1915 г. до такой степени вскружили голову японским империалистам, что они, не шутя стали воображать, будто бы им суждена какая-то особая роль в истории человечества, и будто бы отныне их царству не будет конца.

IV. Послевоенные неудачи

Действительность, однако, готовила им серьезное разочарование

Первым ударом явилось бурное национальное движение в Китае, разыгравшееся немедленно же по окончании войны. Победители заседали в Версале, занятые разделом добычи и перекраиванием карты мира. Иллюзии, вызванные пресловутыми «14-ю пунктами» президента Вильсона, еще не успели отцвести. Широкие массы населения во всем мире, особенно же в странах угнетенных, в роде Индии и Китая, искренно ожидали какого-то внезапного падения империалистических цепей. Передовые элементы китайской общественности, особенно студенчество и интеллигенция больших городов, подняли знамя восстания против иностранного засилия. Повсеместно происходили бурные митинги и манифестации. Впервые в отчетливой форме были выдвинуты требования отмены неравноправных договоров и восстановления суверенитета Китая. И так как Япония в тот период была главным олицетворением агрессивности мирового империализма в отношении Среднего царства, то вполне естественно, что вся мощь поднявшейся националистической волны с силой ударила прежде всего именно по Японии. Началась борьба со всем японским, широко развернулся антияпонский бойкот. Каковы были экономические последствия этих событий, можно прекрасно судить по следующим немногим цифрам:

Японская торговля с Китаем (в милл. иен.).

	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Экспорт в Китай	539	656	599	424	470	395	500	644	576
Импорт из Китая	384	486	417	305	318	356	493	393	398
Вся торговля в целом.	923	1142	1016	729	788	751	993	1037	974
В %/о.	81	100	90	64	70	66	90	91	85

Как видим, японо-китайская торговля¹⁾, достигнув высшей точки своего развития в 1919 г., затем стала быстро падать, дойдя до низшей своей точки в 1921 г. Сокращение за 2 года составило 36%. Только с 1924 г. японская торговля вновь начала несколько оправляться, чему в немалой степени способствовал бойкот английских товаров, инсценированный китайцами в 1925 г. после знаменитых шанхайских событий. Однако, вплоть до настоящего времени японская торговля с Китаем еще не достигла уровня 1919 г. Итак, за предъявление «21 требования» Японии пришлось заплатить

¹⁾ В цифры торговли Японии с Китаем включены также цифры торговли Японии с Гонконгом и Квантунской областью, регистрируемые обычно японской статистикой отдельно, т. к. по существу торговля с Гонконгом и Квантунгом является лишь частью общей торговли Японии с Китаем.

потерей целой трети своей торговли с Китаем. Токийские империалисты начинали ощущать реальные пределы своих возможностей.

Вторым ударом, еще отчетливее заставившим японское правительство почувствовать эти пределы, явилась в а ш и н г т о н с к а я к о н ф е р е н ц и я 1921—22 гг. Я не буду касаться здесь решений названной конференции по вопросам вооружений, а ограничусь лишь теми ее постановлениями, которые имели прямое отношение к Китаю. Важнейшие из них, это — так называемый «Договор девяти держав», первая статья которого вменяет в обязанность каждому государству, подписавшему соглашение, «уважать суверенитет, независимость и территориальную и административную неприкосновенность Китая», а также «воздерживаться от использования существующей ныне в Китае обстановки в целях искания специальных прав и преимуществ, могущих нанести ущерб правам подданных или граждан дружественных государств, или поддержания деятельности, враждебной безопасности подобных государств»¹⁾. Этот договор бил Японию не в бровь, а в глаз. Под давлением Соединенных Штатов, поддерживаемых целым рядом других держав, Япония вынуждена была сделать логические выводы из «Договора 9-ти» и 4 февраля 1922 г. подписать особый трактат с Китаем, которым она возвращала последнему Шаньдунь, Циндао, Циндао-Цинаньскую жел. дорогу и все другие владения, захваченные ею в период оккупации названной провинции. В виде компенсации Япония получила лишь право на возвращение стоимости Циндао-Цинаньской жел. дороги, впоследствии фиксированной в сумме 40 миллионов иен. Если к этому прибавить, что там же, в Вашингтоне, произошла ликвидация англо-японского союза, в течение целых 20 лет являвшегося краеугольным камнем японской мировой политики, то легко себе представить, как должны были быть восприняты решения конференции на Японских островах. Жалкое фиаско Сибирской интервенции, обошедшейся токийскому правительству в один миллиард иен, фиаско, ставшее очевидным непосредственно после Вашингтона, конечно, не способно было поднять настроение токийских властителей.

Да, японский империализм увидел реальные границы своих возможностей. Великие империалистические державы вновь «пришли» на Дальний Восток. Октябрьская революция 1917 года выбила одно из важнейших звеньев в империалистическом окружении Китая. Она же подняла дух и родила надежды в сердцах угнетенных народов мира. Широкие массы китайского населения впервые после многих лет заволновались и поднялись на борьбу с иностранным засилием. Вся обстановка радикально изменилась по сравнению с 1915 г. Соотношение сил теперь складывалось пр о т и в Я п о н и и, и в результате японскому империализму пришлось перейти к отступлению. Кривая японского влияния в Китае пошла вниз.

Последовавшие затем 6 лет были эпохой приспособления японского империализма к условиям послевоенной обстановки, эпохой о с т о р о ж н о г о л а в и р о в а н и я в смутных водах китайской политики. Четыре основных тактических принципа руководили при этом токийскими правителями.

Во-первых, они всеми мерами препятствовали созданию устойчивого центрального правительства Китайской республики, независимо от его политической окраски.

Во-вторых, они упорно стремились поддерживать Китайскую республику в состоянии внутренней слабости и бессилия путем разжигания внутренней борьбы в стране по всем возможным направлениям — между отдельными провинциями, между отдельными генералами, между отдельными партиями и политическими группировками.

¹⁾ См. сборник «Вашингтонская Конференция». Изд. НКВД, 1924, стр. 76.

В-третьих, они старались с помощью соответственных подачек приручать и ставить на службу своим интересам отдельных милитаристов или сверх-милитаристов, оперировавших в районах, представляющих для японского империализма особую важность. Наиболее яркий пример тому Чжан Цзо-лин, который в течение многих лет был цепной собакой токийских правителей в Манчжурии, с которым у них не раз бывали «семейные» размолвки, но которого они всегда защищали в критические для него минуты (напомню поведение японцев во время восстания Го Сун-лина в конце 1925 г.).

В-четвертых, наконец, токийские правители весьма ловко играли на противоречии интересов между отдельными империалистическими державами в Китае и при этом великолепно использовали каждое затруднение своих соперников по экспансии. Достаточно упомянуть хотя бы о несчастьях, постигших Англию в Китае в 1925—27 гг., несчастьях, на которых японский империализм построил свои крупнейшие экономические и политические успехи последних лет в Восточной Азии.

Только с приходом к власти в апреле 1927 г. кабинета Танаки японский империализм вновь сделал попытку перейти в наступление. Двукратная посылка войск в Китай (в 1927 и 1928 гг.), декларация 18 мая 1928 г. о праве Японии охранять порядок в Манчжурии любыми средствами, ликвидация Чжан Цзо-лина,—все это симптомы нового поворота в «китайской политике» японского империализма, симптомы нового оживления его агрессивности. Удастся ли, однако, токийским правителям далеко пойти по данному пути. — особый вопрос, к которому я еще вернусь позднее.

Таковы основные исторические факты. Для того, чтобы как следует осознать их внутреннюю сущность, необходимо несколько ближе присмотреться к объему и характеру японских «интересов» в Китае.

(Окончание следует).

Гримасы быта

Ф. НЮРИНА

Эпоха перелома

В олховстрой и лучина; трактор и мотыга; гигантский, великолепно оборудованный завод, объединяющий десятки тысяч рабочих, и одиночка мастер, вырезающий по памяти сложный узор на вазе; современный банк с его сложнейшими операциями и «бараний» эквивалент вместо денег, — такова пестрая картина различных ступеней хозяйственного развития СССР.

Разнообразным хозяйственным условиям соответствуют и свой уклад жизни, и уровень культуры, и формы отношений между людьми.

Октябрьская революция сократила сроки для многих исторических процессов. В отсталую Киргизию с ее почти натуральным хозяйством, в Киргизию, половина населения которой летом уходит на пастбище вместе с женами, детьми, советами, парткомами, — в эту страну врывается шум мотора, лязг трактора, политическая кампания перевыборов советов.

Революция в хозяйстве, в управлении требует и революции в психике, требует иных навыков, иного темпа жизни. Узбечка, весь мир которой сосредоточивался в стенах женского «ичкари»¹⁾, вовлекается в фабричную обстановку, где темп работы диктуется станком, коллективом, где паранджа мешает работать. Она получает избирательный бюллетень и должна принимать участие в решении сложнейших вопросов. Она наделяется землей и должна организовать свое хозяйство.

Однако, было бы утопией думать, что революционизирование сознания, приобретение нужных навыков, изменение психики может поспевать за темпом нашего хозяйственного строительства. В Туркмению можно привезти готовые машины, можно там в кратчайший срок оборудовать фабрики, но научиться людей работать, преодолевая сопротивление старого уклада жизни, — для этого нужен известный период времени.

Современная техника изобрела сложнейшие и тончайшие машины, — они создаются и работают по определенным, точно установленным принципам и законам. Научная мысль работает над дальнейшими изобретениями и усовершенствованиями этих машин, облегчающих человеческий труд, увеличивающих количество богатств, создаваемых при их помощи. Но нет точных норм, нет законов темпа в усовершенствовании самой драгоценной машины — человека.

Недаром Маркс писал о том, что победившему пролетариату понадобятся десятки лет для того, чтобы переделать не только общество, но и са-

1) Женский двор.

мого себя для социализма. Это—сложнейшая задача, разрешение ее требует немало усилий.

Декретом нельзя ликвидировать неграмотность. Декретом нельзя создать кадры квалифицированных рабочих, инженеров, специалистов в различных областях строительства. Одним декретом нельзя даже провести женского равноправия, ибо вопрос равноправия несравненно шире прав участия в выборах советов и всей совокупности политических прав. Это—вопрос о положении в семье, в обществе, в производстве; вопрос культурного уровня, вопрос привычек и пережитков—цепких, крепких, прочно всосавшихся в быт.

В переживаемую нами переходную эпоху ломка старых форм быта идет значительно быстрее, чем выработка новых. В потоке новой жизни несетя огромное количество обломков старого, которые на том или ином участки настолько загромождают движение, что иногда задерживают движение потока, меняя его русло и загрязняя его шумные воды.

В наше время приходится сталкиваться даже с попытками создания своеобразной философии, пытающейся исторически оправдать эти обломки старого, загромождающие движение вперед—не только в отсталых республиках Средней Азии, но и в промышленных центрах.

Порою приходится слышать о том, что для участников великого социалистического процесса, которые имеют в своем прошлом немало заслуг перед революцией, не обязательны общие нормы. Подобные «суждения» напоминают философию того поэта, который, увидев бессмертную красоту Венеры Милосской, воскликнул:

— Все грехи человечества прощаются ему за то, что один из людей создал Венеру Милосскую!..

Совершенно излишне доказывать, что такая «философия» в корне своем противоречит действенной философии ленинизма, заключающейся отнюдь не в том, чтобы находить историческое оправдание тем или иным проступкам, тем или иным ошибкам, а в том, чтобы безжалостнейшим образом вскрывать, искоренять и изживать такие ошибки и проступки.

Ведь мы отнюдь не ограничиваемся задачей изучать мир, мы ставим—и в значительной мере выполняем—конкретнейшую задачу—**м и р п е р е с т р о и т ь!**

Если целый ряд злоупотреблений и вредительств в области экономической и политической (шахтинское дело, противодействие хлебозаготовительной кампании) мобилизовали не только органы нашей юстиции, но и общественное мнение партии и широких слоев пролетариата,—то всякого рода злоупотребления, вредительства на участке культурного строительства, на фронте быта, только сейчас начинают привлекать к себе действительное внимание нашей общественности. Только за последнее время мобилизуется отпор большим и малым «вредительствам» в этой области. А надо совершенно определенно сказать, что вредительств, ошибок, злоупотреблений в этой области имеется больше, чем в какой-либо иной.

Положение женщины и общественный „прогресс“.

Много лет тому назад Маркс писал Кугельману о том, что о прогрессе общества можно судить только по положению женщины в этом обществе. Это утверждение сохранило все свое значение и для нашего советского общества. Отношение к женщине является лакмусовой бумажкой, наиболее легко и быстро показывающей действие реакции. Отношение к женщине—один из сложнейших, запутаннейших и основных узлов, в котором концентрируется совокупность наших крупнейших бытовых и культурных проблем.

Отношение к женщине, формулированное в программе нашей партии и в наших законах, в официальных постановлениях профсоюзов и др. обществен-

ных организаций, резко отличается от господствующего до сих пор отношения к женщине в быту. Между тем, что прокламировано в основных законах и постановлениях, в программе партии, и тем, что фактически наблюдается в жизни, еще существует колоссальная пропасть. Необходимо эту пропасть уничтожить.

Если наше законодательство целиком и полностью проникнуто духом необходимости не только проводить равноправие по отношению к женщине, но и всемерной ее защиты, как все еще более слабой стороны, то в быту, в общественности мы такого отношения к женщине еще не добились. По всем законам купля и продажа женщины у нас отменена — не только в Европейской части СССР, но на восточных окраинах, — на практике, однако, еще чрезвычайно прочно господствует отношение к женщине, как к предмету, который можно и должно купить. Такое отношение выявилось в целом ряде больших процессов, которые имели место за последнее время. Это доказывается и бесчисленным количеством фактов и цифр.

Несколько лет тому назад к нам приехала шведская делегация почтово-телеграфных служащих. Среди них была одна телефонистка, которая рассказала на большом собрании московских работниц о том, что когда она от имени всех служащих обратилась к директору телефонной станции с просьбой прибавить им жалованья, так как существовавшая зарплата не давала возможности прокормиться,—он ей ответил:

— Ведь вы такая хорошенькая, вы можете подработать...

Наши работницы встретили рассказ шведки с возмущением.

Но в последнее время обнаружилось, что и у нас,—в той или иной,—конечно, не в такой нагло-бесцеремонной форме, наблюдаются подобные явления.

Явления, имевшие место на фабрике Тамбовской губ., в Смоленске и др., говорят о том, что работница, чтобы выдвинуться или хотя бы удержаться на занимаемом ею месте, зачастую должна отдаваться мастеру или другому «власть имущему». Получаются письма от служащих женщин, которые пишут что «приходится отдаваться каждому, кто имеет какое-нибудь влияние при сокращении штатов или при найме рабочей силы».

Мы должны совершенно открыто признать, что такие явления не единичны и не случайны: они носят довольно массовый характер. Они поэтому должны стать предметом не только судебного разбирательства, но и общественного обсуждения. По отношению к таким явлениям нужны не только меры социальной защиты, но и ряд профилактических мероприятий воспитательного характера, которые бы пресекали самую возможность такого рода отношения к женщине в нашей советской стране.

Эти гнусные пережитки старого отношения к женщине питают и ролят из ряда вон выходящие преступления (чубаровщина, альтшуллеровщина и пр.). За последнее время было немало такого рода преступлений, они имели место не только в среде антисоветских элементов, но и в среде социально близких нам слоев. Элементы бытового разложения проявились и среди комсомольской молодежи, и среди отдельных слоев партийцев.

Если бы по этим ни с чем несравнимым гнойникам, судить о положении женщины в нашей стране, а по этому положению женщины в стране расценивать общественный прогресс,—то можно было бы притти к чрезвычайно пессимистическим выводам.

Но эти процессы необходимо рассматривать не только в их статике, но и в динамике, в свете той социалистической стройки, которая, сметая старое, не создает с достаточной быстротой устойчивых основ для нового. Тогда эти явления получают иную оценку, что, однако, не уменьшает их значения, как огромного общественного зла, для борьбы с которым должна быть мобилизована вся наша общественность.

В отношении к женщине у нас сейчас наблюдается явление нового порядка, рождающееся в непосредственных столкновениях между старым и новым,—за последнее время замечаются участившиеся случаи убийства, избиения и всякого рода издевательств со стороны мужей над женами-общественницами.

В нашей партии и в нашей общественности считалось совершенно установившимся представление о женщине, как о более отсталом элементе, который мешает мужчине активно участвовать в общественной и политической жизни. Это, если говорить о массе, сохранилось до сих пор. Но на ряду с этим необходимо установить, что выросла значительная прослойка женщин-общественниц, которым нередко мужчины (мужья, отцы) мешают вести общественную работу.

Почему-то чрезвычайно прочно укрепилось представление о том, что семейная жизнь является частным делом, в которое общественность не вмешивается, причем это толкование семейной жизни приняло очень широкие размеры. Немало бывает случаев, когда все общежитие какого-нибудь крупного завода или фабрики знает, что такой-то рабочий систематически избивает свою жену за то, что она несет общественную работу, но, когда сама потерпевшая или кто-либо из близких пытается мобилизовать общественное внимание на помощь этой женщине, раздается один и тот же ответ:

— Мы не можем вмешиваться в личную жизнь...

Такой ответ дают не только рабочие, которые живут близко и которые являются свидетелями такого издеательства над женщиной,—такой ответ нередко услышишь и от фабкома, и от ячейки, и от других общественных организаций, которые, казалось бы, должны совершенно по иному расценивать такие явления и по иному реагировать на них. В этой области особого внимания заслуживает следующее характерное явление. Потерпевшая женщина в таких случаях очень редко обращается за общественной или юридической помощью. Даже тогда, когда издевательство над ней переходит всякие границы и помимо ее воли становится предметом общественного или судебного разбирательства, она чаще всего пытается защититься, оправдать насильника. Имеется также немало случаев, когда жертва такого насилия кончает самоубийством.

Эти явления в нашем быту заслуживают особенно серьезного отношения. Дело заключается в том, что женщина не чувствует в общественности той нужной помощи, той нужной поддержки, без которой она совершенно бессильна завоевать принадлежащее ей по всем законам положение. Она защищает своего насильника-мужа потому, что сознательно или бессознательно она убеждена в том, что после того, как дело будет разобрано, она станет предметом еще больших издевательств, и что общественный приговор, которого добьются над этим насильником, не сможет мобилизовать вокруг нее достаточную атмосферу сочувствия и помощи, которая даст ей опору для перестройки жизни на новых началах. Многие идут потому на компромиссы, на соглашения, пытаются прикрыть насильника, чтобы войти с ним в полюбовное соглашение.

Выработка на практике подлинно-равноправного отношения к женщине в производстве, в обществе и семье является необходимым шагом по пути перевоспитания масс, без которого наше движение вперед будет чрезвычайно тормозиться.

Октябрьская революция всколыхнула громадные пласты человеческих масс, втянула в круговорот социалистического строительства не только мужчин, но и женщин, поставила перед ними грандиознейшие задачи.

Сейчас, в период культурной революции, вопросы бытовые, вопросы отношений между полами в производстве и в быту становятся одной из центральных задач как для перевоспитания взрослого поколения, так и в особенности для воспитания молодежи.

Диспропорция между существующими законами и жизнью в этой области начинается со школ первой ступени, где, несмотря на совместное обучение, воспитывается и культивируется то отношение неравноправия, которое, в дальнейшем, примет тот или иной вид враждебной пролетариату идеологии.

В пионер-отрядах очень часто толкуют о том, что «женщина более отсталый элемент, чем мужчина», делая из этого соответствующие выводы для практической работы.

В семье мать бережно готовит сыну завтрак в школу, умоляет его готовить уроки, обивает все пороги, когда его не принимают в школу, а девочка должна нянчить маленьких, вести домашнюю работу и тяжелой борьбой завоевать право на учебу, на квалификацию своего труда.

Девушка не кончает ФЗУ, куда она попала с таким трудом, ибо семья ей внушает, что не в этом смысл «девичьей жизни». Придет время, — придет некий заколдованный принц и возьмет девушку замуж. Дела нет до того, что «принцы» все в 17 году у нас отменены, что и замужней женщине надо участвовать в производстве, в общественной жизни и что поэтому ей нужна квалификация и грамотность. Об этом мало думают в рабочей семье, об этом еще недостаточно заботится комсомол, профсоюзы, и мы поэтому встречаемся с такими случаями, когда 62-летняя старуха-крестьянка, ликвидировавшая свою неграмотность, жалуется на то, что ее внучка, двадцатилетняя работница на московской фабрике, неграмотна. Она приезжает тайком от старухи к попу просить разрешения «выйти замуж в загсе, так как жених-комсомолец не хочет идти в церковь». Она валяется в ногах у попа, в то время как 62-летняя бабушка пишет неуверенной рукой заметки в газеты, вскрывает бюрократизм и восторженно говорит: «не думайте, что я старая, я еще молодая, 50 лет, что прожила при царе, я не считаю; какая это жизнь была, даже грамоте не научилась»...

Алкоголизм в быту. Проституция

Красная юрта кочевников, парк культуры, клуб с детской комнатой, ликбезом, миллионные тиражи газет и журналов, театры, кино, избы-читальня, делегатки, пионеры, комсомол, ясли, столовые, кухни, — разве охватишь их, эти ростки нашей культуры, эти «кусочки и куски живого социализма», рассеянные по стране.

Недаром Горький так много говорил о той волне молодости и энергии, которая всюду веет в стране Советов.

Но рядом с этим — неграмотность и огромный рост алкоголизма. Достаточно сказать, что у нас за год пропивается на 1.200 млн. рублей всякого рода алкоголя (за последний год выпито 32 млн. ведер водки, 15 млн. ведер самогона, 32 млн. ведер пива и 15 млн. ведер вина). Это огромное количество поглощаемого алкоголя, потребителем которого является в значительной своей массе рабочий и его семья, означает не только огромное количество нерационально затраченных средств, оно означает безумное расточение здоровья, сил, оно ложится тяжчайшим грузом на производительность труда, на трудовую дисциплину, — оно мешает всей нашей огромной работе по оздоровлению населения, по внедрению грамотности и культуры в бытовой обиход. Эта часть рабочего бюджета властно преобладает над всеми другими видами расходов семьи рабочего на культурные нужды, на развлечения.

Борьба с алкоголем до последнего времени велась недостаточно энергично. Огромнейшие средства, затрачиваемые профсоюзами на культурную работу, далеко еще не дают нужных результатов. Клуб не сумел еще заменить кабак и водку. Совокупность культурных мероприятий, —

внедрение радио в рабочий быт, книги, газеты и т. д.,—одной из своих центральных задач должна поставить задачу борьбы с алкоголем, его вытеснение.

Есть еще одно из больших общественных бедствий — проституция.

Проституция в буржуазных странах является неизбежным спутником растущего разорения трудящихся масс, она считается закономерным явлением, по отношению к которому применяются главным образом меры охраны интересов потребителя.

В буржуазных странах мысль работает над тем, чтобы способом регламентации обеспечить потребителя от возможности заражения венерическими болезнями. Регламентированная проститутка является элементом, как бы официально стоящим вне закона. Если в целях успокоения общественного мнения и делается кое-что для «спасения погибающих душ», то эти начинания в буржуазном обществе дают больше всего удовлетворения всякого рода дамам-патронессам, прокламирующим «гуманность буржуазной общественности». В Берлине имеется дом для женщин, «могущих впасть в преступление». Под преступлением подразумевается, главным образом, проституция.

Стоит только заглянуть в этот дом, чтобы получить самое наглядное представление о всем лицемерии буржуазного общества. Огромные ворота, запертые тяжелым засовом, как в тюрьме. Чистый двор, большой дом. В комнатах образцовая чистота. Ходят инспектриссы или надзирательницы в белых передниках, в белых наколках. Девушки, женщины различных возрастов работают главным образом за швейными машинками. Надзирательница и директор учреждения, показывая его гостям, вслух говорят:

— Посмотрите на эти рожи — и на них тратятся средства.

Эти «рожи» являются самыми типичными лицами измученных, изглодавшихся работниц. Надо обратить внимание на то, что это не дом для проституток, а дом для «могущих впасть в проституцию». Там находятся девушки и женщины, не уличенные в преступлении. Это по преимуществу бездомные, пойманные в то время, когда они просили милостыню (просить милостыню по немецким законам запрещено), обнаруженные при попытках провести ночь на вокзале или на бульваре. В отношении к этим «могущим» впасть в проституцию принимаются фактически меры социальной защиты, так как они в этом доме должны провести определенное количество месяцев или лет, согласно соответствующего постановления. Они находятся под запором, имеют определенные прогулки, могут отлучаться за пределы дома только с особого разрешения, только уже доказав свою полную лояльность.

Когда какая-нибудь из обитательниц этого дома пытается обратиться с какой-нибудь просьбой к посетителю, между ними немедленно вырастает грозная фигура инспектриссы, которая ласковым, вкрадчивым голосом, но достаточно громко и совершенно не стесняясь, дает самую уничтожающую характеристику просительницы, как такого элемента, до разговора с которым не стоит унижаться «порядочному человеку».

В этом доме имел место чрезвычайно характерный инцидент. В числе «могущих впасть в преступление» там находилась 62-летняя старуха. Она оказалась «злостной рецидивисткой», — ее вторично поймали на бульваре, когда она пыталась там заснуть, так как у нее не было квартиры. Она уже два года сидела в этом доме. Все ее мольбы и просьбы отпустить ее к родным, которые давали обещание держать старуху у себя, не действовали. На вопрос одного из посетителей этого учреждения, почему, собственно говоря, требуются такие меры социальной защиты по отношению к женщине, уже по возрасту своему вряд ли способной впасть в какое-либо преступление, получился интересный ответ:

— Вы не знаете этих людей. Ведь она 15 лет прожила с мужем не венчанная.

Какие причины заставили женщину в свое время жить с мужем не венчанной, не удалось выяснить, но на старости лет она очень тяжело расплачивалась за это «увлечение молодости».

Нечего и говорить, что такие учреждения не только не спасают «могущих власть в преступление», но являются самым верным стимулом того, чтобы толкнуть незакаленных, неустойчивых именно на преступление.

Совершенно по-иному стоит проблема проституции в СССР.

Нет никакого сомнения в том, что и у нас основной причиной проституции является наличие значительного количества женской безработицы и беспризорности. Безработные, в особенности из тех слоев, которые не находятся под постоянным систематическим воздействием своего коллектива, — профессиональной или другой организации, — являются наиболее уязвимыми в этой области. Пытаться изживать проституцию, которая имеет свои корни в трудностях переживаемого периода, недостаточно. Очевидно, что борьба с женской безработицей, вопросы квалификации женского труда, вопросы организации всякого рода общежитий для таких слоев трудящихся, как домашние работницы, которые чаще всего, в случае безработицы остаются без крова и являются первыми жертвами проституции, — являются мерами пресечения проституции в корне. Но нужно совершенно открыто сказать, что у нас имеется проституция не только такого порядка. Анонимная анкета, проведенная среди безработных женщин, состоящих на бирже труда в Ленинграде, показала, что огромный процент безработных, находящихся даже длительное время на учете, но являющихся членами профсоюзов, оказываются довольно устойчивыми по отношению к проституции.

Но на ряду с проституцией, как следствием безработицы, у нас сейчас имеет довольно значительное распространение проституция, как вид добавочного приработка, — не только среди слоев плохо оплачиваемых работниц, но и среди более обеспеченных отдельных слоев служащих. Значительно распространена у нас и детская проституция.

За последнее время, когда это зло начало особенно выпирать, когда в определенной части наших больших промышленных центров проституция прямо бросается в глаза, наступил момент, когда на борьбу с этим злом должны быть двинуты все те меры, которые имеются в нашем распоряжении.

Меры борьбы с проституцией у нас, естественно, отличаются от мер, практикуемых в буржуазном обществе. Мы боремся не с проституткой, а с проституцией. Боремся, правда, мы недостаточно, но правильная идеологическая постановка в этом вопросе имеется.

Борьба с проституцией должна вестись следующими способами:

Первый — помочь проституткам излечиться (большинство из них больны венерическими болезнями), помочь получить трудовые навыки и возможность устроиться на работу, попасть под организованное воздействие рабочей общественности. В этой области имеется интересный поchin — организация трудовых профилакториев. Если бы какой-нибудь буржуазный корреспондент увидел дом для девушек, «могущих власть в преступление», в Берлине и трудовой профилакторий в Москве, — ему было бы чрезвычайно трудно сказать что-нибудь в защиту берлинского учреждения.

Светлое, прекрасное помещение, великолепно оборудованное, хорошо поставленное лечение, красивая обстановка, культурная работа, трудовые навыки, товарищеское отношение, — вот что характеризует эти профилактории. Их имеется очень и очень мало. Но нужно совершенно опре-

деленно сказать, что тут найден здоровый и верный путь, по которому должна устремляться наша работа в этой области.

Второй способ общественной борьбы с проституцией должен быть направлен в русло профилактики. Необходима организация общежитий для беспризорных и безработных, необходимо поднятие квалификации труда женщин и борьба с женской безработицей, а, с другой стороны, необходима и широкая культурно-просветительная работа, в особенности среди женской молодежи.

Третий способ борьбы с проституцией, — один из самых существенных, — это борьба со спросом. Если мы не боремся с проститутками, кроме тех злостных проститутков, которые непосредственно соприкасаются с преступным миром, а боремся с проституцией, то надо совершенно определенно заявить, что мы чрезвычайно мягко относимся к тем, кто пользуется проституцией. Некоторых утешает то, что у нас темп роста проституции отстает от других столиц, — в Берлине имеется 50 тыс. проститутков, во всей Германии 380 тыс., в Париже 60—80 тыс., в Вене около 30 тыс., в довоенном Петербурге было около 30 тыс. А у нас в Москве, правда, по чрезвычайно неполным данным насчитывается только около 3—4 тыс. проститутков. Это утешение — чрезвычайно относительного порядка. Надо учесть, кто является у нас потребителем проституции. Паразитические буржуазные элементы в городе сейчас составляют все же ничтожную часть населения, и основным потребителем проституции является рабочий и служащий.

В Москве была проведена анонимная анкета для выяснения потребления проституции, и выяснилось, что цифры обращаемости к проституткам у текстилей — 27%, у швейников — 31,6%, у печатников — 38%, у металлистов — 42,3%. Эти цифры имеют чрезвычайно серьезное значение, ибо они показывают, что чем лучше материальное положение той или иной категории рабочих, тем выше их обращаемость к услугам проституции (характерно, что этот спрос отмечается как среди женатых, так и среди холостых). Если в большинстве случаев женщину толкает на проституцию, заставляет обращаться к этому голод, — то здесь мы имеем совершенно обратное положение.

Такое положение является естественным следствием того, что до сих пор не создано в рабочей общественности отношения к этому явлению, как к явлению позорному, как к явлению, которое не должно иметь места в советской стране. Первые попытки обратиться к рабочей общественности по этому вопросу дали положительные результаты. На рабочих собраниях выносились постановления считать позорным и недопустимым пользование проституцией. Организовывали субботники в целях открытия профилактория и т. д. Эти отдельные попытки, — широкой организованной борьбы ни профсоюзы, ни комсомол, ни другие организации до сих пор в этой области не проводили, — говорят о том, что при большем внимании можно будет достигнуть хороших результатов и на этом участке.

Алкоголизм и проституция — это те язвы, которые раз'едают здоровое тело нашего пролетарского государства. Мобилизация общественности для борьбы с ними создает необходимую предпосылку для развертывания подлинно творческой культурно-революционной работы.

Литература

ПОБЕДИТЕЛЬ ИЛИ ОБРЕЧЕННЫЙ?

О творчестве А. Яковлева.

Анна Шафир

1. Смерть Николина камня

«Автор и творчество—есть единство, подлежащее нашему объяснению».

(Переверзев. «Творчество Гоголя»).

Батюшка-Водяной совсем прижился в Бел-озере. Так прижился, что завел там полное хозяйство—и пахал, и сеял, и скотину держал. .. Вольготно Водяному живется. У него под водой есть дворец хрустальный, украшенный червонным золотом, серебром и камнем-самоцветом; от камня-самоцвета ярь-свет идет, и во всем дворце светло, как на дворе среди солнечного дня. И конюшни там из красной меди выстроены, двери серебряные, а на крышах вертятся золотые петушки с алмазными глазами»... Так начинается один из рассказов Яковлева «Конец старой сказки». Читатель настораживается, ждет чего-то необычного, но скоро стилизованный народный сказ заменяется разговорным местным диалектом, и сказочная фантастика сменяется реальными событиями.

...«Этак перед весной опять мужики о земле, опять мужики о лугах. Николай уже дома был, и на все эти речи мужикам: — Давайте, братцы, разделим попов луг» и т. д.

А вот начало другого рассказа:

...«За болотами с синим маревом, за лесами за дремучими, в комарином царстве — Жгель. Как морок она — эта Жгель, как пьяный аль похмельный сон. Ийти к ней — дороги дальние да топкие, в лесах, что стоят стенами и справа и слева от дороги, мрак угрюмый вековечный и седые мхи. Идет путник и ждет: вот в избушке бага-яга»... и дальше: ...«На высоком крыльце встал богатырь черный—сам Мирон Евстигнеевич. Черный картуз на нем с широким тугим верхом, длинный кафтан староверский—сорокоборка, блестящие сапоги бутылками»... и т. д. («Жгель»).—Но образы, позаимствованные из героического народного эпоса, и ритм, характерный для народного сказа, к концу рассказа уступают место литературной речи: ...«А через месяц, в воскресенье в ограде староверской церкви хоронили Мирона Евстигнеевича. Небольшая толпа собралась у могилы. Отец Павыл и начетчики пели уныло и монотонно. Под их пение старики в черных кафтанах поставили гроб на веревки и стали спускать в могилу. Толпа усиленно закрестилась».

Эти три стихии -- народный эпос, местный крестьянско-мещанский диалект и литературная речь уживаются одновременно в произведениях Яковлева. От этого разнообразия языкового материала творчество Яковлева отличается внешней цветистостью, пестротой.

Стиль Яковлева далеко не откристилизован. Для того, чтобы выяснить основные элементы его, даже не потребуется особенно углубленного анализа. Не трудно заметить, что, напр., в повести «Повольники» Яковлев пользуется

одновременно и местным провинциальным диалектом («день вовсе наране, а все курмыши на ногах, в роде, как на праздник, парни идут на призыв, а соседи с ними—поглядеть»...), и приемами народного эпоса («крупным жукам стало тесно в озере; стало тесно братьям Боковым в маленькой Малыновке...»), и образами, взятыми из лубочной литературы («Но пришел день, и по всей великой стране; из края в край, пошла высокая костлявая женщина с сумрачными глазами, женщина, одетая во все черное; она постучала во все окна всей страны и сказала короткое слово: «война»), и, наконец, литературной речью.

Случайная ли это невыдержанность стиля или сознательный примененный художественный прием, — в обоих случаях перед нами результат различных напластований. Сквозь эту пеструю словесную ткань отчетливо проглядывает лицо социальной среды или социальных групп, питавших и в той или иной степени оказавших влияние на творчество Яковлева. Это, — с одной стороны — пригород или деревня (приволжская), с другой стороны — среда городской интеллигенции

Несомненно здесь имеют место и влияния литературные: лубочная мещанская литература и литература классиков.

Чем дальше Яковлев уходит от деревенских тем, тем больше язык его очищается от фольклорных влиятий. Он приобретает большую однородность, но, одновременно, терлет свое своеобразие, краски, ароматы («Счастье», «Победитель»).

Наличие разных языковых стихий особенно отчетливо сказывается в произведениях, написанных на деревенские темы.

Здесь тема поглощает героя, герой будто и вовсе не существует, а иногда действительно отсутствует. Остается одна тема, и она завладевает вниманием читателя. Эта тема — «Смерть Николина Камня».

Лежал в Кряжине, за околицей, «Николин камень, серый этакой, могучий». И ходил сказ про этот камень. Будто сидел на нем святой Никола и отдыхал под сосной, что росла возле камня. И ходили испокон веков кряжимцы к «Николину камню» с крестными ходами, служили молебны и верили; засохнет сосна, треснет камень, — наступит тогда конец света.

Но вот пришел Илько — непокорный сын; бросил вызов — «бабьим сказкам не верю!» — Сжег сосну и прорубил трещину в камне. Стали кряжимцы ждать конца света. Но произошел конфуз. Свет остался на своем месте, а в сознании кряжимцев произошел сдвиг, вера в старую святыню пошатнулась, и молодежь сложила и начала распевать богохульную частушку.

Смерть старого мировоззрения, старой веры, взаимоотношений, традиций показана Яковлевым в ряде рассказов: «Конец старой сказки», «В родных местах», «Жгель», «Китайская ваза», «Колдун». По-существу, на ту же тему написана повесть «Порывы», где под влиянием революционера — Федора, бледнеют Машины мечты о мещанском благополучии, о собственном самоваре и тканевом одеяле. Та же тема, несколько по иному варьированная, дана в рассказе «Там, где ночь».

Эти внутренние процессы, происходящие в сознании массы, автор показывает, преимущественно, на материале, который дает ему приволжская деревня. Те произведения, в которых сюжетным фоном является фабрика, в действительности мало отличаются от крестьянских вещей. Фабрика, которую рисует Яковлев («Жгель», «Порывы»), находится на первоначальной стадии развития. Отношения между фабрикантами и рабочими полукрепостнические; полукрестьяне, полу-рабочие Яковлева не приобрели специфической психологии индустриального пролетариата. Пока, это — крестьянско-мещанская масса.

Яковлев не всегда связывает этот медленный молекулярный процесс, ведущий к рождению нового человека, с социальной революцией. Если в рассказах: «В родных местах», «Жгель», «Китайская ваза», — эта связь налицо, то в рассказах «Смерть Николина Камня», «Конец старой сказки» она отсутст-

вует. Культурную революцию Яковлев проводит в крестьянские массы через влияние рационалиста — одиночки, оторвавшегося от массы, стоящего выше ее и зачастую вступающего с ней в противоречивые связи.

Описывая прошлое, Яковлев пользуется всеми поэтическими средствами, которыми так богато народное творчество. Этим достигается, быть может и вопреки намерениям автора, романтизация прошлого, опоэтизация его. Поэтому отдельные поэтические образы, взятые из прошлого, все равно — относятся ли они к области фантастики, быта или нравов, — отличаются несравненно большей яркостью, выпуклостью. И хотя почти во всех своих вещах Яковлев показывает неизбежное отступление старого быта, неизбежную смерть старого миропонимания, но эти выводы — не результат воздействия художественных образов, а следствие логического хода событий.

Образы прошлого, герои его у Яковлева много ярче, полнокровнее, действеннее, чем герои настоящего, проводники революционных тенденций. Достаточно посмотреть как изображает Яковлев завод, несущий разрушение патриархальному быту, чтобы определить социальные симпатии автора.

1) «Порывы».

Цементный завод «Цель» — широко и плотно уселся на самом берегу Волги, верстах в двух от города, если идти по терсемской дороге...

Срублены, умерли старые дубы. Редко, редко, кто из них остался, заблудился среди красных корпусов; вон, у конторы, два дуба осталось, у жилых казарм — с десятков, и стоят они, осыпанные от маковки до пят белой пылью, слушают полуденный и полуночный грохот, вспоминают свою молодость, тишину, пение птиц и грустят. О, уйти бы из этого белого грохочущего ада!..

Белая гора Маяк — высокая, с нее Волгу на двадцать верст вверх и на столько же вниз видно, с нее, по преданию, Степан Разин наблюдал за плывущими судами, и эта гора призадумалась.

Тишь-то была какая...

А теперь и день и ночь грохот. И нет ни единого часа тихого... А как это можно жить без сумерек, без темноты думающей? — Нет, думает старуха-гора, — это не жизнь, — ад.

Правда, ад.

2) «Жгель».

— Ан лес оборвался, стал стеной, уперся, точно идти дальше не хочет — боится, а прямо перед ним, на неохватной поляне толпой толпятся черные и красные трубы, и густой дым из них валит тучами прямо в небо и чадно коптит копотью лицо небесное... Рядом вот с ними, саженьях вот в ста, каких, — гляди, расселся широко черный сарай, из крыши у него дым валит, прямо из щелей. Это горно...

И дальше:

«По зимам — поют вьюги над лесами да над полями жгельскими, мечут сугробы. Да где-ж? Не затушить горнов бурливых, не загасить труб этих, кадил дьявольских, гляди, сколь сажки кругом оседает на белейшем снегу, по ближним полям и лесам».

Старой сказке пришел конец: Николин камень умер; дерзкий и смелый человек вступил в борьбу с природой, фабричные гудки нарушили первобытную тишину («Жгель», «Порывы») на топких болотах, куда не ступала нога человека, заработали торфяные машины («Болото»), песчаные заволжские пространства стали заселяться и разрабатываться («Человек и Пустыня»), революция развенчала старые фетиши. Яковлев созерцает и изображает этот поступательный процесс, но его социальное сознание тянет его назад, он не протягивает нити в будущее, и часто эмоциональная окраска образов идет в разрез с темой.

II. Д и к о й

«... Нет вечных тем и нет общечеловеческих сюжетов. Внеклассовое и общечеловеческое относится или к чисто физическому миру, или к чисто биологическому.

(И о ф ф е. «Культура и стиль»).

«...Лежал змей вдоль Волги, сторожил покой пустыни, потом пришел богатырь с запада... и отрубил змею голову...»

Эту легенду о покорении пустынных заволжских пространств человеком рассказывает дед Андронов своему внуку. (Роман «Человек и пустыня»).

Единоборство человека со стихией или человека с массой лежит в основе всех произведений Яковлева и составляет главное устремление его творчества. Главный герой Яковлева всегда оторван от своей среды, не связан с коллективом. Свою правду он выдвигает в противовес установленным традициям, свои личные интересы он противопоставляет интересам коллектива. Он не только не связан, но и враждебен массе. Дикому «чужалось, будто весь он до маковки полон ненависти к мужикам». Павел, герой повести «Счастье», «ненавидит» окружающую обывательскую среду. Провинциал-журналист Лобов (роман «Победитель») в лице города видит страшного «большого врага», которого он должен «как-то усмирить, завоевать». «Наука для степи, а плеть для людей», — говорят купцы Андроновы («Человек и пустыня»). Даже мальчик — Витя Андронов — чувствует себя чужим в своей школьной среде: «Дураки вы, я и разговаривать с вами не хочу», — заявляет он.

По своему классовому положению герой Яковлева, это — или крестьянин, поддавшийся городским влияниям, пролетаризирующийся (Николай, Илько, Федор), или крестьянин, поставленный в условия, изолирующие его от общества (лесник Дикой), или крестьянин, обогатившийся, вышедший в купцы, поднявшийся по социальной лестнице над крестьянской массой, представитель капитала (купец Андронов), или крестьянский сын — деклассированный интеллигент, пересаженный на городскую почву (Лобов), или, наконец, «потомственный» интеллигент (Павел, герой повести «Без берегов»):

Поставленный в разные объективные условия герой Яковлева сохраняет свои субъективные психологические черты, в чистом виде присущие Дикому. Как лесник Дикой, родившийся и выросший в лесу, он — индивидуалист, он смел и решителен. В нем сильно биологическое начало. Его социальное положение — положение выходца, раскольника — создает в нем психологию бунтаря. Бунтует непокорный сын Илька («Смерть Николина камня»); бунтует рационалист Николай («Конец старой сказки»); бунтует «дерзкий», «озорной» рабочий Федор («Порывы»); по-разбойничьи, по-разински бунтует потомок поволжских ушкуйников Герасим Боков; бунтует Дикой, бунтует честолюбивый, упрямый мальчик Витя («Человек и пустыня»), предприимчивый купец Андронов, в известном смысле — узко индивидуалистическом — бунтует и журналист Лобов.

Социальная революция созвучна психологическим да отчасти и классовым устремлениям героя Яковлева. Поэтому в стихийном бунте, в восстании, в разрушительном периоде революции герой Яковлева занял место, а если не занял, то мог бы занять место в ряду революционной «метелицы». Биологическое начало, первобытный инстинкт борьбы, буйство толкает героев Яковлева на участие в борьбе. Дикого «томит истома, томит. Взял бы палчину, палчиной бы всех».

Лобов «так много чувствовал в себе грубой животной силы, точно волк».

Виктор думал: «Он — взрослый, он — боец, вот его крепкое тело, вот его сильная воля, вот его острый ум, — придет время, он двинет на борьбу с пустыней...»

... «Меня ...? — восклицает Герасим Боков, — одной минуты тот жив не будет, кто меня тронет!»...

Социальные корни у героев Яковлева — одни. Общее у них — промежуточное классовое положение, обязывающее их бороться за собственное существование. У них одна психология с небольшими отклонениями в ту или иную сторону». «Многоликость» и многолюбие Яковлева, в сущности, — кажущиеся. Яковлев — художник одного образа.

Благодаря тому, что этот образ находится у него в постоянном становлении, он не застывает, он подвергается разносторонним социальным влияниям. Но, оставаясь все в том же социальном ряду и сохраняя свою индивидуалистическую психологию и открытое биологическое начало, он не уходит от своего корня — образа Дикого.

III. Победитель или обреченный

«... Так скачет неровно пестрая цепь, не зная, куда попадет через минуту, не зная, под какую музыку плясать будет...»

(А. Яковлев. «Повольники»).

Герой Яковлева — выходец из деревни. Когда он находится на первоначальной стадии своего социального становления, когда он отрывается от крестьянской массы, но еще связан с ней, когда он в первобытную психологию массы вносит элементы рационализма, тогда он — проводник новых начал, тогда он разбивает веру в «Николины камни», тогда его индивидуалистические цели скрыты и его роль — революционная.

На следующей стадии своего развития он порвал с крестьянской массой, но он ушел не в ряды пролетариата, а в ряды буржуазии, он стал представителем частного капитала. Его сущность предстает в обнаженном виде. Его единборство из плоскости идеологической перешло в плоскость экономическую. Андроновы завоевывают пустыню. Они нарушают первобытную экологию, внося сюда элементы капитализма. Их индивидуалистическая бунтарская психология крепнет и заостряется, натываясь на конкуренцию и сопротивление стихии. Их роль — прогрессивная с точки зрения буржуазной. Но их цель — личное обогащение — прямо противоположна целям социалистического строительства.

«Он должен быть в степи первым», — думал о себе Виктор Андронов. «Тихими вечерами он предавался мечтам необузданным: он — смелый завоеватель, он — ученый, он — богач, его любит Дерюшета настоящая»...

У Андропова много индивидуальных данных для того, чтобы быть победителем. Но его победа настолько же неустойчива, насколько неустойчивы и шатки основы капиталистического строя. Роман «Человек и пустыня» не закончен. Неизвестно, в какое положение поставит автор своего героя. Но в его классовой принадлежности заключается его обреченность. В рассказе «Жгель» Яковлев доводит до логического конца историю фабриканта-помещика, столкнув его с Октябрьской революцией.

В романе «Победитель» Яковлев пересаживает своего героя на городскую почву. Здесь он выступает не в роли буржуа, здесь он — деклассированный крестьянский сын, пополняющий кадры городской интеллигенции. В «Победителе», так же, как и в крестьянских вещах, налицо противоречивая связь между личностью и коллективом, но здесь герой — одиночка, оторвавшийся от деревни, не может быть проводником никаких новых начал. Противопоставляя городской культуре свое — нутряное, биологическое, инстинктивное начало, он, скорее, играет роль реакционную. В Москве, куда он приехал из волжской провинции, он видит прежде всего «распутную толпу ночью на тротуаре, вывеску венерологического кабинета и — церковь». Характерно то, что

разница между старой столицей великодержавной России и столицей Союза Советских Социалистических Республик ускользает от Лобова. Он смотрит на мир под углом зрения мещанина. Поэтому обстановка романа воспринимается, как дореволюционная.

Лобов становится во враждебную позицию по отношению к городу. «Ого, какой грозный! — шепчет он. — Прикрыть глаза и слушать. Слушать и смеяться от радости, что перед тобой такой большой враг, которого надо как-то усмирить, завоевать». Его единоборство вызывается его социальным положением. Им движут боязнь конкуренции и честолюбие. Он сжимает кулаки, он — весь задор, буйство, даже роман он пишет под заглавием «Буйство земли». Но его цели узко индивидуалистические, он стоит в стороне от социалистического строительства, ему чужды эмоции классовой борьбы, даже в фельетонах своих (Лобов-журналист) он затрагивает только мелочно-бытовые темы. Здесь, в городской обстановке, он теряет ореол бунтарства, он сливается с массой мещанства, которая точит зубы и когти в целях самозащиты. И, как сын своего класса, обладатель специфической индивидуалистической психологии, он не может быть «Победителем». Он обречен.

Образ интеллигента не случаен в творчестве Яковлева. Интеллигент многими своими сторонами примыкает к образу крестьянского сына Лобова. Рисуя интеллигента, Яковлев, опять-таки, ставит его в противоречивую связь со средой. Один против всех: против крестьянской стихии — Сергей («Без берегов»), против обывательского мещанства — Павел («Счастье»), против массы рабочих-сезонников — тетя Соня («Болото»).

Однако, Яковлев не смог показать психологию социально близкого, но психологически еще чужого интеллигента. Интеллигент Яковлева, с одной стороны, заключает в себе черты Дикого, с другой стороны, это — тип патологический. Так, несомненно патологичен образ девушки, героини повести «Без берегов», которая хладнокровнейшим образом расстреливает старика-учителя и находит удовлетворение в стрельбе по убегающим бабам и ребятишкам. С циничной откровенностью рассказывает она: «По пригорку вниз убежали мужики, бабы, коровы, лошади. Хохоча, мы стреляли им вслед».

Такие подвиги далеки от революционной необходимости. Если бы в этой истерической исповеди не было некоторых искреннейших нот, она, несмотря на весь свой лиризм, звучала бы, как пасквиль.

Яковлев, конечно, не смог плавающему «без берегов» интеллигенту указать его место в созидательном процессе. «Когда кончится борьба, мы должны уйти из жизни, — говорит Сергей. — Мы, привыкшие разрушать, мы не будем способны к созиданию» («Без берегов»). Герои Яковлева бесплодно ищут счастья. «Что такое счастье? — восклицает героиня той же повести, — это остров Лотофагов!..» «В чем человеческое счастье? — спрашивает Павел, герой повести «Счастье». — Не ошиблись ли мы? Мы хотели поднять скалу, сдвинуть ее с места и — надорвались. Не по силам работа. Нужно было делать что-то другое».

Настоящее удовлетворение ждет Павла тогда, когда он самоотверженно бросается тушить пожар. Он тогда все начинает переживать по-новому. «Ему мгновенно представился весь ужас его ненависти... Ненавидеть? Кого? Вот их, этих несчастных?..»

В повести «Счастье» Яковлев пытается нарушить противоречивую связь и наметить путь слияния личности с коллективом. Но он идет не по пути гармонического слияния интересов личности и общества, а по пути аннулирования личности, провозглашения евангельского милосердия и самопожертвования. (То же в рассказе «О героях»).

Рабочий еще более далек и психологически чужд основному образу творчества Яковлева — Дикому. Идея единоборства противоречит классовому положению пролетария и его психическим особенностям. Но Яковлев эту же идею вносит и в свою повесть о рабочем — «Октябрь». Получается неудачная фаль-

сификация: не то рабочему Василию навязана интеллигентская психология, не то Василий — интеллигент или близко к нему стоящий, переряженный в костюм рабочего. И по-интеллигентски осознавши свою ошибку (он во время Октябрьского переворота шел не с эсерами), он стреляется на Ваганьковском кладбище.

Одна из характерных черт, присущих одинаково всем категориям образа Дикого, это — своеобразное отношение к женщине. Дикой в естественной для него среде, где прочно удерживаются домостроевские взаимоотношения, — самец и господин и хозяин своей жены. Но Дикой, очутившийся в чужой для него городской обстановке («Победитель»), не может устоять перед страстью, возбуждаемой в нем необыкновенными, экзотическими для него существами — городскими наряженными женщинами.

Для оценки творчества Яковлева с точки зрения его актуальности и стоящих перед ним перспектив, необходимо опять вернуться к его центральному образу.

Характернейшая черта его — единоборство во имя индивидуалистических целей. Бунтарь, раскольник, индивидуалист, пролетаризирующийся крестьянин, мещанин-буржуа или деклассированный интеллигент-одиночка, — он еще полон бывает черноземной силы, ясности, цельности (Дикой, Герасим Боков, Андронов), но он бывает и заражен скепсисом (Сергей, Павел, Лобов). По своим устремлениям он — человек прошлого. Это не значит, что он лишен потенциальных возможностей, но Яковлев не развил в нем тех черт, которые могли бы из него сделать «героя нашего времени». Из Илько мог бы выйти революционер; из Николая мог бы получиться строитель, из Дикого — советский гражданин. Герой Яковлева мог бы быть победителем, но его ждет обреченность. Процесс перерождения намечен, но не развит в Диком. «Победитель» — слабейшее произведение Яковлева, потому что в нем образ Илько — Дикого доведен до конечной логической точки. Здесь он должен или остановиться, или скатиться вниз — к развенчанию, или переродиться. Из всех случаев последний — труднейший, но только он и открывает перед автором творческие перспективы. В противном случае Яковлев останется или художником и идеологом промежуточного слоя мелкой буржуазии, или будет обречен на вращение в узком кругу бескрылого описательства.

Однако, художественное мастерство Яковлева крепнет. Возможно, что социальный водоворот прибьет еще яковлевского бунтаря к берегу. Тогда он обретет социальное сознание и революционную перспективу и из обреченного на поражение сможет еще стать «Победителем».

О КРЕСТЬЯНСКОМ ПИСАТЕЛЕ СЕМЕНЕ ПОД'ЯЧЕВЕ

Георгий Якубовский

Семен Под'ячев — заслуженный крестьянский писатель, представитель деревенской бедноты в художественной литературе, у него за плечами 44 года литературной работы на трудном пути, полном нужды, скитаний и тяжелой борьбы за существование. «Мытарства» — так называется первый том собрания сочинений С. П. Под'ячева. Уже одно это название говорит много о сущности творчества писателя. Под'ячев представляет деревенскую бедноту в литературе не только содержанием своих произведений, не только изображением быта крестьянства, но и всей своей жизнью крестьянина-бедняка, который вошел в литературу, но не оторвался от деревни.

Семен Под'ячев показал, что кроется за поверхностью деревенского быта, за этой едва заметной рябью растительного прозябания, где как-будто не бывает значительных событий и перемен в медленном течении однообразных дней, по-

казал, какая скрывается там глубокая трясина нищеты, нужды, несчастья, горя, тяжелых драм, бессмысленной жестокости, суеверия, лени, рабства, всяческих страданий, нелепого существования. Но, быть может, писатель намеренно сгустил краски, и, написав мрачную картину, осветил деревню зловещим огнем пессимизма и неверия в человека? Прежде всего С. Под'ячева нельзя назвать грубым натуралистом,— он соблюдает чувство меры; затем, так как он пишет о пережитом, некоторая односторонность его писаний имеет под собой социально-классовую почву. С. Под'ячев описывает не свою личную судьбу, а рисует путь бедняка в социально-классовой обстановке. Изображая язвы быта, показывая людей на последней ступени падения, пробуждая ненависть к социальному злу и классовому неравенству, Под'ячев не возбуждает ненависти к человеку. Писатель понимает человека, так как знает, что причина несчастий кроется не в свойствах данной личности, а в общественных и экономических условиях, формирующих личность.

Весьма показательны для творческого пути С. Под'ячева, что писатель начал не с деревенских рассказов, не с изображения деревни. Его первые повести— это история приключений бедняка в городе, это рассказ о скитаниях, о мытарствах бедняка на социальном дне, в тисках капиталистического строя и полицейского государства. Повести «Мытарства» и «По этапу» дают представление об истоках безотрадного деревенского быта, освещаемого писателем в последующих произведениях. Эти повести рисуют общественно-политический фон, питавший тьму и отсталость связанного по рукам и ногам крестьянства. Содержание повестей не имеет прямого отношения к деревне, оно лишь беспощадно характеризует старый порядок и тем облегчает понимание глубоких язв деревенской жизни, вскрываемых творчеством С. Под'ячева.

Современный читатель очень далек от таких понятий, как, например, «рабочий дом», описанный в повести «Мытарства», или путешествие «по этапу», изображенное в другой повести. Рабочий дом, который был «хуже тюрьмы», по словам побывавших в нем, это — отвратительное порождение буржуазного лицемерия, пародия на общественные работы, полуночлежка для тех, кому деваться было некуда. Люди, доведенные бесправием, нищетой, алкоголизмом до крайности безвыходного положения, ради полуголодного существования шли в рабочий дом, где подвергались издевательствам и унижениям; те же, у кого была связь с деревней, решались на последнее средство — возвращение на родину в качестве беспаспортных бродяг, отправляемых с конвоем по этапу. Картины человеческого падения, глумления над личностью, изображенные в повестях «Мытарства» и «По этапу», — потрясающи.

Показав тупики безнадежности, безвыходности на путях униженной и затравленной личности, писатель ведет нас дальше, в другие социальные этажи того строя, который создавал учреждения «хуже тюрьмы». Быт сельскохозяйственных рабочих, быт батраков и сезонных рабочих изображается в повестях «Среди рабочих», «У староверов», «К тихому пристанищу». Эксплуатация бедняков в имениях крупных помещиков, в княжеских и монастырских владениях показана со всей отчетливостью и выразительностью бытового реализма. Формы этой эксплуатации в повести «Среди рабочих» представляют соединение крепостного права с капиталистической системой.

Показав быт сельскохозяйственных рабочих в помещичьих владениях и у кулаков, быт батраков и сезонных рабочих, показав монастырь, как капиталистическое предприятие и место в нем бедняков, писатель иллюстрировал вылазки бедняка из деревни в поисках заработка, в поисках лучшей доли. Эти вылазки заканчиваются неизменно возвращением в деревню. Мысль писателя бьется над вопросом о силах, вскормивших деревенскую тьму, некультурность, жестокость, суеверие, лень, косность, рабство. Вылазки бедняка из деревни показали одну из причин тяжелого положения крестьянства, его полудикого, первобытного состояния. Это — старый порядок. Угнетение крестьян усугублялось их малоземельем, их полной зависимостью от помещиков. Эта вторая при-

чина тяжелого положения крестьян тесно связана с крепостным правом. Один из бывших крепостных говорит в повести «К новому пристанищу», имея в виду отмену крепостного права: «От мордобития избавили, а жизни не дали». Изображенная в повести «Среди рабочих» сцена расправы управляющего княжеским имением с кузнецом, подозреваемым в поджоге, говорит за то, что и от мордобития крестьянство не было избавлено отменой узаконенного рабства. Вот эти продолженные в новых формах рабство и рабская покорность, глубоко вошедшие в психику крестьянина, также являются причинами того бытового состояния, в котором находилось дореволюционное крестьянство.

Необходимо отметить, что С. Подъячев беспощаден в изображении темных сторон крестьянского быта. Даже название произведений говорит об этом: «Тьма», «Злобная тьма», «Во власти тьмы» и др. Не случайно рассказ «Тьма» был забракован журналом «Русское Богатство» за то, что чересчур «реален». В рассказе тупые грубые братья избивают и толкают на самоубийство своего младшего брата «забастовщика», вернувшегося из города в родную семью. Будни и праздники полуживотного существования изображены в рассказе во всей их серости, неприглядности, бессмысленности.

Проявлениями жестокости, пьянству, тяжелому положению женщины посвящены лучшие страницы в произведениях Подъячева. Освещая резким светом язвы деревни, Подъячев сохраняет объективность в своих описаниях. Описывая подневольное существование женщины, возвышаясь до создания трагического образа загубленной женской жизни в повести «Зло», насыщенной драматизмом положений, писатель не шадит деревенскую женщину за ее отрицательные качества. В повестях «Бабы», «Тьма» и др. он рисует их грубость, а в рассказе «Шпигаты» — преступную жестокость (убийство питомцев из воспитательного дома, которых невыгодно держать, когда они подрастают).

Изображая звериный быт деревни, Подъячев особое внимание уделяет двум важным темам: психологии рабства, покорности хозяину и связанной с ней психологии и идеологии кулачества. Война, а затем революция, обнажили все социальные язвы, рабство и некультурность деревни выступили резко в многообразных проявлениях. Ненависть к городу, хулиганство, жестокость, суеверие приобрели даже идеологическое оформление. Очерки Подъячева из эпохи войны и революции раскрывают эту идеологию глухого первобытного мирка. «Мы—темные», но и «мы—хозяева», «может, царя захотим», пораженческие настроения во время войны, полное равнодушие к выборам в Учредительное собрание, неприязнь к политической борьбе,—все это черты туманной зеленой идеологии.

Более определена идеология кулачества. Следует отметить, что С. Подъячев изображает кулаков выпукло, дает портретную галерею разновидностей этой классовой породы. Представление о кулаке у современников, оторванных от деревни, иногда страдает отвлеченностью, отсюда всякие переоценки и недооценки роли и значения кулачества. Рассказы и очерки С. Подъячева конкретизируют понятие о кулаке, наполняют его реально ощутимым содержанием. Тип дикого, злобствующего кулака показан в повести «Разлад», где разъяренный кулак убивает сына-революционера, и в рассказе «Злобная тьма» — где кулак убивает сына-комсомольца. В одном только VII томе очерков и рассказов зарисовано С. Подъячевым 6 типов кулака, показанного в различной обстановке, во время войны и в 1917 г.—после Февральской революции. Большинство этих типов раболепствует перед помещиком, на раболепстве и подхалимстве строит свое благополучие. Эта тема разработана также в рассказе «Карьера Захара Федорыча Дрыкалина», где показана тесная связь между «холуйством» и кулачеством. По обилию и разнообразию типов, представленных в очерках и рассказах С. Подъячева, рядом с типами кулаков занимают большое место священники и монахи, изображенные с юмором и меткостью в различные моменты их темной практики. Более эпизодичны почти всегда отрицательные типы сельской интеллигенции. В общей мрачной бытовой картине, которая создается из отдельных

произведений С. Под'ячева, есть и светлые штрихи — это образы людей, в той или иной форме протестующих против социальной неправды, типы стихийных бунтарей и революционеров («За язык пропадаю», «Разлад», «Злобная тьма» и др.). Тепло написан рассказ «На огонек» о мастеровых игрушечниках, братски принявших случайно попавшего к ним человека, ограбленного поздно вечером в фабричном районе. Этот прием интересно сравнить с той враждебностью и подозрительностью, с которой встречали рассказчика в глухих деревенских углах.

Новая, послеоктябрьская деревня, черты строящегося нового быта зарисованы С. Под'ячевым в ряде рассказов и очерков, как, например, «Праздник труда», «Два мира», «Комсомольская пасха» и др.

В эпоху культурной революции произведения, дающие широкую картину деревенской жизни, приобретают большое значение, так как облегчают понимание происходящих в деревне процессов. Сочинения Семена Под'ячева, представителя беднейшего крестьянства в художественной литературе, имеют самое близкое отношение к делу культурной революции прежде всего своим антирелигиозным значением. В борьбе с религией, в борьбе с алкоголизмом и азиатщиной быта, с грязью, дикостью, жестокостью, грубостью сочинения С. Под'ячева занимают одно из первых мест и надолго еще сохраняют его.

Полное собрание сочинений Семена Павловича Под'ячева, выходящее в ЗИФ'е, снабжено интересными статьями М. Горького, И. Касаткина и И. Кубицова о жизни и творчестве писателя.

Д В А М О Л О Д Ы Х

А. Лежнев

(О Панферове и Слетове)

Как Панферов, так и Слетов — имена, до последнего времени ничего не говорившие читателю. Если не ошибаюсь, «Бруски» и «Прорыв» — их первые произведения, вышедшие отдельными изданиями, если не первые вообще. Судьба этих книг очень несхожа. О «Брусках» заговорили чуть ли не в день выхода их в свет. Их называют образцом достижений пролетарской литературы. Они печатаются в «Романе-Газете», получая распространение в десятках тысяч экземпляров. О «Прорыве» никто не проронил ни слова. Книга прошла мимо критики. Между тем литературное достоинство обеих вещей не настолько различно, чтоб оправдать такую разницу в приеме.

И неумеренные похвалы, выпавшие на долю одной, и молчание, встретившее другую, одинаково заставляют призадуматься над той ролью, которую у нас играет «случайность». Насколько удручающе действует на молодого автора густое молчание, встречающее его первую, «заветную» книгу, понятно само собой. Но и Панферову его восхвалители оказали плохую услугу. К книге, по адресу которой раздаются такие чрезвычайные комплименты и делаются такие ответственные утверждения, приходишь уже невольно с повышенными требованиями. А эти требования она далеко не всегда в состоянии удовлетворить.

В «Брусках» Панферов пытается дать показ современной деревни во всей сложности ее противоречий, борьбы в ней противоположных тенденций развития. С одной стороны, зажиточная «верхушка» села, обладающая большим влиянием и средствами материального воздействия на крестьян и тянущая деревню назад, к старинке. С другой, — беднота, организованная в артель, вначале враждебно встреченная деревней, потом сумевшая добиться не только терпимости к себе и уважения, но и руководства крестьянской массой, по отно-

шению к которой она выступает, как застрельщица в деле культурно-хозяйственного переустройства. Столкновение этих двух сил (кулаков и бедноты) и составляет идейный «узел» панферовского романа.

Надо отдать автору справедливость: он не старается подсластить или упростить действительность. История его артели представляет собой настоящий крестный путь, мучительный и долгий. За недостатком рабочего скота, за неизменным плугом пахут на коровах и на себе самодельными плугами и сохами. Недоедают, выбиваются из сил, валяются от усталости. Есть у артели отступники, дело ее медленно и трудно подвигается вперед; остальные крестьяне не только не оказывают ей никакой помощи, но и норовят помешать, испортить. Так дело тянется до тех пор, пока артели не удастся приобрести трактор. Участников ее Панферов не изобразил героями: за исключением инициатора Огнева, человека с сильной волей и целеустремленностью, это — все средние, не очень решительные, часто колеблющиеся люди, с заметными следами заботы, бесхозяйственности и т. д. Наоборот, зажиточная, консервативная часть крестьянства раскрашена далеко не сплошной черной краской. Один из персонажей романа, секретарь губкома Жарков, переживает характерный процесс переоценки ценностей. Прежде «деревня представлялась ему темным сгустком, при чем этот сгусток делился на три части: бедняк, середняк, кулак. Кулак — с большой головой, в лакированных сапогах, середняк — в поддевке и простых сапогах, бедняк — в лаптях. Так, по крайней мере, рисовали деревню на плакатах. По плакатам невольно и у Жаркова рисовалась деревня: с одной стороны, противник революции — кулак, с другой, защитник ее — бедняк. А середняк, жуя губы, стоит в сторонке... После же того, как он побывал в Широкое несколько дней, и него разом перепутались все эти понятия». Нечто аналогичное происходит и с автором. Он разуверился в привычных литературных штампах деревни. Он хочет преодолеть шаблоны агиток. Но в этом стремлении он, как Жарков, иногда заходит дальше, чем необходимо, «перегибает палку». Крестьянин зажиточный, кулак, получается у него ярче, темпераментнее, умнее бедноты и уж, во всяком случае, гораздо убедительнее.

В сюжетно-идеологическую основу романа (артель, ее борьба за «Бруски», за влияние в деревне против кулаков и т. п.) вплетены любовные истории нескольких пар: Якова и Стешки, Кирьки и Зины, Кирьки и Улиньки, — перепутанные между собой некоторыми общими звеньями. Но сплетение сделано недостаточно тесно, и вместо единой сюжетной линии, вдоль которой был бы организован материал, получился ряд их. И так как при этом каждая из них фабульно очень односложна, коротка и небогата, то они оказываются крайне недостаточными в качестве кристаллизационных центров для такого количества обширного материала, и материал не кристаллизуется вдоль них, а неопределенно расплывается в стороны. О подобном расплывании свидетельствует обилие и величина вставок, конструктивно выпадающих из романа (налет банды Карасюка, эпизод с рыбной ловлей, с пчелами, — даже приезд в село и деятельность Жаркова надо рассматривать, по существу, как вставку). Роман не построен, а склеен из разных частей, чересполосен, является, скорее, собранием повестей, чем конструктивно-целостным романом.

Недостатки конструкции делают его вязким и трудным для чтения. Нет того создаваемого интригой, сюжетом импульса, который заставляет читателя, увлекаясь, идти все дальше и незаметно преодолевать бытовой материал. К этому присоединяется еще повторение одинаковых ситуаций в узловых пунктах романа (болезнь Плакущева, болезнь Егора Чухляева, ранение и болезнь Огнева). Выходит как-будто, что каждый раз, когда автору надо изобразить тяжелый кризис, переживаемый его героем, на помощь ему должен обязательно прийти несчастный случай или избивание, от которого герой этот медленно и с трудом оправляется. Конечно, одновременно повторяются — с большим постоянством и однообразием — и бытовые сцены, сопровождающие эти критические ситуации. К умирающему заявляется вся деревня, соболезнающая или любопыт-

ствующая, тут же происходит и драматическая встреча с заклятым врагом по личной и общественной линии. Наконец, обманывая ожидания, больной выздоравливает.

Не «завязанный» как следует роман и не «развязан». Развязки в нем нет. Он может быть окончен почти на любом «звене» (так Панферов называет части своего произведения, следуя, очевидно, примеру М. Пришвина, но там это более оправдано, потому что имеются в виду звенья «Кашеевой цепи»). Последние сцены (драка крестьян из-за отвода воды, умирание Огнева) ничего не завершают, ничего не решают. Наоборот, они вновь ставят под сомнение тот вывод, который уже складывался у читателя в результате развертывания романа, вывод о назревающей победе артели над кулацким влиянием, над деревенской отсталостью, над анархизмом мелкособственнической стихии. Стихия опять переплещивается и ломает организующую силу. Что же касается «боковых» сюжетных линий, то главная из них (Яков—Стешка) завершена уже едва ли не к середине романа. Получает в финале разрешение только одна, последняя (Кирька—Улинька), но оно таково, что лишь усиливает ту неопределенность, полную сомнений, которую создает заключительная сцена крестьянского побоища. Кирька капитулирует перед деревней, бежит от нее в город.

Итак, конец «Брусков» не является ни идеологической, ни сюжетной их развязкой. Роман кончается знаком вопроса. Между тем логика его развития или, по крайней мере, рационалистическая схема замысла заставляла ожидать другого — ясного и недвусмысленного финала. Аналогичное противоречие воспроизводится автором и в обрисовке типов крестьян.

Их можно разделить на несколько групп: представители зажиточного, консервативного крестьянства—Егор Чухляев, Плакущев, Быков, Пчелкин; передовики деревни—Огнев, отчасти Кирька Ждаркин; идущая за ними, но не отличающаяся ни большой инициативой, ни выдержкой беднота—Николай Пырякин, Давыдка Панов и др.; молодежь, настроенная неопределенно, но постепенно склоняющаяся к передовикам, в роде Якова Чухляева. Интересно здесь вот что: симпатии автора, конечно, на стороне передовиков и бедноты, но умными, энергичными, яркими, получились у него как раз кулаки, зажиточные хозяева или крепкие середняки, как Захаров. Они и художественно больше удались Панферову; они более «раскрыты» и убедительны, чем представители бедноты, среди которых только одна яркая личность—Огнев, да и тот показан «внешне». Здесь перед нами опять расхождение между сознательным планом и выполнением. И то, что «хозяйственные мужички» пользуются авторитетом и влиянием на селе, кажется читающему панферовский роман естественным.

Надо, впрочем, сказать, что художественные типы у Панферова и вообще не обладают ни глубиной, ни сложностью. Особенно это видно на примере его женских персонажей. Все они чрезвычайно похожи друг на друга и отличаются едва ли не только именами. Как и у большинства молодых писателей, пишущих о деревне, женщина у Панферова—не личность, а только половая особь. Но даже в этих пределах она не индивидуализирована. Она может называться Стешей, Зиной или как-нибудь там еще, но это не Зина, не Стешка, а женщина вообще, баба, воплощение безлично-самочьего начала. «Вечно женственное» в физиологической трактовке,—она нужна автору лишь постольку, поскольку он ощущает потребность ввести в повествование романтическую линию, эротический эпизод,—и вне этого она не существует. Она всего только—необходимое условие любовной интриги, почти аксессуар.

Такую упрощенность можно отчасти объяснить тем, что и самая-то личность у деревенской женщины подавлена и теперь лишь начинает раскрепощаться. Но несомненно, что часто у писателей здесь сказывается неясное для них самих, подсознательное крестьянское отношение к женщине, к «бабе», как к неполноценному человеку,—или, наоборот, очень сознательная сти-

лизация такого отношения¹⁾. С другой стороны, упрощенность в обрисовке женщины является у Панферова лишь более крайним выражением «внешнего» подхода к людям, который у него преобладает и кладет печать бытовизма на его страницы.

Возможно, что данная оценка кое-кому покажется слишком строгой и вызовет упрек в чрезмерно придирчивом отношении к первой книге молодого автора. Но, во-первых, я не думаю, чтобы с молодым писателем надо было обращаться, как со стеклянной посудой при перевозке. (Осторожно! Бьется!). Правду следует говорить и начинающему — и ему-то в особенности и со всей откровенностью. Во-вторых, «критическое» отношение вынуждено преувеличенными похвалами роману и криками о нем, как о новом достижении. Такие слова обязывают. Такие слова нужно проверять.

«Бруски» — не «достижение». Это — роман еще ученический, плохо построенный, сырой, художественно недостаточно организованный. Это необходимо сказать прямо. Но отсюда еще вовсе не следует, что Панферов не сумеет вернуться в подлинного, крепкого писателя. «Бруски» обнаруживают у их автора хорошие писательские данные: наблюдательность, реалистическую трезвость, лишенную слащавой идеализации и сентиментальности, знание деревни. В пользу Панферова говорит самая установка его романа — на раскрытие социальных процессов, неслышно протекающих под корою быта, на показ динамики развития крестьянства.

* * *

В противоположность «Брускам» слетовский «Прорыв» кажется на первый взгляд произведением, написанным на тему, уже переставшую быть актуальной в советской литературе, характерную скорее для первых лет ее эволюции. «Батальное» изображение гражданской войны — с бронепоездами, сценами реквизиций и допросов, с неизбежным романом краскома с машинисткой или делопроизводительницей — уже примелькалось и стандартизировалось. Искусственный читатель с неохотой переворачивает страницы повести, течение которой он может предсказать с довольно большой точностью. По-своему, он прав. Но произведение Слетова только внешним образом, фабульно напоминает такого рода повести, и, конечно, в этих банальных сюжетных ходах и стандартизированных положениях — слабая сторона «Прорыва». Но по своему внутреннему содержанию, далеко не исчерпываемому романтически-батальными элементами, «Прорыв» близок к таким вещам, как «Преступление Мартына» Бахметьева, «По ту сторону» В. Кина, «Разгром» Фадеева, к вещам, затрагивающим узловую литературную «проблему» сегодняшнего дня, которую принято называть проблемой «живого человека» и которая заключается в выявлении пригодности того или иного социально-психологического типа для дела революции. Именно в этом, а не в «показе» гражданской войны заключается смысл «Прорыва».

Стержневая фигура повести — Стомаров. Это — интеллигент, бывший эсер, теперь работающий с большевиками не за страх, а за совесть. Он — хороший, энергичный начдив, храбрый солдат, мужественный человек, он пользуется уважением у красноармейцев, доходящим до преданности со стороны тех, которые его знали поближе. Он на своем месте, он честен, — а все-таки трудно сказать, кто он в своей основе, к кому он внутренне ближе — к красным или к белым. Такой упрек бросает ему девушка, в которую он влюблен, Аллочка, дочь белогвардейца:

— Они (большевики) и тебе чужие...

И Стомаров только и находится, что сказать:

¹⁾ Подчеркнуто: говоря так, я имею в виду не только Панферова, но и целый ряд молодых писателей, изображающих деревню.

— Да, но я с ними уживаюсь.

Впрочем, это будет не совсем правильно. По своим убеждениям Стомаров гораздо ближе к красным. Он честен перед собой. Но по своему мироощущению, по чувствам и навыкам он стоит где-то посередине, между теми и другими, между старым и новым человеком, и от старого в его натуре, пожалуй, значительно больше. Он сам говорит: «Я не фанатик: если мои личные интересы разошлись с общими интересами, я прислушиваюсь к себе, а не к лозунговым жупелам». И еще резче: «В руках моих большие возможности... Как ты думаешь, неужели я постесняюсь употребить все это в своих целях, если пришла борьба моя со всеми, против всех, мешающих мне жить так, как мне сейчас необходимо, нужно, единственно возможно». Но для Стомарова характерно не только выдвигание «личного момента», утверждение его первенства над общественным (в случае неудачи кое-каких своих планов устройства Стомаров готов бежать за границу), но и такое представление о жизни, в котором понятие целеустремленной борьбы затушевано, почти выпадает и которое сведено к максимальному самораскрыванию личности. «Нужно все: и медвежью охоту, и путиловских рабочих, и игорный притон, и северное сияние».

Что же привело Стомарова к революции? Романтизм, в героике которого был явно-индивидуалистический привкус. Но романтизм оказался ненадежным руководителем. Достаточно было не очень сильного толчка со стороны «личной жизни», достаточно было влюбленности в Аллочку, чтобы индивидуалист Стомаров потерял равновесие и поскользнулся. «Он оторвался, ушел с этой плоскости, где два других угла—массы и партия, а на месте самый факт нарушения. Ясность схемы нарушила женщина. Так ли тревожен самый факт нарушения, как легкость, с которой оно произошло? Не потому ли и отрыв тот совершился так легко, что случайно затесался романтический силует в чужую плоскость?»—так размышляет Стомаров в одну из тяжелых для себя минут.

Любовь к Аллочке заставляет Стомарова делать ряд неосторожных и даже некрасивых поступков (хотя, по существу, мелких и вовсе не злых). Но он все же настолько крупный и честный работник, что нет и речи о его устранении. Устраняет Стомарова автор сам, силою собственного произвола и случайности. Стомаров попадает под поезд. Правда, гибель его обставлена кое-какими подробностями, намекающими на ее закономерность и даже едва ли не символичность. Начдив отправляется во главе отряда в наступление, одетый крайне эффектно, романтично и нецелесообразно— в кавказской бурке и огненно-красном шлеме. Его предупреждают: «Что это вам пришло в голову так нарядиться? Вас посадят на мушку с тысячи шагов». На мушку Стомарова не посадили, но широкая бурка зацепляется, когда он прыгает с бронепоезда, и утягивает его под колеса. Так романтика губит Стомарова уже не в переносном, а в буквальном смысле. Но, конечно, эта символика неубедительна и натянута. Случайность остается случайностью. Автор убивает Стомарова потому, что не знает, как ему кончить роман.

Стомаров— стержневая фигура повести. Все остальные существуют лишь для того, чтобы выделить его, чтобы бросить тени и блики, делающие его более выпуклым, подчеркивающие его характерные черты. Соответственно этому и художественное значение их меньше и уже. Совсем неудачна Аллочка, и трафаретен весь связанный с нею эпизод, представляющий лишнюю вариацию стандартного положения: комиссар— машинистка. Щукин— разновидность другого трафарета: литературного «железного» большевика, о котором известно только, что у него сильная воля, невзрачная наружность и тщательно скрываемая нежность к родной дочери. Он должен составить противовес романтику и индивидуалисту Стомарову, но он не «раскрыт», и нам надо верить автору на слово, что он «хороший». Удачнее Анулов, Кречетов, Костя, Круг, но они являются персонажами второстепенными, а «злодей» повести Мартыныч, которого можно было бы сделать чрезвычайно колоритной фигурой, обработан под Достоевского (Смердяков) так, что литературщина явно бьет в нос.

Мы уже видели на примере Панферова, как трудно дается конструкция молодому писателю. «Прорыв» построен значительно стройнее и проще, что, может быть, объясняется меньшим количеством материала и меньшим объемом. Но и здесь есть эпизоды, вовсе выпадающие из сюжетной конструкции. Таковы, например, сцены между Костей и Катериной, лучшие в повести, но почти ничем не связанные с остальным текстом.

Как стилист, Слетов и тоньше, и богаче Панферова. Он, правда, несколько злоупотребляет лирическими вставками, и фраза его иногда загадочна по построению и таинственна по смыслу, заставляя предполагать опечатку или пропуск слова («И когда проходит с т о б ы с т р ы х л е т (?) в голове скользящих полумыслей»), но его строки бывают чрезвычайно выразительными и густыми по краскам. Есть много своего рода монументальности в таком описании:

«Внизу — ступня, несущая катеринино тяжкое тело по лиходольной вдовьей тропе. Формы ее — формы конечностей талира или носорога, и этому причиной ороговевшая кожа. Такая ступня, если она победоносна, наступив, раздавит. Костя на миг представляет себе сердце, растоптанное катерининой чугунной ступней, и переводит взгляд выше, туда, где линия икры, спускаясь сверху, стремится закончиться прямолинейно, и лишь с великим трудом сгибается в некоторое сужение у щиколки. Здесь едва проступает скрытый механизм постройки: тени слабо рисуют намек мощного костяка, тут же ревниво об'ятый наростами мышц».

Повесть Слетова и роман Панферова объединяет как-будто только то, что они появились в одно время. Индивидуально общего у авторов действительно очень мало. Но их произведения говорят о некоторых общих чертах современной литературы, в особенности ее молодых кадров. Это — перевес материала над выполнением (отсюда — недостатки конструкции, переходящие порой в беспомощность); у писателя запас наблюдений и фактов богаче его конструктивных средств его литературной опытности, его мастерства. Ему есть, что сказать, но он не всегда знает, как это сделать. Он уже не довольствуется бытовыми зарисовками и старается прощупать основные, характерные для эпохи большие темы. Это делает в разрезе социально-динамическом Панферов (но у него значительность темы нередко вступает в противоречие с бытовизмом эформления), в разрезе психологическом — Слетов.

Советская земля

СРЕДНЯК

Федор Малов

Из глухих и темных керженских лесов протекает осередь Сосновки вилавая речка Пни. Ефимова старая изба с покоробленной крышей по эту сторону ее, а Смородинова дом—по ту. На крыше Ефимовой избы—оранжевая вешка сельсовета, а на карнизе Смородина—строгая, но отнюдь не пышная резьба. На окнах сельсовета стоят кринки с молоком, да с мухами, а на крыльце беспризорно путает зазевавшиеся ноги сосновцев мочальная шлея с хомутом. У Ефима пала лошадь; истошный рев в дому стоит третий день. Зато на окнах Смородина прохладно туманятся плотные занавески, наглухо опущенные обычно. На дому прочная крыша, у двора толстые столбы. Надежные ворота до революции были варварски красочны. Теперь строгий хозяин всю краску выскоблил и снял даже резьбу. И это все, чем отличается сосновский этот дом от обычных изб, в том числе и Ефимовой, где стол с одной папкой и печатью представляет собой всю советскую власть на селе, и то лишь по вечерам, когда его открывает фасонистый секретарь Аркашка.

Иногда приходили в летние праздники к смородинским окнам соседи послушать московскую радиопередачу, осторожно прикладывая мембраны к ушам.

И то некоторые бабы говорили так, как будто открытие радио и усовершенствование передачи — доблесть самого Смородина.

— Ну-ко додумался Иван-от Иваныч до чего! Радиослухи принимает с Москвы. А все через свою лесть да хитрость!

Те, которые толковали иначе, говорили:

— Что ему не выдумывать, коли в прежней силе остался. С его недостатком и наши бы мужики додумались. А коли нет средств сарафанишко лишний купить, так где уж голоса из облаков улавливать.

Секретарь комсомола Микита, если приходилось, всегда хлестал по бабьим «злым» языкам:

— Это все ваша непроходимая несознательность, тетушки! Иван Иваныч активный и сознательный гражданин, а вы на него бултыхаете. Стыдитесь!

Едва только Микита скрывался в избе сельсовета, как бабы опять принимались за старое. Они «перемывали черно-и-бело, что водилось за Иваном Иванычем, и, по их словам, он был далеко не таким, как понимал ретиво защищающий его Микита.

Разговор баб шел о том, что на дворе у Смородина, помимо доброй рабочей лошади, сокрушал стойло неусмиримый жеребенок «Коминтерн», вот уже четыре года числящийся «сосунком» в налоговых списках. Так же обстояло дело и с другой скотиной. К четырем записанным коровам не включались две новотельных. Продавать телят нужды у Смородина не было, и потому через каждые два года у него постоянно оказывались новотелки. И ровно через каждые два года он продавал по две коровы, а заменяющих их новых также не заносил в списки. Про овец, конечно, западала молва. Овцу утаить куда легче коровы, и здесь Иван Иваныч много не церемонился. Он писал всего лишь восемь маток, остальных

отдавал «исполу» в чужие деревни, ибо отдавать на таких условиях выгоднее, чем держать самому. Обычно бедняк, не имеющий силы купить овец, берет «исполу» несколько маток и кормит их своим сеном всю зиму, а летом пасет и ходит за ними. В уплату ему идет только половина приплода и шерсти от осенней и весенней стрижек. Хозяин овец по осени получает маток с обильным приплодом, и в сущности они ему ничего не стоят: ни затрат, ни беспокойства. Увозились овцы в темные ночи, привозились в то же время, а кто стережет-караулит по лесным запальным дорогам тайную задумку соседа!

Иван Иваныч считал необходимым умело скрывать и прятать не только скотину, собранный урожай и заведенные на запас телегу или лишнюю борону, но и распространял это строгое требование на семью и весь хозяйственно-обиходный уклад. Он берег и наряжал свою дочь, кончившую школу II ступени, но никогда не разрешал ей без крайней нужды форсить в модных платьях на деревенской улице.

«Зачем на глазах у всех слоняться? Сиди в своей горенке! Не трави, не задорь соседей!» — вот его постоянные укоры.

И все ж в крестьянстве всего не скроешь. И прежде всего не утаить, не упрятать землю. Тогда все, что никак не могло быть скрыто или упрятано, Иван Иваныч старался прежде всего как можно прочнее о законить. Однако это не значит, что ему хотелось полностью реализовать в своем хозяйстве советское законодательство. Об этом, конечно, смешно думать. Ему прежде всего нужно оградиться законом, создать из него надежное для себя прикрытие; где нужно — сослаться, где нужно — запугать законом или запутать, а самое главное, это — его настолько извратить, чтоб он абсолютно выражал только его, Иван Иваныча, хищнические интересы. Он буквально в'едался в каждый новый декрет и чутко прислушивался ко всем правительственным кампаниям и общественно-политическим настроениям. Кроме него, никто не следил так внимательно по всей Союзовке. Это давало ему огромную возможность изворачиваться и хитрить. И, когда ему нужно было, Иван Иваныч надежно тыкал законами в мужиков.

— Мы живем по-правильному, — говорили те, — и нечего нам в законы лезти. И это была косная их ошибка.

Даже в таком простом вопросе, как пользование землей, Иван Иваныч смог оплести все общество и ячейку, и сельсовет спутаннейшей паутиной. До передела земли по едокам, он имел полевой пашни около 15 десятин. Но когда передел состоялся, на его долю пришлось не больше четырех с половиной. Ему этого было мало, и он довел полевую землю до 6 десятин — предельная норма для середняцкого хозяйства на данное количество едоков. Но хозяйская справа, скот, излишняя сила и весь размах требовали еще большего расширения земельного клина. Оставалось одно: брать в аренду у маломощных соседей. Арендовать — это для Ивана Иваныча значило: не суметь вывернуться из рамок закона и добровольно стать из середняка кулаком. Но жизнь для Ивана Иваныча — темная и лукавая борьба, и прежде всего за сохранение своего хозяйства формально середняцким, не выше. Здесь нужна стала такая земля, которую можно было б под обложение не включать. Такую землю найти было не трудно при земельном обилии сосновцев. Огромные заполья и подсечные делянки в лесах — раменах керженских — пустовали именно от недостатка удобрений. Но не подумайте здесь подкопаться.

— Заполья наши зря пустуют, — доказывал сельсовету Смородин в ответственной этому обстановке. — Бедняки наши и без этой земли запарились: в поле есть пустоши! А я здесь подходяще культуру могу применить с травосеянием, с машинами. В нагляденье прочим гражданам. Добычи большой уж не жду: хошь бы свой пот возверстать, и то ладно.

— Для нас, хошь все паши. С мужиками сговорись только.

Так соглашался сельсовет с Иваном Иванычем, рассматривая свое согласие, как поощрение культурным начинаниям, земледелию. Перед мужиками на сходе Смородин многократно горячился.

— Это только ваша жадность одна да зависть. Ведь не пашете сами? Нет! Пустует земля? Пустует! Так почему мне ее по согласу с вами не обрабатывать, а?!..

— Плати местный бюджет за нас и работай! — бахнул кто-то сзади.

Но голос Иван Иванович немедленно откопал. Почти гипнотически внушал ему на всю сходку:

— Аяй, аяй, братец ты мой, какое ляпнул: местный бюджет плати! Я на встречу призыву советской власти иду, всемогущо поднимаю хозяйство, новые способы ввожу — сортировки там или сеялки, а ты супротив энтото ломишь. Нельзя так, братец ты мой, на законы лаяться. Этак ты и против закона встать можешь, чего доброго!

— Так то оно так, — кумекали на сходе. — Мы скотину пасем на запольях, вот где заковыка.

— Запашешь, — нечего будет взять стаду.

— Верно, большое стеснение получится с пастбищем.

Здесь Смородину легче стало: сход почувствовал свою заинтересованность. А мужиков провести и надуть куда легче, чем волостную налоговую комиссию.

— Ну, возьмите с меня, коли что! — сразу же предложил Иван Иванович, чтоб заткнуть раз навсегда рот. — Я по закону всегда платить согласен. Пожалуйста!

Но охотно предложив плату, торговался до девятого пота. Только уверял мужиков, что закона такого, чтоб за неполевые земли платить, нет и не было, но что он и согласился на это так только, из желания всеми силами подсобнуть им, мужикам.

* * *

Семья у Смородина небольшая — пять человек.

Сад, лесная пасека, мельница и изобилие скота и прочей живности требовали рабочей силы больше. В особенности летами. Из боязни слететь с середняцкого места работников Иван Иванович не держал. Соседи беднее его, и то нанимали «жней» — работниц на время горячих работ: от мая до сентября. Но Смородин не держал у себя таких, а почти все жнитво, яровое и рожь, сдавал жать «повинно» инодеревенским бабам. В таких случаях жней ни спать, ни обедать к хозяину не идут, с поля и на полосу, все от себя, и хозяин лишь знает только принять наработанное. Это повинное жнитво — кабала для нанявшихся. Снопы должны быть большими, вязка прочной; адская спешка к сроку, постоянная работа отделаться. И нанимаются так только в самых безвыходных случаях: из-за соломы на крышу, за лошадей, при крайней нужде. Молотобу, сминку льна, возку сена с пожен Смородин управлял так называемыми «помочами». «Помоч» — это общее, коллективное начало; помочь, подсобить, выручить всем миром, сделать общими усилиями — гнусно извращалось Смородиным. Он сзывал «на помоч» сосновцев, они молотили, мяли льны, возили сено, пилили, рыли без всякой платы, задарма. Попойка и жратва после окончания Смородину не стоили ничего; мужики же соблазнялись, как мухи на мед. Такой вид найма рабочей силы не влек за собой никаких налогов, и он применялся им широко. Кринка молока ребенку соседки — не зря, не «в отдачу», как в соседях, а чтоб ленок постлать, покосить уповод. Переда или дроги у соседей, обычно, берутся «без спроса», а у Ивана Ивановича это выходило так, что соседя «сами собой» набивались с пособляющими руками. Но и эта невидимая, но чрезвычайно выгодная помощь все же не удовлетворяла всего предъявляемого размахом хозяйства спроса на рабочие руки. Для тяжелой, большой работы требовался постоянный человек, и Иван Иванович держал зиму и лето «сродственничка-сироту» — парня с лошадиной силой и ненадрывным здоровьем — Ильку Слона.

Илька Слон покорно числился «убогим и беспризорным», но жил у Смородина далеко не бесплатно. За два года на краю Сосновки появились сначала

срубцы для избы, потом дворик, потом все остальное. Это Иван Иванович «по сердечной мягкости»,— как он говорил всем,— так расщедрился к Ильке Слопу. Без всяких упреков и поношения свил ему житейское гнездышко, в которое пока до поры до времени не пушал.

— Я от тебя, Илька, не жду благодарности, бог с тобой! — всегда запевал Смородин, как только Илька начинал неотступно рваться на свободу. — Ты мне до снохи пособи только. А там женю сына, — за тебя примуся. Невеста тебе, говорю, примечена от хороших родителей. Не за тебя, а за меня отдают, ты это пойми. Мотри же, старайся!..

Илька страстно хотел стать крестьянином-тружеником и работал за десятилетия.

— Дурак ты, Слон, право, дурак!— травили его в соседях.— Ну-ка одумайся: на кого горб ломишь? Ведь, почитай, только не пашут они на тебе, а то во всем к лошади приравняли!

— Мне-то что: не задарма живу.

— Ушел бы на заработки, так скорей бы дом нажил. А то они тебя еще пять лет просочают.

Иван Иванович хвалил советскую власть слаще и лицемернее, чем простые крестьяне. Мужики без всякого стеснения смело негодовали то на плохого члена в совете, то на бюрократизм и беспорядки в лесничестве. Иван Иванович в таких случаях или помалкивал, или по-лисьи сластил:

— Все мы не без греха. Строго нельзя с них спрашивать. Могут обидеться.

За это волостные партийцы считались ему друзьями и приятелями. В особенности упрочилось их благорасположение после того, как он преподнес волкому кусок довоенного красного шелка на знамя. И десятирублевая тряпка надолго ослепила всю волостную власть. А под прикрытием этого еще больше притеснялись основцы: на мельнице, в хозяйстве Смородина, за каждую мелочь, пустяк. И, чтоб еще больше пустить пыль в глаза, Смородин первым сдал по осени свой налог, пустяшный по своим размерам.

Партийцы гордились им. Считали его культурным и передовым крестьянином.

— Вы берите с него пример, не бойтесь, — говорилось на сходах. — Пора и вам сеять, как он, — сеялкой. А то он кладет удобрения разные, а вы не осознаете сами своих выгод. Подтягивайтесь!

— Хорошо ему, у него все свое есть. А мы семян ждали по весне, понадеялись, а они пришли через два месяца после сева. У всех был недосев, а у него наплескано было зерна видимо-невидимо.

— Откуда что и берется только!

— Из горба беру, да из спины, — говорит в таких случаях Смородин. — Тружусь, забочусь, пекусь!

Но мужики давно открыли загадку его внезапного обогащения после разлуки. И она была не такой мудреной. Смородин просто извлек схороненное от продразверсток и реквизиций, еще при царе нахапанное, добро. А силу и богатство в своем хозяйстве расположил так умело, что к ним нельзя даже и подкпатся. Ретивый хозяин следил за этим бдительно и неусыпно.

Но сказать, что благополучие Смородина никогда не тревожилось, было бы клеветой на всю низовую власть. Оно испытывало порой очень серьезные тревоги, и тревог этих было немало. Другой вопрос, что они проходили для него лишь только грозным испытанием и не обуздывали сугубо кулацкие тенденции его хозяйства, хотя этого вопиюще и требовала вся политика советской власти.

* * *

Первая тревога невзначай пришла с обязательным страховым обложением. Как и говорили бабы, Смородин платил государству за четырех коров, но паству, конечно, за всех. По оплошности секретаря Аркашки, приехавшему агенту

Госстраха попался. именно пастуховский список. И как было там шесть коров, так и записал агент в свой список. Волостной финагент приехал по осени за страховкой с виковским списком. И по нему получили со Смородина за четырех коров, как и значилось в окладном листе по сельхозналогу. Но госстраховский агент такой страховки не принял и запросил вик о строгом расследовании создавшейся путаницы. Тогдашний предвика, вообще не отличавшийся служебной безгрешностью, перед Смородиным и подавно, грех взял на себя целиком. Незамедлительно отписал за всеми печатями, что в пастуховском списке несознательно вкралась описка и только. Другой на месте Смородина восторженно ликовал бы, мирно забыв о прошедшей тревоге, но Иван Иваныч после этого еще больше насторожился. Замазал в пастуховском списке злополучную цифру и отнес Аркашке Щеголихину гуся, якобы «на развод».

Вторая тревога грозовой тучей-бурей крайне перепугала Смородина и принесла немало хлопот. Она явилась в виде неотступного требования комсомольцами задней половины дома под избу-читальню и постоянное помещение для ячейки.

Иван Иваныч даже в семье перессорился из-за этого беспокойства.

— Позови их о празднике да поугости,—советовала Смородиниха.—Неужели жалко для комсомольцев гуся или пары уток. Я бы пиво завела броженное.

Но сам обозвал жену дурой, но согласился:

— Это тебе не волисполкомовы члены. Те мужики степенные, они и почет ценят. А у этих в башках только одна политика, и то, как гвоздями, забита: не раскachaешь! Тут надо другое што, а ты: гуся, да уток! Они такого и вкуса не признают.

Надев растрепанный свой кафтан и облезший до ключев картуз, Иван Иваныч пошел в ячейку.

— Здравствуйте, ребятушки, здравствуйте! — начал он еще с порога. — Как у вас дела идут, чем занимаетесь? Вот бы мне в молру вступить. Желая членом встать для оказания вам членской помощи... Хорошее вы дело затеяли—уголочек себе сыскать. Молодцы вы, чего в сам деле себя стеснять: по задворкам собирать собрания. Вы над темнотою нашей крестьянской задумались; за бедняков, бобылей, батраков ночи не спите, и, знамо, нужно вам теплое, избенное помещеньеце. А то от простуды перехвораетесь, рази долго греху пристать.

Комсомольцы не ожидали этого даже и от него. Готовились принажать, лезть на храпок и только не отступаться. Но ничего этого не потребовалось. Сам вошел в положение ячейки, сам ласково завел речь о нужде-бытье комсомольцев,—чего же еще больше!

— Я, можно сказать, радовался бы еще, коли вы под моим крылом устроились,—еле заметно повернул речь Смородин.—Но, видите, теснота наша мужицкая всему мешает, злодейка. Самим, говорю, занята вся та половина. То с опытными улышками практикуюсь, то с тепловым рассадником шухобчусь. Ведь надо же кому-нибудь хлопотать для крестьянского просветления. Знамо, это правда.

Микита, ответственный секретарь и политический руководитель Сосновской ячейки, едва осилил себя промолвить:

— Оно так... Да окрома тоже извоу нету. Были бы — и тревожить не стали.

— Истинно нету, истинно не стали бы, — сладко-грустно промазал Смородин. — Разве поднимется рука без дрожи на трудовика-крестьянина.

— Может, посажемся. Улы можно в зимнице держать. Она у тебя, как изба, светлая.

— Полно дружок мой: и не говори лучше. Сами в сенях половину валяемся. Пристройечку надо бы завести, да средств не оказывается. Кризис, говорю, задушил проклятый, еще с окаянного Колчака не могу во весь рост подняться. Ограбил, чтоб ему на штык красного воина напороться!

— Не стеснили бы мы: смиренные, — боясь нарушить красноречивость Смородина, робко молвил Микита снова.

Иван Иваныч даже не вымогил, горько выразив на лице полную невозможность квартирования ячейки в своем доме.

Но безысходность положения загоняла ребят в тупик. И как ни старался Иван Иваныч следовать своей тактике: «соглашаться на все, только не ссориться, — ибо сколь ни тяжело это, все ж согласие неизмеримо выгоднее решительного отказа» — из этого ничего не вышло. Ушел с нескрываемым недовольством, ущемленным, обиженным, как беспомощный сирота.

Но ребята наседали. Не давали проходу ни Смородину, ни сельсовету, который совсем отказывался допустить вселение ячейки в его дом. А после строгой бумажки губкомдла, принял до смешного нейтральную позицию.

— Берите, берите, коли вам разрешается, — говорил комсомольцам председатель Агафон Лукин. — А мы свободных изб не имеем, чтобы вас вселять.

Дальше этого содействие не простиралось.

— Держись крепче, держись: может, и отступятся. Мы здесь запретить не можем, раз дело коснулось губернии.

Это говорилось Смородину.

Но как ни хитрился сельский совет, как ни изворачивался Смородин, — ячейка наступление продолжала.

Иначе быть не могло. Никакого жилого места у комсомольцев не было до сих пор. Собирались зимами у Микиты в доме, но после свадьбы старшего брата молодая сноха всех вытурила.

— Куда хотите девайтесь, а в доме вам не место. Грязь тащите, табак разводите, убирать после вас не сладко.

Пришлось вести собрания в банях. После субботы тепло держалось в них все воскресенье, но это, конечно, не могло быть спасеньем. Летом собирались в просторном сенном сарае. Но мужики бранились от боязни нажить пожар. Курение у сена пугало деревню. И все эти непереносные мытарства приводили ячейку к развалу.

— К Смородину, да и кончено! — в сотый раз выносилось категорическое решение. — Иного выхода нет!

И уж были связаны дела и плакаты, оставалось только дожидаться праздника, и переправа к Смородину решена.

Но волк живет овечьей кровью, а кулак эксплуатацией бедняков.

— Раз негу сподходного помещения: заново надо выстроить! — бахнул, словно гром, Смородин. — Пусть всем обществом постараемся. Не в кошель пузану, а нашим же кровным отпрыскам.

Заорали мужики в озлоблении.

— Строй сам, коли пуцать не желаешь.

— Нам не до этого.

— Пускай к себе: живешь, как помещик, чего тебе.

— И верно, у него слободный дом, а нам не под силу сейчас тратиться. Без соли живем, — заработать некогда.

На деревне стояла пора ярового сева. Все шухоботились в поле от зари до зари за землей. Пообедать как следует не было времени, лошадей недокармливали — гнали с работой. И вообще, конечно, мужики были правы, отказываясь от постройки избы для комсомола всем обществом. Правильней было бы тогда, когда основцы действительно добились постройки избы только за счет Смородина. Только за счет сильного должен подниматься и крепнуть всякий маломощный и нуждающийся.

А Иван Иваныч, защищая свое хозяйство, предпочел превратиться в пламенного агитатора за постройку комсомольцам дома всем обществом.

— Мы должны о них позаботиться миром. Ведь не на белом снегу им прозябать все время, не по чужим дворам, шарахаться. По бревну, по тесинке сложимся, — вот и новый дом!

Мужикам было не до возки леса, не до найма плотников. Но в дальнейшем Иван Иванович повернул дело так, что об остальном позаботились сама ячейка и обрадовавшийся сельский совет.

В результате — новая изба в Сосновке и новая «доблесть» Ивана Ивановича Смородина. В отосланном укому протоколе ячейки, между всем прочим, сказано:

— «По инициативе сельсовета и крестьянина Ивана Смородина нам построен новый дом с полным оборудованием к нему: окнами, печью и одним старым стулом...»

Иван Иванович пришел к комсомольцам, однако, за более существенной благодарностью. Стал просить устроить общественный воскресник, т.е. «помоч», чтоб загатить ему мельничную запруду. И... комсомольцы пошли и еще повели за собой пол-Сосновки.

— Дело это не такое страшное, — угрожал жирным обедом обгоренных труженников Иван Иванович. — Всего какая-нибудь сотня рублей требовалась. Но мне расположение ваше дорого, вот что. Крепкий соглас меж нами должен быть и в будущем.

Четыре года назад эта мельница была отобрана в общество, но Смородин ломал по ночам колеса и отказался наливать жернов, изработанный до отказа. Пришлось опять ему возвращать. Она была хотя и небольших размеров, но в хозяйстве являлась немалым подспорьем. Размалывая около 30 — 40 пудов за сутки, она, помимо помольной платы, приносила невидимый доход: пыль, отруби, крохи. Налог был за мельницу небольшой, кажется не выше восьмидесяти рублей, но всякий знает, как выгодно быть в деревне мельником.

* * *

Как только перебрались комсомольцы на радостях в новую избу, стали ломать головы: что делать?

— Эх, жалко, что нет у нас кулачья, — горячо вскипел Микита на деловом заседании, после получения директив о нажиме на кулаков. — Вот предписывают борьбу вести со злой прослойкой, предлагают отстаивать перед ними бедняцкие интересы, а у нас чорт знает что и за деревня: ни кулака, ни попа не имеется!

И чуть не кусал себя со злости:

— У нас политически пассивная обстановка в деревне. Хоть в другую перебираться.

Его соратник, комсомолец Федот, зевал с хрипотой, потягиваясь.

— Руки вот чешутся, — говорил он. — Вот, теперь бы мне пузана-живодера сюда подать! Показал бы я ему такой нажим, аж одно мокрое местечко останется.

— Мы бы обуздали его!.. Остригли бы за мое поживаешь!

— Мы бы его взяли в работу!

Желание бороться толкало их искать кулаков по своей деревне.

— Давайте порядковый список крестьян фактически разберем. Может, что и окажется. А то, о чем же в уком станем отписывать.

Искали вечером по монографному, поселенному списку, искренно стараясь обнаружить кулака. Сверялись с декретами, с нормами предельной мощи хозяйства для определения его категории, но поиски их были безрезультатны и горьки.

Им кулак казался как на плакате — в горшчатой широкой рубахе и в жилете, украшенном тяжелой цепью во весь живот. Они полагали, что из уст кулака может исходить только злоба и хула на советскую власть, а не сладенькое лицемерное подлизывание. Дескать, кулак не должен совершенно выносить советского строя; он не терпит коммунистов, комсомольцев давит, как клопов, и знает лишь похаживать с ременной плетью, эксплуатируя людей старинными приемами.

Иван Иванович не дремал. Он прежде всего искусно маскировался. Тяжелого сукна сборчатый кафтан он сменил на затасканный кислый зипунишко.

Бутылчатые сапоги с блеском уступили место дряхлым лыковым лапоточкам, а широкий картуз-блин заменил картуз-рвань. Это, может быть, не всегда, но непременно для сходки, для отвода соседской зависти. В гостях у попа, с гостями дома, — отчего ж и в хорошенькое не притряхнуться. И Смородин добивался этим многого.

Когда приехал секретарь уика, партиец до мозга костей, для проведения самообложения, то Ивана Иваныча отвел в сторону первым.

— Этого можно и не писать. Посамостоятельной кого-нибудь дайте!

Иван Иваныч стоял в рванном зипуне и в растрепанных ошметках, как нищий со слезящимися красными глазами.

— Мы с тобой, дядюшка, о ссуде потом покалякаем, — утешил его партиец. — Подмогнуть тебе, видимо, надо.

Мужики прыснули. В насмешку заговорили:

— Правильно. Самый, что ни есть бедный.

— В точку угадали гражданин-товарищ: погорелец он у нас, сирота.

— Пожалеть стоит.

Иван Иваныч обрядил нос подчеркивающе громко. Тянуть дальше было опасно. Шутка могла кончиться не совсем ладно. Подошел к секретарю, молвил вкрадчиво:

— Пиши и меня в списки. Платить жалаю по своей сознательности... И чтоб другим не обидно было.

Секретарь отметил Смородина с радостью и после собрания похвалил. Но провести самообложение по принципу мощности хозяйства не сумел. Смородин с небольшой кучкой зажиточных, во главе с сельсоветом, перекричали остальных:

— Коли земля по едокам верстана, и налог так же взыскивай.

— Это вовсе не налог, — безнадежно и глухо голосил партиец. — Это именно не налог, граждане, а такое мероприятие, чтоб с одних больше взять, а с других ничего.

— С одних больше, а с других ничего... — ехидно повторил Иван Иваныч. — Это, значит, мне с едока по десяти пудов платить, а Ефиму и по десяти фунтов не доведется. Разве мои едоки из другого теста, чем Ефимовы, а? У меня едок человек и у Ефима едок не ягенок. Что же ты это нам толкуешь, садова голова? Это опять супротив закона выйдет. А нонче законы мы сами знаем.

Крик смординской группы злобно пылал над сходкой. А так как классовой размежевкой в Сосновке даже не пахло, то секретарь предпочел за лучшее согласиться. Иначе могла просто совсем сорваться кампания. Пришлось бы ехать в уезд с оскоминной.

После сходки мужики разбрелись немедля. Один Смородин напевал в уши приезжему.

На гроши и материны сарафаны детей обучил я. А все для того, чтоб примерию оказать темноте нашей. Крестьяне-то не понимают пользы от обучения, пускают деток повесничать, а я в люди вывел и до учителей выучил.

Секретарь слушал. Разве не лестно после выполнения официальных дел тесно и запросто сознакомиться с «настоящей массой».

— Прохвостень ты, вот кто! — шипели мужики, глядя на подлизыванье Смородина. — Еще старой силой орудуешь. С ничего бы так не поднялся.

Пока находился уездный гость в Сосновке, Смородин от него не отставал. «А вдруг кто нашепчет исподтишка!» — грезилось ему. Но при самом разве решится кто подать робкий голос.

Гость завернул к Ивану Иванычу без стеснения.

— Вот как мы живем, смотрите, — встретил он его дома. — Все на виду.

Этому «все на виду» Смородин придавал огромное значение, не меньшее, чем укрыванию и прятанью. Оно предназначалось для всех посторонних, но только не для себя. Для своего благодушия у него была по-городскому отделана

задняя изба дома. В ней вместо лавок красовались венские стулья. На окнах горела герань, по углам росли инжир, фикусы и японские розы. Окна выходили в густой яблоневый сад, огороженный плотным тыном. Чужим сюда не было ходу.

«Ни к чему нутро выворачивать: кишки видны будут», — этого строго придерживался сам Иван Иванович и требовал этого же ото всей семьи.

* * *

Сморозин неусыпно следил за уровнем своего хозяйства и не поднимал его формально выше середняцкого ни на иоту. Он прислушивался к общественному мнению о себе и всячески ухищрялся не вывертываться из спасительной социальной оценки: с е р е д н я к! Эта кличка для него буквально значила: «Будь здоров! Все обстоит как нельзя лучше, благополучно. Благодушествоуй и торжествуй!».

Для этого Иван Иванович больше всего следил за советским законодательством и до тонкости разбирался в нем. Постоянно выписывал две газеты: центральную и местную. Помимо всего, это ему давало повод для лишней рисовки.

— Я газеты выписываю, выписывай и ты, Ефим, — в насмешку говорил он соседу. — Я передовой крестьянин и от этого живу так, а ты маешься.

Ефим, предположим, и без Сморозина знал великую пользу постоянного чтения газет. Но виноват здесь все же не он, сидящий без соли вторую неделю, а скорей ячейка, не наладившая подписку за счет общества. В крайнем случае, на газету для таких Ефимов можно было раскошелиться и уезду из местных средств. Но щедрости этой не было, и читал газету в Сосновке, далекой и глухой деревне, один Иван Иванович. Сами-то комсомольцы при нужде ходили к нему за газетами.

Помимо всего этого Смородин был осторожен до мнительности. Так, однажды на сходе мужики раскричались на него:

— Мироед ты! Держишь шесть коров, а платишь за половину. Когда-нибудь и до тебя доберемся.

И в ту же ночь угнал Смородин половину скота к замужней дочери, в Осиповку. Через неделю на деревне запала ссора, а через другую — коровы очутились на своем дворе. Может и спроста погорячились мужики, для острастки только, а схорониться все ж никогда не лишнее.

Был Иван Иванович и «безголосым». А все из-за своей жадности.

На мельнице в желтом сосновом бору Иван Иванович с большой опаской «пособлял» веснами своим помольцам. Исподтишка давал хлеб до нового урожая. Но «помощь» была такой безбожной, что прибежавшие к ней не вытерпели и донесли каким-то чудом в губрабкрин. Замять дело не довелось, и Иван Ивановича лишили за чрезмерное ростовщичество прав гражданина республики. Здесь Смородин заметался безумней, чем в бреду смертоносной болезни. Рыскал по уезду, был в губисполкоме, в редакции газеты, но на этот раз нигде не выгорело. Не было конца-краю тягостным мукам. С часу на час ждал строго государственного взыскания имущества. В особенности, дрожал и боялся за мельницу и разделанные заполья.

Так прошло все лето; наступила осень. В хмурый и ненастный вечер, завернул проездом к Смородину лесничий, бывший управляющий крупного лесопромышленника. Всю ночь в щели занавесок задней горницы пробивался режущий темень свет. А на утро Смородин уже поступил на службу в государственную лесную дачу. К весне в добром здравьи возвратился в Сосновку с профбилетом Всеработземлеса и во всех правах тотчас же восстановился.

— Хорошо! Теперь никаких ошибок, никакого зевания, никакой поблажки, — сказал Иван Иванович самому себе. — А уж если давать нынче, то так, чтоб с рук сходило.

У Ефима все лето пустовал двор, и назойливо валялась на крыльце молчаливая шлея с хомутом.

Госстрѣх выдал только сорок рублей. Комитет крестьянской взаимопомощи десять. Госселькредсоюз — ни одной копейки.

— Поди разбирайся и жалуйся, — получил он ответ на тридцатый приход туда.

И только с полсотней ходил Ефим каждый понедельник на конный базар и в ответ слышал одно:

— Полтораста!..

Это — средняя цена для крестьянской лошади, хотя и не резвой, но соху, борону все ж потащит.

Как только возвратился Иван Иванович из дачи, Ефим вечерами зачастил к нему. Возвращался поздно, смятый и пасмурный. Все ж в один из сероглазых вешних понедельников возвратился с базара с длинношерстной мышастой лошадью, которую Ефимиха и провела через заслон с продернутым поясом в ворота своего двора.

За чертой

В СТРАНЕ МИРАЖЕЙ

Ролана Доржелеса.

Пер. Зин. Львовского.

Когда вы оставляете Пальмир и по слабо намеченному следу, ведущему на Сукне, начинаете погружаться в пустыню, вы довольно скоро замечаете вправо от себя большое озеро, окаймленное пальмами. Трудно издали определить, что это: пальмы или же высокие камыши, но вы ясно различаете тоненькие, неверные отражения в воде.

Обрадованный путник стремительно уносится вперед, не обращая внимания на то, что его сапоги вязнут в песке. Наиболее нетерпеливые на бегу снимают свои черные очки. Однако, по мере того, как они приближаются к воде, пейзаж не только не проясняется, но мало-по-малу теряет свои видимые очертания. Создается впечатление, точно озеро дробится и совершенно неожиданно со всех сторон появляются маленькие пруды. Во власти набежавшего сомнения путник делает еще несколько шагов вперед, бежит до ближайшего пригорка... Пруды начинают разбегаться, уменьшаться, испаряться, и от них ровно ничего не остается на тот момент, как вы подымаетесь на вершину холма. Это—мираж, ничего больше...

— Так оно и есть! — весело воскликнул офицер, который сопровождал меня.—На этот раз вы здорово попались!

— Верно!—отозвался я.—Вы правы.

И, действительно, как я ни напрягал зрение, я уж ничего больше не видел,—ничего, кроме песка, камней и песколых соляных пятен в небольшом ущельи, на поверхности высохшего болота. Возможно, что это и было то самое озеро, которое только-что привиделось

мне. Что же касается оазиса, то его заменяло множество пучков жесткой, мыльной травы, от которой даже верблюды отказывались.

— Это — наиболее красивая часть Сирийской пустыни! — продолжал мой попутчик, который, очевидно, гордился тем, что он сообщает мне такое множество интересных сведений. — Если у наших шоферов имеется свободная минутка, они делают большой крюк специально для того, чтобы показать это местечко туристам.

Ах, вот как! Этой единой фразой офицер разбил все мои иллюзии. Охотно веря всему тому, что я читал до сих пор в книгах, я всегда полагал, что мираж непостоянен, как сон, переменяясь, как заход солнца, самовольно подымается то там, то здесь, и—для того, чтобы обмануть заблудившегося кочевника, подчиняется лишь собственному капризу; но оказывается, что я жестоко ошибся. Мираж есть точно такой же, строго определенный, пунктуальный пейзаж, как и многие другие. Это — панорама, имеющая свое обозначенное место и поджидающая своего плаката: «Мираж на расстоянии 500 метров». Это — феерия, ушедшая всеми своими корнями в землю и в этом отношении мало чем отличающаяся от участка яблочных деревьев.

В первую минуту это открытие так ошеломило меня, что я нахмурил брови и очень сухо заметил капитану с красным жилетом:

— Ради бога, не объясняйте все это оптическим обманом... Я и без вас все знаю...

К счастью, мой спутник не обиделся на такое резкое заявление. Очевидно, в пустыне в выражениях не стесняются. Когда мы снова вышли на проезжий след, он указал мне пальцем на голубеющие вдаль скалы Джебель-Дахека, которые суровыми стражами застыли на восточной части горизонта.

Продолжая дуться, я небрежно повернул голову, но неожиданно получил такое удовольствие, что все мое плохое настроение, как рукой сняло.

Джебель менялся на наших же глазах. Он рос, ширился, тут же на месте уменьшался и менял свои очертания с каждым поворотом наших колес. Я был так восхищен, что эта волшебная, клубившаяся на солнце гора показалась мне еще прекраснее того миража, который только-что обманул меня. Неужели же и она лгала? В какой же момент я увижу ее настоящую вершину? Я задавал себе множество вопросов, но ни на один из них не мог найти ответа. В первую минуту я узрел огромный массив, расположенный посреди пустыни. Вдруг в самом центре его образовалась брешь, которая разрешила увидеть небо между двумя расходящимися частями. Через это ли ущелье лежит наш дальнейший путь? Едва лишь в моей голове мелькнула эта мысль, как массив разорвался еще в двух-трех местах. Затем таких трещин появилось двадцать-тридцать, и через несколько минут от величественной горы не осталось ничего больше, кроме нескольких отдельных остроконечных верхушек, которые, в свою очередь, таяли, как сахар в чашке чая.. Не стало Джебель-Дахека! Неужели же и это был мираж? Нет! Он не успел еще пропасть из виду, как вот он снова появился. На моих глазах исчезнувшие было ущелья начали сдвигаться, сближаться, а горные вершины стали терять четкость своих очертаний, вдруг вытянулись в одну линию и в миг образовали ту же самую волшебную гору, которая опять застыла на восточной части горизонта.

Справа, на том самом месте, где бесконечность сливалась с небом, мы увидели новые озера, окруженные вы-

сокими травами и настолько ясные, что мы снова испугались обмана. Но я мог сколько угодно закрывать глаза, снова открывать их и напряженно вглядываться в даль, — замеченный мной остров не исчезал... Нет... Но вот он мало-по-малу превращается в остров, а озеро — в болото, и в ту минуту, когда мы подехали совсем близко, мы увидели невысокий пригорок, представлявший собой могилу бедуина со столь характерной каменной оградой..

И все это происходило при свете дня, как-будто совершенно естественно и нормально. В пустыне не тени, а солнце создает тайну. И в этом мире неутолимой жажды путник всегда и неизменно видит только воду.

Вдруг наш гид издал острый крик.

— Сбаа!¹⁾ — заявил он и указал пальцем на маячившие вдаль черные силуэты.

Действительно ли он увидел что-нибудь или же хотел пошутить надомной? Сам капитан усомнился в правдивости этого заявления и должен был прибегнуть к помощи бинокля. Через минуту он заметил:

— Нет, это не шевелится..

Попрежнему мираж... Мы катили в колдовской стране. Вершины гор, озера, купы деревьев, — все-все было химерично, и я нисколько не удивился бы теперь, если бы внезапно исчезла наша тень, которая все время послушно бежала по песку.

Повернув голову, я снова поддался иллюзии, и мне показалось, что вдоль гребня холмов пробираются верблюды или же всадники. Вполне уверенный в том, что надо мной опять колдует все тот же мираж, я воздержался от восклицания, готового сорваться с моих уст, и начал терпеливо ждать, пока эта картина исчезнет.

— Однако, как все это четко — пробормотал я только для того, чтобы показать, что на этот раз я не попался на удочку.

Но мой друг немного приподнялся

¹⁾ Племя Сбаа или же Львов — одно из самых значительных в Сирийской пустыне. Его две ветви насчитывают 4.000 палаток и 25.000 кочевников.

на сиденья и в виде козырька приставил ко лбу свою загорелую руку.

— Бедуины! — воскликнул он без всякого промедления. — Правь прямо на них.

Шофер повиновался приказу, и, действительно, мы через самое короткое время увидели караван развьюченных верблюдов, которых арабы вели на пастбище. На этот раз они не испарились на моих глазах. Арабы при виде нас соскочили на землю и, отчаянно жестикилируя, побежали вперед; но капитан не нуждался в том, чтобы ему показали дорогу. Какой-нибудь пригорок, могила, поворот узда, — это было для него вполне достаточно.

— Эрек! — коротко произнес он, указывая, мне на несколько разрушенных хижин, окруженных ячменными полями.

Колодезь находился недалеко. Автомобиль, ковыляя на ходу, взбирался по откосу, усеянному норами грызунов. Густые тучи кузнечиков поднялись над нашими колесами. Насекомые спиралями взвивались в воздух, вплотную задевали верх нашей машины, как град падали на землю, и моментами казалось, что в выси бушует песчаный буран. Ощущая острую боль в щеках, заткнув рот шарфом, я вынужден был закрыть глаза и терпеливо сносить натиск этого живого дождя. Когда я раскрыл глаза, мне показалось, что мираж снова сыграл со мной злую шутку: пред мной высились палатки Сбаа.

Меня предупредили:

— Выйдя из автомобиля вы сделаете несколько шагов вперед для того, чтобы выразить свое почтение шейху. Тут вы остановитесь и подождете, пока Раккан сделает остальную часть пути и выйдет вам навстречу.

Все еще оглушенный, я в точности выполнил преподанный урок и, словно с неба, упал в совершенно незнакомый мне мир. Меня мгновенно окружили воины с заплетенными волосами, вожатые верблюдов в лохмотьях, старые колдуны, вдвое согнувшиеся над своими палками... На меня налетели испуганные овцы, бросившиеся враспы-

ную при виде общего беспорядка. За мной следили невидимые женщины, смех которых я слышал за моей спиной. Я медленными, размеренными шагами пробирался между белыми и черными палатками, на которых кое-где красовались длинные ковры, выброшенные в честь моего приезда. Я удивлялся самому себе и словно не понимал, каким образом я очутился здесь. Не сон ли все это? Еще немного и я ущипнул бы себя...

Вдруг я увидел, как из белой палатки, красовавшейся в центре лагеря, с неторопливым и величественным видом вышло несколько человек. Они были одеты лучше остальных, и я тотчас же обратил внимание на их богатые абае (плащи), падавшие тяжелыми складками, на перевязи, расшитые серебром, и на безупречные keffiyé¹). Впереди них с янтарными четками в руках подвигался молодой человек, который при виде меня первый поднес руку к своим губам, а затем ко лбу.

Осмелю ли я признаться в этом: этот церемониал преисполнил меня радости. И вовсе не потому, что он польстил мне, — ничего подобного! Но мне вдруг почудилось, что я раздвоился, что я узурпировал жизнь другого человека, что мне почти не под силу признать самого себя в этом путешественнике в высоких сапогах, который, словно в сказке, обменивается любезностями с начальником арабского племени.

— Хвала богу, который привел тебя сюда...

— Да будет мир с тобой!

В продолжении одной крылатой секунды я увидел себя ребенком, который с разгоревшимися от возбуждения щеками склонился над романом с приключениями, и мне так захотелось, чтобы этот восхищенный мальчик преодолел закон времени и пространства и хоть на миг признал себя в знатном госте, посетившем пустыню... Остался ли бы он доволен своим портретом?

Выпятив грудь, опершись одним кулаком в бок, приняв высокоторже-

¹) Вуаль, которую арабы обвязывают вокруг головы.

ственный вид я улыбался моему хозяину.

«Веселое лицо лучше полной руки», — гласит восточная поговорка. И, когда шейх неловко пожал мне руку, я сразу выпалил ему:

— Мы просим прощения в том, что беспокоим тебя в тот момент, когда твои люди еще не разбили лагеря, но наша нетерпеливая дружба не могла дольше ждать...

Привыкший к менее помпезным изьявлениям дружбы, мой хозяин, вероятно, пришел в восторг. По крайней мере, когда переводчик передал ему содержание моих слов, он слегка поклонился и обнаружил тесный ряд белых зубов. Прижав затем руку к груди, он вернул мне комплимент:

— Бедуин любит французов, как французы любят бедуина! Есть путь, который бежит между нашими сердцами.

Мой восторг докатился уже до предела и, пожалуй, перешел за него. Я, как настоящий кади из моих книг, чувствовал себя переполненным до краев метафорами, похвалами, сентенциями и поучительными словами. Подойдя к своей палатке, шейх сделал выразительный жест рукой:

— Tafdd-al! (Прошу побаловать)

Схватив затем один из высоких кольев, которые, по мнению бедуинов, являются душой их палаток, он с пафосом воскликнул:

— В моем доме прибавилась еще одна колонна!

При этой последней лестной фразе мне почудился запах фимиама, но офицер-мехарист, находившийся рядом со мной, весело рассмеялся:

— Будьте уверены, что Раккан не останется у вас в долгу! — сказал он мне. — Поэтому можете не стесняться и жарьте, что угодно!

Несомненно что вся эта история очень забавляла меня, но при всем том я отнесся к моей роли очень серьезно. Мне казалось, что престиж моей страны требует от меня, чтобы я заставил замолчать шейха, но... он продолжал говорить почти без остановки и с большим оживлением:

— Он просит прощения в столь скромном и недостойном вас госте-

примстве! — небрежно резюмировал его слова переводчик, которому, очевидно, приелись все эти благоглупые излияния вежливости.

Еще более осмелев, я ответил следующей шуткой:

— Пусть могущественный вождь Сбаа не издевается над своими друзьями! Люди его племени видны на всех дорогах и следах, а на боках его бесчисленных верблюдов сверкает так много медных блюд, что я начинаю бояться, как бы они не унесли с собой все солнце...

Эта шутка в чисто арабском духе так очаровала Раккана, что он повернулся к своим приближенным и от души расхохотался вместе с ними.

— Дело идет на лад! — подбодрил меня капитан в красном жилете.—Если вы намерены подать прошение о том, чтобы вас зачислили на место по службе местного контроля, я немедленно же дам свой одобрительный отзыв.

Он был так высок, что краем своего кэпи почти касался притолоки, и впервые за все время я позавидовал его прекрасному росту. Правду сказать, я еще завидовал легкости и непринужденности его тона и время от времени, чут ли не против собственной воли, я посматривал в его сторону для того, чтобы знать, как мне держаться в присутствии столь высоких особ. Он довольно развязно расположился на ковре, одну ногу подогнул под себя, другую вытянул вперед и слегка прислонился к вычному седлу, украшенному тканями и помпонами. Я решил полностью подражать ему и, в свою очередь, прислонился к седлу, лежавшему за моей спиной.

— Пожалуйста, повыше! — предложил мне наш хозяин. — У нас принято сидеть довольно высоко.

На этот раз я знал ту фразу, которую предписывает хороший тон:

— Прошу тебя, не утомляй своего сердца...

Внутренно гордясь своим удачным дебютом, я с небрежным видом взял из рук слуги чашку кофе. Мой спутник все время следил за мной, и я читал в его голубом взоре покровительственное одобрение. Он смотрел на меня от

части как на своего ученика и был, очевидно, доволен достигнутыми успехами.

— Отпейте три раза! — напомнил он мне.

Но я не забыл преподанного мне наставления и после третьего глотка накрыл чашку рукой и с торжественным видом вернул ее слуге. Раккап, который, в свою очередь, внимательно следил за мной, заметил мой жест.

— Однако, он знает наши обычаи! — с доброй усмешкой сказал он переводчику. — Уж не думает ли он сделаться бедуином на манер того английского пастора, которого так не взлюбили гостившие у нас французы?

Никогда до сих пор я не испытывал такой полной, такой странной радости. Приподнятая часть нашей палатки образовала нечто в роде кровли, и, оставаясь в благодатной тени, я мог видеть весь лагерь, горевший в знойных объятиях солнца. По быстрому знаку огромного парня, черного, как Судан, ребенок, весь покрытый амулетами, принес мне подушку, и, лениво вытянувшись и вкушая горький-прегорький кофе, я стал следить за тем, как для моего удовольствия жило и суетилось арабское племя.

Наибольшее оживление наблюдалось вокруг колодца. Там происходила совершенно невероятная суতোлка, животные смешались вместе с людьми, и воздух был полон треска и шума. Несколькими верениц людей на бегу подымали в воздух длинные веревки, с которых свисали кожаные ведра, и вся толпа радостно напевала:

— Как хороша вода, которую мы находим на дне колодца... Только сильные люди могут тянуть так, как мы...

Переполненные доверху ведра уже давно оросили песок, и женщины, подгонявшие скот к корытам, шлепали по грязи, подымавшейся до самых лодыжек.

— Не слишком заглядывайтесь на них! — тихо посоветовал мне мой попутчик.

Напрасный совет! Все женщины были страшно уродливы, причем всего неприятнее действовали их татуированные подбородки, словно покрытые

недельной бородой. Засаленное платье, грязные волосы, набор медных колец на запястьи, блестящая пуговица в левой ноздре, — вот в чем заключался весь их шик. У колодцев они утоляли свою жажду после скота. За столом они ели лишь раньше собак. Тем не менее на фоне этой экзотической, почти фантастической декорации, с лихими наездниками и весело распевавшими воинами эти женщины отличались какой-то особенной, дикой, варварской красотой, и я не отрывал взора от высоких девушек с прекрасными грудями, носивших на голове тяжелые кувшины, которые были похожи на своеобразные короны, и из которых проливалось молоко.

— Мы, мужчины, ничего на себе не носим! — с мечтательным видом произнес переводчик, мусульманин из Бейрута.

Когда была выдоена последняя овца, и пастухи распустили стадо, лагерь покрылся животными, которые с отчаянным блеянием бегали во все стороны. Маленькие ягнята с жалкими, молящими глазами были размещены под огромной палаткой, и встревоженные матери, усиленно разыскивая своих детей, долго рылись в этой клочковатой массе. Снаружи терпеливо ждали бараны с длинной шерстью и с колокольчиками на шее. Пастухи с ревом и рыканьем подгоняли овечью толпу, тяжелые хвосты которой поудили на жировые передники. Все животные были помечены одним и тем же пятном «эinne» на лбу и благодаря прошлогодней шерсти казались огромных размеров.

— Когда сладчайший бог превратит их шерсть в золотые луи, ты сумеешь закупить весь Дамаск! — удачно польстил мой попутчик, обращаясь к шейху.

— Только Аллах... — пробормотал бедуин. — Что такое деньги? Ничто! Тот, у кого имеется один металл, не знает что делать с ним, а человек, обладающий капиталом в сто ливров, просит бога удвоить эту сумму! Что деньги? Тлен!

В течение нескольких минут были разбиты новые палатки, и вскоре весь пригорок покрылся белыми и черными

«домиками». Все это проделывается чрезвычайно быстро: на земле раскладывают крышу, которая изготовлена из овечьей шерсти и которую растягивают за концы, прикрепленные к кольям; по данному знаку вся семья скользит под крышу и на плечах подымает весь «дом». Первым делом после того водружают камышевые стенки, которые отделяют кухню и женскую половину от *moudif'a*, где принимают гостей, а затем бросают несколько матрацов, циновок, одеял и такие необходимые принадлежности домашнего хозяйства, как блюда из пестрого камыша, печи для хлеба, мельницы для зерна, котелки, бурдюки и т. д. После всего этого остается только просверлить *ouickra*, то-есть квадратную дыру для огня и зажечь охапку соломы. Готово: бедуин у себя!

Щуря глаза и вдыхая сильный запах животных, я следил за всем этим в состоянии некоторого опьянения, и мне казалось, что я все дальше и дальше ухожу в те века, когда кочевые орды Мауалиса и Бени-Каледа впервые наводнили эту пустынную страну. Что, собственно говоря, изменилось с тех пор? Ничего, ровно ничего... Те же самые нравы, те же лохмотья, те же слова. Время не в состоянии писать что-либо на песке...

Разве же вот этот богато запряженный верблюд, на спине которого покачивается пышный, оттягченный коврами паланкин, не выехал из Йемена много-много веков тому назад, вместе с остальным караваном царицы Савской? Я не отрывал взора от этого недвижимого алькова, словно ждал того, что сама царица неожиданно отдернет занавески балдахина.

— Гарем Раккана! — снова шепнул мне предусмотрительный офицер: — Будьте осторожны и не слишком заглядывайтесь, главным образом на этих женщин! — прибавил он совсем тихо.

Верблюд-мехари опустился на колени пред нашей палаткой, и три женщины, приподняв ковры, которые покрывали их *каколэ*¹⁾, легко соскочили на

землю и единым скачком очутились за ширмами. Они так живо прошмыгнули мимо меня, что я успел заметить лишь их развевающиеся платья и татуированные ноги. Что касается Раккана, то, притворяясь совершенно индифферентным, он сделал вид, будто ничего не заметил, и, взяв на руки своего сокола, начал гладить его по голове и тихо напевать. После того он окликнул собак: «Мясник! Победный! Злой!», и когда три собаки улеглись у его ног, он и их начал ласкать своей загорелой, удлиненной рукой. Очевидно, по ту сторону ширм следили за нами: я судил об этом по взрывам веселого смеха, которые все время доходили до нас. Но бесстрастный шейх не соизволил слышать что-либо постороннее и ни разу даже не повел бровью.

Вслед за женами шейха прибыли другие женщины. Некоторые приехали на крупах вьючных верблюдов, но подавляющее большинство пришло пешком, следом за мужем, который ехал верхом. Они сгибались и чуть ли не падали под тяжестью наваленной на них поклажи, но ни единый всадник не повернул к ним головы, и ни единая рука не протянулась в их сторону, чтобы помочь им.

— В пустыне вековые традиции не меняются! — пояснил мне переводчик, который, очевидно, хотел поразить меня этим заявлением.

Почти все женщины носили длинные косы, которые еще более удлинились искусственными постишами, сделанными из той же самой грубой шерсти, что и крыши палаток, и все их драгоценности, как-то: монеты, амулеты и всевозможные раковинки, были вплетены в их волосы.

— Если умело взяться за дело, — совсем тихо продолжал все тот же соблазнитель-офицер, — то этих женщин легко раздеть донага! У них на теле очень оригинальная и интересная татуировка. Вот вы сами увидите, если захотите...

Нет! Откровенно говорю, что я не горел ни малейшим желанием видеть этих женщин голыми. Ну, какой интерес в том, чтобы видеть, как падают с этих уродливых тел грязные платья,

1) Корзины с подушкой для езды на верблюдах или же ослах.

которые они несменно носят днем и ночью в продолжении всего года, до самого конца Рамадана? Говорят, что бедуин — очень верный муж. Я вполне понимаю причины подобной верности. Что же касается бедуинки, то если, па-че чаяния, она изменяет мужу, ее неминуемо ждет смерть. Таков закон...

— Традиция...—добавляет мой попутчик. — Традиция в самом чистом ее виде.

Постепенно прибывали в лагерь запоздавшие группы, которые сделали крюк для того, чтобы найти ближайшие пастбища, и я долго видел на самом краю горизонта отдаленные вереницы равнодушных верблюдов, сопровождаемых верблюжонками с твердыми, жесткими ногами. Как только животные напивались, вожатые с палкой в руке направлялись к палатке вождя.

— Мир с тобой! — говорили они, входя и кланяясь.

— Да будет дважды мир с тобой!

И бедуин усаживался рядом с друзьями, недвижимый, как скала, с отдаленным, затерявшимся где-то взглядом и поджатыми губами. Вначале их было очень немного, только старики и несколько юношей, которые умываются верблюжьей мочей для того, чтобы загрубить кожу, и при входе целуют руки всем старшим, присутствующим в палатке. Но затем, мало-по-малу и по мере того как день клонился к закату разведчики, отправившиеся на поиски пастбищ, возвращались к лодцу и расширяли полукруг у палатки вождя. Ни единого движения, ни малейшего шума... Какой-то грубый вожатый верблюдов позволил себе протянуть руку, чтобы взять головню и зажечь свою папиросу, но единого слова Раккана было вполне достаточно для того, чтобы остановить наглеца, из руки которого тотчас же выпала головешка. Только высокий черный парень продолжал носиться взад и вперед, несколько не стесняясь, расталкивал воинов и очень часто и очень фамильярно склонялся к уху шейха.

— Что делает здесь этот негр с таким важным видом? — спросил я у переводчика.

Тот ответил мне без всякой иронии в голосе:

— Ровно ничего! Это — раб...

Как странно, что четырьмя словами можно так стремительно разбить весь строй человеческих мыслей! Моя радость вдруг сделалась более строгой, сдержанной, и я уже не улыбаюсь больше. Солнце, игравшее в пустыне, исчезло так внезапно, словно его проглотил песок, и закат, горевший до этой минуты самыми багряными и пожарными красками, сразу побледнел. Наступил час великого покоя, когда блеющие овцы уводят к себе своих ягнят. Все пребывало в полном молчании. Мой компаньон по пути с мечтательным видом прислушивался к голосу пятнадцатилетнего бедуина, который удалялся, распевая песнь о несуществующей любви:

«Где она, та девушка, чьим прекрасным глазам завидуют газели? Она наполнила мою кровь опьяняющим напитком, и с тех пор я потерял рассудок... Где ты, девушка с...?».

Затем вечернее дыхание унесло прочь остальные слова песни.

Я тоже не осмеливался говорить. Раккан, сидевший против меня, раздирал под плащом кусок сырого мяса для своего сокола, который энергично и выразительно хлопал крыльями.

— Бери, Солнечный Жар! — шептал он: — Бери, Пламенный!

И в мирной, безмолвной палатке ничего не было слышно, кроме шопота шейха и острого клекота птицы...

Потребовалось трое человек для того, чтобы принести оловянное блюдо с ужином: барашка, разрезанного на части и покоившегося на толстом слое вареного риса. И усевшись по-турецки, засучив рукава до самого локтя и не имея в своем распоряжении ни вилки ни ножа, мы начали рыться пальцами в этом рагу. Раккан, из условной вежливости, не хотел есть вместе с нами, но та же условность требует, чтобы гости настаивали на том, чтобы шейх принял участие в трапезе. Раккана недолго пришлось просить. Более смущенный, чем любой бедуин на евро-

пейском банкете, я внимательно смотрел за тем, как мои соседи набирали пальцами рисовые булетки, и всячески старался подражать им, но все мои старания кончились только тем, что я отчаянно измазался, и тотчас же, предавшись отчаянию, я приналег главным образом на хлеб или, вернее говоря, на особого рода коржи, которые там называются «барабанной кожей». К великому несчастью, шейх обратил внимание на мое замешательство и, желая придти на помощь, выбрал для меня лучший кусок: самую жирную часть хвоста, которую он начал вырывать с такой осторожностью, словно дело касалось нежнейшего цветка на свете. При первом же глотке я потерял всякий аппетит, а при втором мне стало так тошно, что я положительно испугался за себя. Тем не менее я постарался сделать над собой величайшее усилие, и для того, чтобы съесть предложенный мне деликатес, я записывал его огромными стаканами чаю, в то время как все мои соседи лакомились овечьим молоком, которое они набирали чашками из большой лоханки. Но нет: несмотря на мои героические старания, я не мог больше есть...

— Прости, что я так скромно принимаю тебя! — снова извинился молодой вождь, когда раб прикрепил факел у входа в палатку. — Я знаю, что в ваших домах ночью горит такой же веселый и радостный свет, что и днем!

Как только дело снова коснулось слов, я решил взять верх над моим гостеприимным хозяином.

— Есть ли нужда в том, чтобы видеть, когда так хорошо знаешь человека, с которым сидишь! — польстил я и, воспользовавшись удобным моментом, сунул в блюдо тот кусок бараньего хвоста, которым шейх только-что угостил меня.

Когда ужин подошел к концу и страшное блюдо исчезло с моих глаз, я считал себя спасенным, но оказалось, что нас ждал десерт, который должен был превзойти все то, что мы до сих пор ели: топленое горькое масло, подслащенное сахарным песком. Едва я попробовал это замечательное блюдо, как мне снова стало тошно. Но

нашему переводчику это блюдо очень понравилось:

— Возьмите еще, мсье! — настаивал он, облизывая губы. — Очень вкусно!

Ясно было, что этот соблазнитель отличался весьма скромным вкусом. Как только мы кончили нашу трапезу, слуги отнесли блюдо на другую половину moudif'a и позвали старших начальников племени. Немедленно опустившись на корточки и засучив широкие рукава до самого локтя, вожди приступили к еде и начали с необыкновенной ловкостью скатывать шарики из риса и ломать бараньи кости на своих крепких зубах; через несколько минут они вполне насытились.

— Махмуд! Фарес! Ауад! — крикнул негр со шрамом на лице.

Подошли другие арабы, которые в свою очередь быстро поужинали, а затем сменились восьмеркой менее важных воинов. Тех заместили простые вожатые верблюдов, которые все время голодными глазами следили за тем, как уменьшается лакомое блюдо. Поужинавшие, не теряя ни одной минуты, занимали свои прежние места у входа палатки и вокруг костра, и когда огонь, поддерживаемый сухим верблюжьим пометом, вспыхивал от брошенной пригоршни тамариндового плода, я видел, как из сгрудившихся густых теней на миг выступало кольцо задумавшихся кочевников.

— Ты любишь огонь? — спросил меня Раккан, мывший пальцы водой из кувшина. — Бедуины говорят, что огонь есть сердце зимы!

Он тотчас же задумался и начал гладить свою короткую бороду ногтями, окрашенными «энне». После непродолжительной паузы он снова обратился ко мне:

— Мне говорили, что ты пишешь сказки для людей твоей страны... Так хочешь ли выслушать старое-старое предание, которое я впервые узнал от моего отца, узнавшего его в свою очередь, от своего отца?

Я тут же на месте готов был простить ему его ужин.

— Расскажи мне это предание, о сыне Бекира!

Все сразу умолкло вокруг нас, и не слышно стало даже сосанья губ, жавших табак. Арабы, которые еще не кончили ужина, быстро вытерли губы кончиками своих keffuyé и немедленно подсели к нам. Все с нетерпением ждали момента, когда шейх начнет свой рассказ... Для меня было ясно, что все они отлично знали это древнее предание, но, уподобившись детям, которым никогда не приедаются одни и те же сказки и рассказы, они сидели с внимательными лицами и заранее восхищенными глазами.

— Это — рассказ про двух чело-
век...—важно начал Раккан, нисколько не повышая голоса и глядя на то, как стекает янтарная краска с его пальцев. —Один из них был Руалла, у которого были отморозены все члены, потому что он слишком долго оставался на воздухе во время морозных ночей. Другой — Вильд-Али — был слепой, потому что его когда-то укусила в глаз ядовитая муха. Их племена вели между собой войну. Однажды утром, после того, как Руаллы совершили набег на Вильд-Али, паралитик упал с верблюда, на котором он был привязан к вьючному седлу, и после того, как победители, угнав скот, удалились, несчастный остался недвижимым среди опрокинутых и разрушенных палаток и начал тщетно взывать к своим братьям с помощью. Что же касается Али, то они настолько перепугались, что разбежались в разные стороны и бросили на произвол судьбы слепого, который, не видя света божьего, начал оглашать воздух душераздирающими криками...

С первых же слов Раккана мы с офицером-мехаристом выразительно переглянулись, так как тотчас же признали «Паралитика и Слепого». Конечно, это была наша басня, которая, подобно многим другим, пришла с Востока и которую мы нашли теперь в ее колыбели. Обе версии строились на одной и той же основе: слепой бедуин предложил свои плечи паралитику, и немощные, найдя утешение друг в друге, двинулись дальше по проложенному следу.

«Я буду ходить за тебя, а ты будешь смотреть за меня...».

— Это очень красивая сказка! — радостно воскликнул я. — Она настолько красива, брат мой, что один известный поэт моей страны давным-давно использовал ее сюжет, и теперь вся нянюшки у нас рассказывают ее малым детям.

Но Раккан, выслушав мой ответ, переведенный толмачом, покачал головой и спокойно продолжал:

— Твоя сказка здесь кончается, а моя — нет...

И это было верно: Флориан не поведал нам, что случилось дальше, и вот потребовалось мое путешествие в пустыню для того, чтобы я узнал конец этого арабского сказания.

— Вот они и сошлись: и прожили вместе много месяцев: паралитик смотрел за слепого, а слепой ходил за паралитика, но последний был так же коварен, как первый добр и доверчив, и вскоре дошло до того, что паралитик начал издеваться над своим товарищем и заставлял его хвататься голой рукой за колючки или же пить верблужью мочу. При виде же ужасных гримас обманутого, обманывавший долго и ехидно смеялся. Но вот что однажды случилось. Как-то раз, когда они жарили зайца, пойманного в его же собственной норе, паралитик увидел подле горевшей головни ужа. Он ничего не сказал, но когда жаркое было готово, он схватил рептилию и подал ее своему другу, но едва только тот вонзил зубы в голову ужа, как он тотчас же выплюнул. «Да ешь-же! — настаивал паралитик. — Я дал тебе самый лучший кусок». Слепой снова отведал, но мясо ужа было до того отвратительно и зловонно, что бедняга стиснул руки, а затем чисто машинально коснулся ими своих обоих глаз протер их. В ту же минуту его смертвевшие веки зашевелились, и просветлевшие глаза увидели ту мерзость, которую он готов был съесть. «А, ехидна! — воскликнул он негодуя. — Так вот, значит, как ты обращаешься со мной! Я все время служил тебе, как верный раб, я носил тебя на себе как осел, и вот твое вознаграждение! Ну, отныне ты никого больше уже не обманешь!» И с этими словами он схва-

тил паралитика и изо всех сил швырнул его в костер. Но как только пламя коснулось сведенных членов Руаллы, больной вытянулся во всю свою длину, вскочил на ноги и убежал. «Аллах велик! Он вылечил обоих больных!».

Выслушав этот рассказ про двойное чудо, все присутствующие покатались со смеху. Смеялся и Раккан, сверкавший своими белыми зубами, и седые, корявые старики, и высокомерный негр. Очень может быть, что смеялись и женщины, находившиеся по другую сторону перегородки. Однако, шейх не забыл тех слов, которыми я перебил его рассказ:

— А как зовут того поэта, который написал в твоей стране эту же самую сказку? — спросил он, когда все вокруг замолчали.

— Эль-Бир! — ответил переводчик.

Удивленный капитан повернулся в его сторону.

— Ты ошибаешься, друг мой! — сказал он. — Эта басня принадлежит не Лафонтену, а Флориану.

Но либанец нисколько не смутился этим заявлением.

— На арабском языке — произнес он со своим обычным, непроницаемым видом. — Ла-Фонтэн (фонтан) означает Эль-Бир а между тем как слово «Флориан» никак нельзя перевести.

Раккан тем временем записал это слово для того, чтобы не забыть его.

Простит ли мне автор «Эстеллы» то, что я не заступился за него?

Я задумался над этим вопросом и вдруг увидел одного из воинов, который все время сидел в самом углу палатки и теперь поднялся с места, взял однострунную рабабу и начал напевать монотонную простенькую песенку, смысл и слова которой так и не дошли до меня. Молчаливые курильщики продолжали оставаться в полусонном, полумечтательном состоянии. Издалека доносились зычные крики верблюдов и отчаянный вой собаки, нечаянно попавшей в западню для грызунов. Ближе раздавались звоны цепей на ногах стреноженных лошадей, треск перебираемых четок и мудреные песенки кипящей воды в чайнике... Сердце мое затерялось в объятиях этого великого покоя; я облокотился на мое седло и долго глядел на необозримое небо и на груды звезд, которые казались мне такими же огромными, как и сама пустыня...

«Надо считать до девяти и потом выразить какое-нибудь желание! — почему-то вспомнил я. — Но неужели же я выражу сейчас мои желания на всю дальнейшую жизнь?».

— Полно ли сердце твое, о, друг, мой? — вдруг послышался голос Раккана.

Тогда, подобно ему, я приложил мою руку к груди и ответил:

— Да пошлет мне милосердный еще много дней, подобных сегодняшнему! — И затем я вытянулся на моем ложе.

Маленький читатель моего далекого детства мог уснуть спокойным и довольным сном...

МАРСЕЛЬ

София Виноградская

1. Немного туризма

Красив Марсель.

Под южным солнцем лежит он, опрокинутый в море головой.

Небесная лазурь бьется пенистой волной у его ног, зеленая земля покрывает его голову. Неба в Марселе нет. Марсель укрыт крышами платанов и зонтами пальм. Море у Марселя лазурное, как небо. По-

этому и кажется, что опрокинут Марсель — зеленая земля над головой и голубое небо у ног.

На Place Casfel стоит водная ограда фонтанов, и журчат горными ручьями каскады.

На Прадо—«Елисейских полях» Марселя—идут платаны в три ряда и пропадают в море. За платанами — автомобильные салоны; в них авто со всего света.

Нет ничего красивее Елисейских полей в Париже, увенчанных Триумфальной аркой, когда стоит в ее про свете заходящее солнце.

Но что красивее Prado?

Вот идет многоверстный асфальт, блестя, как паркет, в оправе колонн — платанов. Отражает в себе хрустальную игру солнечных фонариков, катит на себе лаковые туши авто. И вдруг уходит, обрываясь в простор вод. Вдали море — бескрайний бассейн расплавленного серебра. В нем пропадает Prado.

Над морем асфальтовый пояс Марселя — дорога Corniche. Она идет извилистым берегом моря, открытая солнцу, как степь. На Corniche — английские дворцы, вилла Дункан, сады, задумчивые, как кипарисы.

На Марсельском холме стоит храм Notre Dame de la Carde с верхушкой, увенчанной статуей мадонны. Солнце льет горячие лучи на ее золотую голову, застывшую в небе огненным шаром.

В Notre Dame тьма. Лишь в нише горит 800 свечей по покойникам, имена которых прибиты к стене на мраморных дощечках. Монахи торгуют у входа и прислуживают в кафе при храме, — как в блаженной памяти российских монастырях.

С колокольни Notre Dame видны дороки на Марсель и скалистые острова, где отбывают карантин колониальные солдаты, согнанные из Африки в метрополию.

Мертвым, убитым в мировой войне па чужой земле, за чужие интересы, чужие завоевания — им поставлен в Марселе памятник

Живым — выстроены огромные морские бараки, где на заре горнист играет непривычную для уха победную песню чужой страны.

Рядом, в замке Д'Иф, где молодой Мирабо, осужденный отцом за растрату, ветер и время шелестят страницами романа Александра Дюма. Его герой, граф Монте-Кристо жил здесь в подземелье, пробитом в скале.

Мимо островов проплывают суда, исчезая в недрах гор. Здесь проложен

знаменитый туннель, соединяющий Средиземное море с Роной. Суда идут под горами, по водному каналу, словно поезда по рельсам туннелей. На сооружение этого первого в мире по величине морского туннеля ушло 15 лет. Землей, вырытой из него, можно было засыпать город.

Достижение стального века — Трансбордер, вздернут над морем, словно две укороченные Эйфелевы башни, соединенные мостом из железных прутьев. Трансбордер — паутина, сотканная из тончайших стальных нитей. К мосту его на стальных канатах подвешена платформа, на которой с одной башни к другой переправляется 70 тысяч кило человеческого и торгового груза. Похоже на индустриализованный паром с индустриализованными берегами. На Трансбордере — ресторан, где люди пьют и едят в стальной паутине, наблюдая небо над собой и воду под ногами. От хитрых сплетений железа, зажавших две стихии, как вожжи в крепкой руке, захватывает дух.

Снасти раскинулись над морем гигантским неводом. Порт уходит ввысь ошестившимися мачтами и дымит трубами, словно тысяча паровозов.

Пароходы — огромные стада опрокинутых на спину слонов, задравших высоко длинные хоботы, качаются на воде тяжелыми железными тушами. Их обветренные шеи говорят о далеких странах и неведомых путях, полных тревоги и бурь. Вот коричневые суда Британии. Они идут в Индию — грабить и усмирять. Вот черные с красным суда Атлантики, везущие в Америку все, что проворный доллар скунил сегодня в дешевой Европе. Вот белые с черным суда, идущие в ближнюю Корсику и Неаполь, запрягавшие в цепких снастях звериный оскал фашистских зубов.

На обветренных плечах и руках приносят они кусочки золотого юга и холодного сияния севера, ветры надменной Британии и капельки пота истекающего кровью Китая. Их названия — чужие, незнакомые — манят своей далью и влекут неудержимой силой безвестности, опасности, мечты.

2. „Здесь делают коммерцию“

Марсель сброшен Францией к Средиземному морю, словно тяжелый груз с отягощенных плеч.

Здесь лежит он огромный туго набитый товарами. Отсюда каждый день уходят дымящие пароходы торговых компаний грабить заморские страны и обменивать награбленное.

Грабеж окрещен почетным именем коммерции. Марсель — ее резиденция.

Коммерция — грозный повелитель. Ей повинуюсь, режут стальные чудовища далекие морские волны. Ей в угоду разбойничает «прекрасная Франция» на берегах подневольной Африки, привозя оттуда пеструю добычу и цветных солдат. Ей отдан Марсель.

Заливает его торговый поток выше головы, выше домов. Тесно ему, большому, на узких улицах, сдавленных высокими стенами магазинов. Некогда ему присесть, некогда вздохнуть, некогда оглянуться.

Бежит Марсель, плотный, округлый, спрятав брюшко под сорочкой из лионского шелка. Вот он, классический французский буржуа, детище трех революций, верный враг четвертой, еще не пришедшей. Вот он в котелке, с палкой в руке, лысый, усатый, с бюллетенем ценных бумаг в правом кармане и «Вестником Коммерции» в левом.

Лихорадочно мечется он на бирже — разбойном вече XX века. Туда несется автомобили, разметая людей, словно страусы песок.

Все, что прикатили к берегам Марселя волны морей, все, чем полны чрева портовых доков, получило на бирже особый цифровой смысл, разложенный на счетах.

Афганский каракуль и сибирская белка, аргентинский хлеб и бакинская нефть, африканский каучук и австралийский лес — здесь лишь числа, — бесполовые, острые.

Нет надобности итти в порт, обозреть пеструю добычу, шупать руками товары. Они занесены на биржевую доску, черную, как небо юга, усеянную цифрами, как звездами. В мерцании и игре биржевого неба пульсирует Марсель.

Франция, улыбающаяся, работающая с припевом, кокетливой оглядкой, созерцающая себя в кафе, строго соблюдающая час священнодействия — обеда, — где она в Марселе, торопливом, озабоченном, оглушенном торговым криком?

Все торопится, все спешит. Даже женщины, нарядные и покрашенные, как везде в мире, не знают легкой парижской походки и бегут, подхлестываемые гибким хлыстом богини коммерции.

Нет осточертевших туристов и взбесившихся от разгула американцев, — все заняты коммерцией, все «делают коммерцию».

Нет парижской «Валенсии» — приветливой песни на устах.

Как дела? — марсельское «здравствуйте».

Некогда! — его «досвиданья».

Как мачеха детей, рознит Франция свои города. Любимцу — Парижу — танцы на Бастилии, салоны на Елисейских полях, театры на бульварах, моды на Oper'a прогулки в Булонском лесу и Notre Dame над Сеной.

Марселю — падчерице — удел торгаша. Не купаться в золоте южного солнца, а работать в топке его лучей, где плавают сокровища богини коммерции.

Не торговля для человека в Марселе, а человек для торговли. И нет человеку дела до того, что живет он в прекраснейшем городе Франции, в морском Париже, куда ветер доносит дыхание Африки.

3. Старый порт.

Марсель — город коммерции — не заглядывает в Старый порт. Старый порт не знает Марселя.

Марсель — это цифровая лихорадка биржи. Старый порт — тропическая малярия больных матросов.

Марсель — это изящные преискуранты товаров всего мира. Старый порт — доки, где товары взвалены тяжестью мешков и тюков на вьючные спины гаменов (бродяг).

Марсель — это торговый проспект Capnebière, где упоенный самодовольством торгаш воображает, что если-б Париж имел свой Capnebière, он был

бы только маленьким Марселем. Старый порт — воюющая дыра в сыром камне, в которую корабли бросают матросов на отдых.

Марсель — это счет барышам, принесенными пароходами из дальних стран. Старый порт — счет сынам, ушедшим безвозвратно к чужим берегам, опущенным навеки на морское дно.

Марсель — это морская гладь, застывшая на картах. Старый порт — море, пенящееся, как жизнь, и горе, глубокое, как море, где слезы растворены в соленых брызгах волн.

Как желток и белок в яичной скорлупе живут, не сливаясь, Марсель и Старый порт. Живут, презирая друг друга, — две державы, обменивающиеся дипломатическими представителями.

Старый порт послал в Марсель бумаги с перечнем судов и богатств, храпимых доками. Марсель послал в старый порт полицейского и агента по найму рабочей силы. Через них и ведутся сношения.

Исчезнет у марсельского буржуа гуляющий сынок, сбежит из дому своенравная дочка, потревожит кто-то затвор кассы, — и наводняет полиция узкие улочки Старого порта, протикивает широкие плечи в каменные складки — жилища, просовывает голову в дыры ночных притонов, щупает постели портовых проституток, рыщет по логовам матросов.

В порту тогда начинается веселье, — высыпают из бистро негры, свешивают из окон пышные головы и обвиняющие груди проститутки, выползают из подвалов пьяные матросы, прибегают из визгов веселые гамены, носятся с визгом сорванцы, подзадариваемые шлепками толстых торговков. И идет потеха!

— Что, красотка пропала? Вот она у меня в штанах.

— Черненькая, говоришь. Так я же с ней сегодня спал. Ах, как славно мы спали!

— Нет, они молодчика ищут.

— Уж не того-ли, что мы вчера рыбам на обед послали?

— Того самого.

— Велел вам кланяться!

— Я ему на прощанье крепко шею пожал.

Торговки, подперев бока руками, заливаются от хохота, матросы улюлюкают вслед ажанам и скалят зубы полуголые проститутки.

— Красавчик, замерз видно. Зайди, погрее!

— Эй, ты, подтяни живот, не то потеряешь!

— Зайди к Камилле, по тебе там нож давно скучает!

Из подвального кабака выволакивают рыхлую массу в грязных отряпках и кидают под ноги полицейским. Из тряпок торчит нелепо черная голова старой портовой проститутки. Волосы спутаны, как пакля. Один глаз закрыт, и большой кровавый подтек идет от века к виску. Другой странно ворочает желтым белком.

Старуха бьет полицейского оголенной по колено ногой и, вдруг, раздражается грязным портовым ругательством. Вокруг все потрясается от смеха, и матросы кричат взбешенной от гнева полиции:

— Вот она, ваша пропавшая красотка! Свеженькая! Берите ее! Несите опечаленной мамаше, порадуите несчастного отца!

После ухода полиции все снова забивается в щели, уходит в свои будни. Необычайные будни нищеты, порока, смерти, перекатываемые на пенистых гребнях волн.

На берегу, словно мать возле зыбки ребенка, сидят подолгу женщины, кутая в платки страх ожидания. Ждут опоздавший пароход, ждут мужей, ждут сыновей, все повторяя черствые, как корка хлеба, слова конторы:

— Известий еще нет!

Сидят, вяжут чулки, платки, и старый моряк, спокойно закусывая на бочке, рассуждает:

— Ушли в Марокко?

Семнадцатый день?

Значит, пропали.

Врет контора! Это в Аргентину если пойдешь, или на Яву — так и сто и двести дней проездишь лишних. Уж тебя старуха оплатит и схоронит, а ты все же вернешься. А в Марокко, где же пропасть? Четыре дня — вся дорога.

Врет контора!

Тянется долгий рассказ, прерываемый старческим кашлем, частым спле-

выванием и посасыванием обгорелой трубки. Пытливо вглядываются женщины в горизонт, в водную даль, где Африка.

Африка здесь, близко. Через Марсель шагает к ней Франция и тащит к себе на аркане, как лошадь. Африка здесь, в Марселе. Она распростерлась в магазинах коврами, на которых застыли зеленые пальмы и синее небо пустыни. Она лежит в доках вагонамп каучука, добытого голыми руками подневольного человека, она прядает пугливо ушами алжирских лошадей, которых величаво ведут под уздцы алжирцы.

В Марселе притаилась не только Африка.

В Марсель каждая страна бросила свой кусок, как монету в шапку уличного комедианта. Звенят монеты, перебиваясь на все лады:

Поют по-женски, зазывая курить, китайцы.

Тянут часами кизилловые чубуки турки.

Наигрывают на тонких гитарах гавайцы, перебирая кончики человеческих нервов, словно струны гитары, и восклицая:

— Алоа!

— Да будет моя любовь с тобой!

— Алоа!

Но больше всего в Марселе Африки — цветных солдат в карантине, семей негров в Старом порту. И печальной всех здесь Африка.

В кафе, где шла игра в карты, привелось увидеть старика-негра. Он давал советы играющим. Он, очевидно, служил в этом кафе. Все негры, которых приходилось до тех пор видеть, были молоды, с крепкими белыми зубами, ослепительными белками и густовьющими черными волосами. Казалось, другими они не бывают. Трудно было представить себе негра старым. И вот в кафе сидел старик-негр с седой головой и двумя глубокими складками у обвисших, словно старые тесемки, губ. Пышная некогда негритянская шевелюра была теперь редкой, гладкой у корней волос и едва вилась на концах. Печальней всего были складки у рта и глаз, которыми жизнь чертит усталость и старость на лице. Эти

складки печальны у каждого человека, отмеченного временем, но печальнее всего они были у негра с головой, покрытой золой потухших лет. В этом кафе, где душистый из колоний кофе, где «трещат колоды карт и глух червонцев стук» он и казался обгоревшей головней, выхваченной кем-то из горящего костра и заброшенной далеко от огня.

За печалью седого негра шагает в порту нищета. Ее знамена — грязное белье на веревке, полыхают в камепных пролетах домов, как гирлянды флажков в праздничный день. Здесь улица — колодец, в который спущена каменная лестница. По ней идут вверх и вниз, и каждое отверстие в стене — жилище человека.

Нищета здесь не хоронится в четырех стенах. Спокойно переползает она порог, движется по улицам с протянутой рукой, гноящейся раной, детским плачем, отборной бранью, пьяной потасовкой, голодным стоном, грозным криком.

Здесь мигнула мне глазом московская мостовая — беспризорный мальчик в отрепьях. Нищета везде одна и та же, нищета международна. И, казалось, — раскроет мальчик сейчас рот и попросит просто по-русски, знакомой сипотцой: «Тетенька, дай копеечку». Потом сплюнет через нижнюю губу и спокойно скажет:

— «Что нам, ветрунам,

День работал, два гулям».

И уйдет в доки.

Там, под навесом складов спят гамены.

Не с Волги ли грузчики? Не потому ли поют в Марселе песню волжских бурлаков?

Нет, не с Волги они. Здесь в доках, где проложены железные дороги, грузены зерном и нефтью поезда, где товары Сенегала, Китая, России, Бразилии, Америки, Марокко разложены по складам, как страны на карте, согнулись у гаменов спины и дугой изогнулись ноги, не ступавшие дальше Марселя.

От моря не уйдешь. Море кормит. В море — хлеб, в море — деньги, в море — устрицы.

Чудесные грязные твари, комочки копошащейся слизи, закованные в броню, милые друзья нищеты, сколько их поедает порт!

Против дороговизны жизни — устрицы! — кричат окна устричных лавчонок.

— Нет дешевле устриц! — заывают лотки.

Продают их на дюжины с лимоном, вместо обеда. Поедает их порт и в завтрак, и в обед, и в ужин, с лимопом и без лимона, дома и на улице, с тарелки и с лотка. Тянутся рядами ящики устриц на тротуарах и ящики устричной скорлупы в канавах.

Чего больше — скорлупы в канавах, или устриц на лотках? Нищеты или порока?

Вот по каменным ступеням улицы отбивают такт деревянные башмаки старого гамена. Он идет к возлюбленной. Детские голоса звонко кричат ему: — Луизы нет! Луизы нет!

Зычный голос хозяйки дома комментирует:

Опа сегодня занята, ушла спать к Франсуа, что приехал из Тулона.

— А-а, так! Спасибо! — шамкает старик.

Печально удаляются его деревянные шаги. Вслед им летит:

— Небось, Франсуа потеплей тебя п твоих устриц, старый чорт!

Старик бредет прочь, не оглядываясь, не огрызаясь.

Все ясно, — он стар, оп Луизе не нужен. Луизу взял Франсуа, молодой матрос из Тулона.

Не тот ли самый, что занял его место на пароходе? Не потому ли потешаются дети над его старостью и устрицами, которыми он любовно угощал Луизу?

Здесь все свои, стесняться некого.

За незавешанными окнами и незапертыми дверьми люди живут, спят и любят. Через окна домов, отстоящих друг от друга на расстоянии человеческой руки, люди наблюдают эту нескрытую от чужого глаза человеческую любовь.

В нижних улицах, ближе к берегу, женщины продают любовь. За рядами незапертых дверей темнеют их силуэты. Сидят они у порогов, голые,

в легких капотах, укрытые бамбуковой или бисерной шторой, опущенной па дверь. Раздвигая бамбук, просовывают изредка наружу головы — черные, стриженные, украшенные серьгами, подпертые руками.

Ни о чем, кроме скуки, не говорят их черные глаза в густой оправе синего карандаша. Ничего, кроме приглашения, не произносят кораллы губ. Так сидят они часами, перебрасываясь редкими фразами. С приближением посетителя сбрасывают заранее капот. Когда раздвигается штора, стоят уже голые, готовые задернуть пологом дверь.

Немудрая ленивая жизнь созданий, обреченных на сиденье за бамбуковой шторой и на печальную одинокую смерть в старом порту. К ним за любовь идут матросы прямо с кораблей.

В далеких водах истосковались они по женскому телу. И первая мысль их после плавания, когда сбегает по склонам на твердую почву, о ней, черноголовой подруге за бамбуковой шторой.

Порт приготовил для матросов все очарования земли — лотки с порнографическими открытками, с заманчивыми позамп голых женщин, побрякушки для подруг, хмельные аперитивы (напитки) кино с картинамп о любви красивых девушек.

Не нужно приключений, к чорту головокружительные трюки — в море насмотрелась довольно. Женщину! Давай, механик, женщину, и чтоб любить умела!

Рычат от восторга ветром пахнувшие матросы, потрясают морским гоготом стены кино, заглушают ревом веселых глоток старый роаяль. Потом идут к проституткам, в кабаки, в притоны.

Шумит Марсель! Ночной и дневной, в притоне и на улице, шумит он, как море в шторм. И кажется, вышли воды из берегов, перекатили через барьер и пошли бушевать по городу, неся с собой силу валов и муть дна.

За рокотом моря, шелестом бамбуков, стуком костей, песней гавайцев, бранью гаменов, криком наживы, стоном нищеты — как расслышать марсельезу, гимн славы, принесенный когда-то марсельскими батальонами в Париж?

Книжное обозрение

Д. Горбов. — «У нас и за рубежом» (литературные очерки). Изд. артели писателей «Круг». 1928 г. Стр. 224. Ц. 2 р. 25 коп. Тираж 3.000 экз.

I

Книга Д. Горбова состоит из трех отделов: «За рубежом» — итоги десятилетия литературной эмигрантщины, «Литературные портреты» — пять этюдов о советских русских писателях: об Эренбурге, покойном Андрее Соболе, Александре Яковлеве, Вяч. Шिशкове и Сергее Клычкове. «Литературные перспективы» — статьи, в которых в связи и по поводу тех или иных литературных фактов тов. Д. Горбов излагает свои литературные взгляды и отстаивает свои литературные позиции.

В первом отделе тов. Д. Горбов дает в двух статьях — «Мертвая красота и живучее безобразие» и «Десять лет литературной работы» — обстоятельный разбор творчества белых писателей. Тов. Горбов удержался от совершенно естественного для нашего критика, когда речь идет о писаниях Буниных и Мережковских, искуса третиования, соблазна дать памфлет вместо серьезного критического исследования. Тов. Горбов сделал работу с большой объективностью. Он не умаляет художественной ценности ряда белых произведений, не отрицает большого мастерства ряда авторов: Бунина, Цветаевой, Ремизова. Он с тщательностью, которая свидетельствует о значительной и добросовестной проработке материала, анализирует произведения, выясняет эволюцию ряда писателей и устанавливает внутренние группировки. Тем убедительнее звучат выводы, к которым его приводит объективное исследование. Основной вывод в заглавии первой статьи: «Мертвая красота и живучее безобразие». Тов. Горбову прихо-

дится, однако, оговориться, что из многочисленных произведений белых писателей оценка — мертвая красота — уместна лишь в отношении двух-трех книг Бунина, ибо «сплетня, клевета и донос, процветающие в журнале (речь идет о журнале «Современные записки» — самого солидного и культурного, по оценке тов. Горбова, из русских зарубежных журналов. И. Н), блудословие, играющее в психологизм и лирику, — все эти вещи трудно соединить с понятием красоты». Зато вторая половина его формулы: «живучее безобразие» подлежит, как говорят юристы, самому распространительному толкованию, не только в том смысле, что из нее никаких исключений не приходится делать, но и в том смысле, что ее надо несомненно усилить. Все: жизнь в Советской России в годы военного коммунизма, когда некоторые из этих писателей еще не успели эмигрировать, мировая история, начиная с древнего Египта (Мережковский «Мессия»), Рима эпохи упадка (Б. Зайцев «Алексей — божий человек»), кончая — XVIII в. (Алданов «Мыслитель»), — все служит сюжетом для утверждения одного тезиса: революция — дикая месть, ее торжество — на день, реакция — справедливое возмездие, а потому ее торжество — навеки.

Таков единственный мотив и единственная тема, разрабатываемые эмигрантской литературой. И как сам тезис, так и методы его разработки, о которых тов. Горбов рассказывает, убеждают нас, что определение «живучее безобразие» — излишне острожно, и что его литературная характеристика художественных произведений нуждается для своей полноты в той моральной характеристике авторов этих произведений, которую М. Горький дал в послесловии к другой книге

тов. Горбова, посвященной исключительно белой литературе.

Мы вернемся еще к оценке тов. Д. Горбовым белой литературы после выхода этой книги, сейчас только отметим два совершенно правильных, по нашему мнению, вывода, к которым тов. Горбов приходит.

За десять лет эмиграции опубликовано множество книг, но «лучшие произведения — это зеленые побеги, которые продолжает давать дерево, уже срубленное под корень» (75). Ни одного нового имени. Писатели, сложившиеся до Октября, доживают свои дни. Смены у них не будет, как не будет ее и у классов, чью волю они выполняют; затем второй вывод, что как бы те или другие белоэмигрантские писатели ни силились уйти от «себялюбивого индивидуализма к созвучию с общенародной стихией», тщетны их усилия стать национальными писателями. Ибо «только художник, органически принявший Октябрь, сделавший его действительным фактом своего творческого мира, может дать произведения подлинно героические и подлинно народные». (40).

Неожиданным нам поэтому кажется несколько наивное обращение т. Д. Горбова к Цветаевой с требованием, чтоб ее «песни вызывали в нас волю к творчеству, звали к общей жизни и борьбе, чтоб они не уводили нас в озеро прошлого или в соседнее болото с ласковой целью утопить нас там». (58). Тов. Д. Горбов на протяжении 76 стр. убедительнейшим образом доказывает, что единственная цель белой литературы — утопить революцию, хотя и не совсем ласково, в любом болоте. И все же говорит с Цветаевой об общей жизни и борьбе. Если даже это — педагогический прием в целях перевоспитания, пускай не Цветаевой, то Цветаевских поклонников из числа читателей изданий «Круга», то и в этом случае это прием неверный. Он применен без достаточного учета социальной природы, как Цветаевой, так и этих читателей.

II

«Литературные портреты» Д. Горбова посвящены пяти писателям, чрез-

вычайно различным как по художественной ценности и литературным интересам, так и по их общественной установке. Но во всех этих портретах — одна черта, которой отмечена критическая работа Д. Горбова: — сочувливое, любовное отношение к предмету. Это помогает ему почувствовать и поднять на должную высоту произведения авторов, которых наши критики не баловали особым вниманием, как Александр Яковлев и Вяч. Шишков. В прочувствованном портрете А. Соболя, хотя и с несколько тривиальным заглавием — «Дневник обнаженного сердца», тов. Горбов показал характерную черту А. Соболя — человека-скитальца. А. Соболя безусловно недооценили. Д. Горбов справедливо стремится исправить эту ошибку критики. Он верно отмечает, что последние произведения Соболя, в особенности «Мемуары веснушчатого человека» знаменуют расцвет красочного жизненноразнообразного мастерства» (110). Но как на безусловный недостаток портрета надо указать на то, что портрет сделан в плане биографическом, без попытки выяснить социальные корни творчества Соболя, ту общественную атмосферу, которая воспитала А. Соболя и которая была первопричиной его метаний и его преждевременной гибели. Между тем, моральное скитание, как и гибель А. Соболя, результат эсеровской путанности и индивидуалистического бездорожья некоторой части нашей интеллигенции.

Не выяснил себе достаточно тов. Д. Горбов и социального генезиса писаний И. Эренбурга. Тов. Д. Горбов несколько по трафарету видит в Эренбурге бунтующую богему. Это неверно. Эренбург — писатель мещанства в самом подлинном смысле этого слова. Его космополитизм — от кинематографического приобщения мещанина к миру. Его скептицизм — от мещанского наплевательства. Обычно богема ненавидела мещанина, бросала бомбы в его мирное житье, а мещанин, как огня, боялся богемы: дочь соблазнит, в долг заберет и не уплатит. Между тем, Эренбург и современный мещанин живут душа в душу. Эренбург доставляет приятнейшие минуты читающему ме-

щанину, и мещанин, раскупающий книжки Эренбурга, буквально кормит своего писателя. Ничто так не выдает этого родства писателя с его социальной группой, как финальная победа добродетели в «Проточном переулке». Это не победа советской установки, а самой доподлинной мещанской добродетели, сделанной с такой сантиментальной слезой, что все мещаночки с Смоленского рынка верно проливают слезы над книгой. Не выяснив себе мещанской основы Эренбурга, тов. Д. Горбов дал бледный, расплывчатый портрет Эренбурга.

III

Больше всего споров вызывает последний отдел «Литературные перспективы».

Недостаток этого отдела со стороны литературно-критической в том, что он наполовину состоит из беглых литературных обзоров. Оценки конкретных литературных фактов, как обычно в обзорах, слишком общи, хотя местами очень метки. Это особенно касается оценки П. Романова в довольно удачном обзоре «Писатели о молодежи». Высказывание по принципиальным вопросам по необходимости выходит тоже слишком сжато и недостаточно аргументировано.

Основной стимул всех статей—борьба за литературу, борьба за полноценное творчество, вера, что большая правда революции, что ее могучие творческие силы приведут к созданию великих художественных произведений, утверждение литературы, участвующей в строительстве социализма. Эта позиция т. Горбова побуждает его энергично выступать против механического подхода к литературным явлениям. В этом с ним нельзя не согласиться, как нельзя не согласиться с целым рядом его высказываний о реализме, натурализме и романтизме в нашей литературе, как нельзя не приветствовать его указаний на тройную «задачу художника: задачу уточнения, индивидуализации и обобщения материала».

Большая любовь к литературе, сознание необходимости создания условий, когда писатель мог бы творить с

наибольшей художественной искренностью и совестью, сознание необходимости борьбы с упрощением, — вот черты, которыми проникнут последний отдел книги.

Установка правильная, но пользуется ею тов. Горбов не всегда правильно. И в результате он приходит к одной чрезвычайно существенной ошибке: недостаточному учету социальной природы различных секторов советской литературы. Он несколько раз повторяет, что наша советская литература— «в общем едина по своим художественным и общественным устремлениям». В этом тезисе для т. Горбова кроется двойной тактический смысл: защита попутчиков от атак «напустовцев» и стремление своим вотумом доверия воздействовать на непролетарских писателей. Но это стратегия сомнительная и приводит она тов. Горбова к иным высказываниям, которые не делают чести его критическому чутью. Его тезис об «едином общественном устремлении» — заставляет его заступиться за повесть «Роковые яйца» М. Булгакова и покровительственно извинять М. Булгакова, что, мол, по молодости что-то не так у него вышло. «М. Булгаков представляется нам писателем, совершенно идеологически неоформленным и при своем очевидном художественном даровании занятым пока что пробой пера», «у него еще не успел вырасти один зуб с левой стороны». Но, если тов. Горбов себе ясно сказал бы: в нашей литературе происходит классовая борьба, как она происходит в нашей союзной действительности, если тов. Горбов сделал бы все необходимое для критика-коммуниста выводы из этого факта, он не мог бы так снисходительно говорить о явно враждебной революции повести, как «Роковые яйца».

Есть и недостаточная четкость у Д. Горбова в вопросе о классовом генезисе литературных фактов СССР и в вопросе о показе непролетарскими писателями отрицательных явлений нашей жизни. Да, это хорошо, что нам показывают кулака, эшмана, бюрократа. Реалистический показ кулака нам поможет острее почувствовать опасность и своевременно принять меры для борь-

бы с ним. Однако не следует закрывать глаза на социальную сущность бытописателя кулака, хотя, конечно, не всегда бытописатель кулака — его идеолог. Тов. Горбов чувствует, что в данном пункте у него не все гладко, и он, поэтому здесь явно противоречит себе, не сводит концов с концами. Достаточно сравнить его защиту Есенина (223) и К. Федина (212) с его предупреждением о необходимости борьбы с правой опасностью в случае «идеологической недооценки изображаемого явления («Трансвааль» Федина), выдвигания деклассированной психологии городского дна (Есенин, отчасти Леонов)».

Книга Д. Горбова ставит ряд острых проблем нашей литературной современности и, несмотря на ее существенные недочеты, она во многом помогает их правильному разрешению.

И. Нусинов

Н. А. Крашенинников. — Столп огненный. Роман-хроника. Л. Библиотека всемирной литературы. 1928 г. 238 стр. Тир. 5.000 Ц. 1 р. 20 коп.

И Крашенинников не отстает от века! Почувствовав на 11 году революции назревшую необходимость «сдвига к современности», он изменил своему давнему обычаю мучить читателей нудным проблемами «Девственности» и «Целомудрия» и разрешился, наконец, романом об... Октябре 17 года на юге России.

По силе пошлости и неправдоподобия в изображении революции этот роман, в насмешку названный хроникой, уступает только немногим эмигрантским творениям. В бурные годы революционного Sturm und Drang'a автор, подобно архангелу, витал над грешной Россией, живописуя «огненный столп», который «освещает что-то, кому-то, зачем-то и какой-то путь» (!!!) (стр. 62). Впрочем роман выясняет кому и зачем светит огненный столп. В Кисловодске накануне революции лечится «известный» писатель Ленева, которого издательское предисловие не без основания отождествляет с автором «огненного столпа».

Все внимание Крашенинникова приковано к этой серой, смертельно-скучной личности... Он старательно выписывает все, что Ленева думает, чувствует и изрекает... События, люди, природа, все это только фон к портрету alter ego Крашенинникова... Рядом с «нарядными» и «сытыми» обитателями Кисловодска Ленева выглядит «демократически настроенным и очень серьезным человеком», «единственно кого он не сторонится—это няnek (!?) и детей». Вот образчики его философских размышлений, взятые наудачу с первых страниц романа. «Что-то загадочное, почти мистическое, видится Ленева в угрюмом, молчаливом садовнике, который стрижет и режет что-то здесь в тишине... Да, кажется голько вчера это было, а прошло уже 12 лет... Был 1905 год и грохотали пушки, и свистели пули, и что-то звякало и катилось по крышам, сгоняя тучи озябших, встревоженных галок»,,

«Можно было хоть что-то понять, по крайней мере, принять к сведению урок истории и, однако, принято не было, и люди, стоящие где-то там «наверху», остались такими же глухими и слепыми. Когда же будет понято теми внизу, что история, это—закон»... Еще несколько слов о садовнике и все вместе взятое должно означать, что история, подобно садовнику, «стрижет и режет что-то».

Затем следует смехотворное по своей беспомощности описание ночного землетрясения, которое «не похоже на обычное» и, как догадывается читатель, должно предварить известие о другом землетрясении — о перевороте в столице России.

Заскучавший было Ленева оживился, получив свежий материал для рассуждений: «Да, что-то новое привступило в жизнь, что-то потрясло ее. Таинственная, далекая Москва вдруг показалась сказкой! И, конечно, автор «Теней любви» и прочих приятных вещей в этом же роде не мог удержаться от того, чтобы не спеть «романс» Октябрю. «Сердце Ленева сжалось тоскою: поехать, увидеть, понять. Ведь эта сказка называлась социализмом. Самые трезвые материалисты вдруг осуществили химеру: равенство

всех на земле (!!))... Тут-то в роман и вступает огненный столп, который будет маячить перед затуманенным взором Ленева на протяжении 238 страниц. Нас очень смущает обилие цитат, но соблазн велик — Крашенинников стоит этого,—судите сами: «вот где-то на Востоке белеет полоса дыма, рассекающая чернь. Всматривается Ленев, отступает в изумлении: не дым, а сияние! Не сияние, а столп, — прямая колонка прозрачного света...».

Несмотря на «мистическую» трактовку темы, замысел Крашенинникова прост и ясен: огненный столп должен указать Ленева путь на север, в большевистскую Москву («увидеть, понять»). На этом роман, собственно, и грозил окончиться, но насущная необходимость растянуть его хоть на 15 печатных листов задержала Ленева под Кисловодском, где на его пути, подобно «огненному столпу», встает «девушка с распущенными, как в сказке, белокурыми волосами».

И... и, конечно, Ленев решил, что «он не уедет никуда, что останется здесь со своим глазом писателя». (!!).

«Видите ли вы иногда здесь ночами столп, Тася? — однажды спросил ее Ленев. Она ответила — нет... Ленев раскрыл дверь на террасу и вывел Тасю и, так как она не сразу увидела, слегка коснулся рукой ее талии и подвинул и, когда она неслышно подалась в чернь ночи, спросил, указывая в тьму... Вот там, слева, у полотна железной дороги»...

Словом, желаемое было скоро найдено, Тася удостоверилась, что и она видит огненный столп.

Сначала наши герои были перепуганы грозным ходом событий. Еще бы — «по дороге во тьме прокатывались куда-то цепи чугунных пушек! Куда-то, кем-то, для кого-то, на кого-то (!!). (Стр. 59). Но в дальнейшем, постепенно разобравшись в происходящем, они осмелели и освоились настолько, что им ничего уже не стоило прекратить в парке бесчинство «соддатиков» (как подобострастно именует большевиков автор), получить всюду пропуски, а в конце концов и право на

выезд в Москву, согласно «указанию» огненного столпа. Для этого у каждого имелись свои средства. Тасе помогали ее институтские манеры и внешность, в описании которых новоявленный литописец Октября совершенно успешно соперничает с незабвенной г-жей Чарской.

А спутнику Таси стоило только произнести «я писатель Ленев», как все, необходимое ему, делалось, словно само собою. Объяснение такого странного уважения варваров-большевиков к институтке и писателю Ленева-Крашенинникову заключается в восклицании «секретаря начальника штаба», обращенном к Ленева:

«Мы читали ваши книги на австрийском фронте. Вы удивляетесь, что среди войны и убийств можно читать сказки и мечтать о любви. Да, мы все (?) только об этом и мечтали». (!!!).

О стиле последнего создания Крашенинникова говорить почти не приходится, замечу только, что по самому беглому подсчету «что-то», «где-то», «какой-то» — насчитываются в романе сотнями.

Жаль, что эта безграмотная стряпня Крашенинникова издана ГИЗ'ом, стыдливо укрывшимся под псевдонимом «Библиотеки всемирной (!) литературы».

Ник. Богословский

Анна Караваева. Лесозавод. Роман. Издательство «Пролетарий». Стр. 415. Цена 3 р. 50 коп. — **Голубая заводь.** Рассказы. Изд-во то же. Стр. 183. Цена 1 р. 40 коп.

Наша система индустриализации отличается от капиталистической тем, что она не изолируется от деревни, а втягивает эту последнюю в свой круговорот. Картину подобного процесса рисует нам Караваева в своем романе «Лесозавод». В глухомани лесного массива строится завод, преобразующий убогую жизнь забытых деревушек. Трудовые процессы записаны здесь неожиданно свежо и местами трогательно. Через весь роман протекает волнующая струя процесса роста лесозавода, и успехи этого гиганта умиляют, как созревание возлюбленного сына. Сози-

дательный труд молодит дремучий лес, оплодотворяя его достижениями материальной и духовной культуры, изменяя весь обиход медвежьих лесных деревьев. Скучное, серое место Низинки. Непокорна и скупа тут земля. И вот в этом убогом углу разместила Каравая своих персонажей, и закипела борьба. Классовые линии борьбы начерчены достаточно четко. Автор осторожно обходит провалы и нигде не срывается в штамп и агитку. Бедняцкая часть населения встретила стройку радушно. Но нищий Никанор не верит в новые силы; он попрежнему привержен к богатую Игнату: этого-де никакая сила не одолеет, — сильнее зверя нет. Не легко поддается и Андрей Беркутов: не видит он внимания к мужику... Довольно живо зарисована борьба за середняка. Гуднины, Флегонтовы, Цыгановы — это все объекты состязания. Из-за них борются коммунисты, с одной стороны, кулак Игнат Косых — с другой, и не всегда побеждают первые. Проблема перерождения старой интеллигенции развернута автором в двух планах. Инженер Мидяев увлечен стройкой, весь предан ей, живет ее успехами и всецело полонен созидательными процессами. В нем еще не отмерли колебания и рефлексии. Но он крепнет с каждым днем; могучий водоворот социалистического строительства захватил его до того, что он готов уложить в новые русла даже свою семейную жизнь. Иную картину представляют переживания его помощника Бучельского, красавца и мечтателя. Этот обречен. Он стонет, мечется в сомнениях. Творческая дисциплина не по плечу этому хлюпiku; его увлекает опозитизирование дремучей вековой отсталости, романтика конной старины. По существу он и не плохой человек, но объективно — это бессознательный вредитель. Центральной фигурой выстает твердокаменный, непреклонный коммунист Огнев. Немного жестковатый, ригорист и аскет, он до краев наполнен одной идеей: строить... Пожалуй, этот рационалистический человек получился у Каравая несколько схематичным. К тому же он слишком много резонерствует. И еще есть недостаток: он чересчур хорош! — Имеются в романе и другие

дефекты в мелочах и в крупном, но мы и не собираемся возводить разбираемый роман в шедевр. В лице Каравая мы имеем сильного романиста; новое произведение «Лесовод» — интересное и значительное произведение.

Сборник «Голубая заводь» содержит четыре рассказа. Из них лишь первый, по имени которого названа книга, стоит на уровне лучших вещей автора. Остальные три рассказа уступают в художественности: в них слишком сильна тенденция. Очерк «Гость» по существу составляет этюд к роману «Лесовод»; Стельгин ведет те же речи, что и Беркутов, а случай с кражей очень напоминает грех неучаливового Никанора. Другой рассказ «Огонь на матче» иррационален. Катерный моторист Евгешка Скарлупин — полухулиган, неряха и лодырь преобразуется под влиянием чувства, внушенного ему новой контролершей Тукмачевой Екатериной. Книга заканчивается растянутым и риторическим рассказом «Жало». Зато хорош рассказ, который открывается сборник. Зовется он «Голубая заводь». На фоне акварельного пейзажа комиссар Мокин сторожит белогвардейца и... слегка увлечен невестой арестованного воздушной легконогий Ниной. Она пленила его своим неземным обликом, беззлобием, радушностью. Но вся обаятельность Нины слетела, как фольга, едва были нарушены ее интересы, и тут она из ангела обратилась в мегеру.

Дарование Каравая развивается закономерно и неукоснительно. Новый ее роман «Лесовод» будут читать большие массы, рабочие и крестьяне, с интересом.

А. Ефремин

**Николай Никитин. — Обояньские по-
вести.** Изд-во «Пролетарий». Место и
время издания не указаны. Стр. 224.
Ц. 1 р. 90 к.

Будущий историк русской литературы должен будет отметить, как одну из характерных черт ныне переживаемого десятилетия, огромное влияние Гоголя в творчестве ряда крупных писателей: Леонова, Никитина, Зощенко, отчасти Федина и многих других. Замечательно, что почти ни один писа

тель, углубляющийся в жизнь провинции, не свободен от могущественного, тематического и стилистического влияния Гоголя.

«Обояньские повести» — наиболее яркое подтверждение этого. В самом объединении их чудится рука мастера, некогда объединившего ряд вещей из жизни глухой провинции в «Миргороде». Обоянь Никитина — это советский Миргород.

— Как! — возразит читатель, — разве наша провинция только и состоит из пошлых мещан, благодуществующих или злобствующих обывателей? Разве в ней нет творцов новой жизни, комсомола, сознательных и честных советских работников? Но ведь это ерунда! Чудес не бывает! Кто же тогда двигает жизнь и делает ее столь непохожей на то, что было до революции? Итак, Никитин врет!

Вы в значительной мере правы, горячий читатель, — но успокойтесь: Никитин, как и его великий предшественник, рисует жизнь лишь «с одного бока». Это необходимо помнить при чтении его книги.

В языке книги, в ее синтаксисе, то усиливаясь, то ослабевая, слышен гоголевский акцент. Эти лирические отступления: «Что ночи... А понятно ли вам, что такое летний день в Обояни? Нет, вижу я, много вы знаете, много видали в театрах; пароходы страшнейших размеров, заграничных голых финтифлюшек, которые чорт знает что могут сделать с человеком, заносчивый Лондон, где, можно сказать, самый бедный мужик выезжает пахать, надев манжеты и черный суконный котелок, может быть, даже вы подымались на летательной машине и плевали сверху на Собор Парижской Дамы, где отличалась некогда сама Эсмеральда. И все-таки — все это пустой плод, попавший в культурные тиски русской души. Россия, я готов заложить свою душу на любую сумму, предпочитает все-таки природу. Россия — страна природная, ей всякие искусственные фокусы не к лицу, она какими-нибудь австрийскими граблями и грабить то не умеет... Так что ж вы говорите, что вам понятен летний обояньский день!» Эти детальные описания: «Через забор у

лавки Госспирта переброшены неизвестно какого звания штаны, и тут же на углу, у каменной старой тумбы, раскрашенной сургучем, присел прохожий мужичок с набором лаптей. И думает, — зайти, что ли, раздавить бы. Да пехватает ему пятака. И этого пятака дожидается он часа три, а иной раз и не дожидается, и такая тоска охватит человека, что под стать брякнуться бы головой об тумбу, да только крепка русская голова и не такое еще выдерживала». Эти персонажи, как близнецы, напоминаящие старосветских помещиков, Ивана Ивановича, Ивана Никифоровича и иных лиц гоголевской провинции. Сходство с Гоголем проявляется и в подробностях: одно из действующих лиц лишается носа, который откусывает свинья. Этот эпизод одновременно напоминает «Нос» и свинью, укравшую документ.

Но взгляните внимательно в героев Никитина: нет, они не близнецы гоголевским. Их фамильное родство с гоголевскими героями идет по другой линии: они их потомки.

Это определяет общественное значение повестей Никитина и в то же время их значительную художественную самостоятельность. Сходство выполнения с гоголевским во многом обусловлено единством материала. Нелицемерный и отважный сатирик, каким является Никитин в «Обояньских повестях», осуществляет серьезную общественную функцию, вскрывая самые больные места нашей жизни.

Да, Никитину удался колорит современности. Такова эта книга, в которой столь тесно переплелись подражательность с несомненной самостоятельностью. Они переплелись как в содержании, так и в форме. Даже в лирических отступлениях сквозь гоголевский акцент ясно слышен собственный тембр писателя и его очаровательный ритм: «Я иду и найду в саду и в обояньском клубе — гам и свист, в темноте блещет мне медь пожарных касок, молодежь усмехнется мне в лицо, а, приняв меня в свой круг, все-таки не поверит моей молодости. Да я и сам не поверю ей. Да и как мне с ними быть, — я уже не такой, как года два тому назад. Нынче мне не так

звонит ни женский смех, ни утренние птицы. Вот до птиц — достигну я с Филимоном Филимоновичем, осушая под звезды стаканы».

Книга Никитина одна из тех немногих, которые заслуживают пристального чтения.

А. Р. Палей

Федор Гладков. — «Кровью сердца». Повести и рассказы. Том III собрания сочинений. Изд. «ЗИФ». 1928 г. Стр. 363, ц. 3 руб.

В третий том вошли повести и рассказы, написанные после «Цемент». Тематически они разделяются на два цикла: повесть о «былом» — «Старая секретная» и произведения о современности — «Пьяное солнце» и «Головоногий человек». Особое место занимает рассказ «Кровью сердца», являющийся изложением основ авторского credo.

«Старая секретная» продолжает традиции ранних произведений Гладкова. Читатель встречает в ней знакомого (повесть «Изгой», драма «Бурелом») интеллигента Угрюмова, для которого характерны участие в социал-демократическом рабочем движении и некоторая волевая усталость после тяжелых уроков революции 1905 г. Повесть изображает кровотокающий кусок жизни героя — месяцы тюрьмы перед ссылкой на поселение. Писателю удалось нарисовать памятную картину месяцев тризны, которую совершали представители полицейской власти на трупах павших бойцов. «Я не могу ходить по камере, потому что (в одиночке— В. К.) я—не один: нас трое на трех койках. В тюрьме уже нет одиночек, она переполнена. У нас нет тишины. Когда мы молчим, за нас говорят мои кандалы». О разгулявшейся злобе говорит и состав содержащихся под стражей,—рядом с членами политических партий мучается несметное число аграрников и часто безграмотных крестьянских парней, висящих в стремлении пока-что сократить права помещиков на земле. Карцер, кулачняя расправа, голодовка, — все это стало основным содержанием: неофициальных правил внутреннего распорядка тюрьмы. Гладков создал галерею ко-

лоритных образов политических; кроме Угрюмова на правах главного действующего лица выступает государственный преступник, приговоренный к смертной казни, Чугунов — он же Прахов, неустрашимый староста политических, организатор голодовки, неукротимый Замятин, юноша Архип Цветков и др. Остаются в памяти и представители мира тюремщиков. Сюжет «Старой секретной» разворачивается по принципу сквозного действия, и язык в повести отточеннее, чем в «Цементе».

«Пьяное солнце» — повесть на модную тему последних лет: о быте молодежи. Писателем руководили благие намерения: противопоставить упадочным тенденциям среди молодежи, нашедшим выражение в литературе, тягу комсомола к труду, здоровую активность. Но вместо того, чтобы представить жизнерадостность и бодрость юной руководительницы отряда пионеров характерной чертой всей современной молодежи, Гладков подчеркнул личное в натуре своей героини. «Куда же идти? Мы, кажется, уткнулись в тупик» — спросит читатель, ознакомившись со сценами омерзительного нахальства отдыхающих комсомольцев. Даже светлый луч в темном царстве санатории—завагитпропом губкома Яша Мазин — к концу повести тоже заражается настроениями своих товарищей. Автор не сумел придать типичность образу главной своей героини — в этом основной недостаток повести «Пьяное солнце».

Рассказ «Головоногий человек» — из цикла произведений, задача которых вскрыть нарывы современности. «Есть у нас такие гражданчики, которых хочется назвать штопорами... Это люди, которые ввинчиваются в жизнь до самого корня, и будьте вы хитрее чорта, — не удастся вам вышибить его из вашего бытия» — так начинает свой рассказ о карьеристе Ковалеве директор завода, старый партиец. В образе головоногого человека Гладковым запечатлена интересная разновидность Молчалина нашего времени: он «читает Плеханова и Ленина каждый день по ночам, лежа в постели», конечно, никак «не может сметь своего сужде-

ния иметь», а в портфеле носит серию писем от «такого-то и такого-то из ВЦСПС, Совнаркома, даже Коминтерна». Но только молчалинскую «умеренность» он заменил нахальством, на вопрос «что вы можете выполнять?» смело отвечая «все». Развязка рассказа несколько нарушает целостность образа пронырливого героя. Ковалев не постарался замести следов прошлого, обнаружив легкомысленное отношение к столь дорогой для него мечте сделать карьеру.

Рассказ «Кровью сердца», как рассказ, не отделан: большой разговор, который ведет после утомительного литературного вечера интеллигентный рабочий-читатель со «знаменитым писателем», напоминает более всего стенограмму доклада по вопросу: «Задачи современного искусства». Интерес не в оформлении (отсюда небрежность отделки), интерес в мыслях, вложенных в уста рабочего-читателя: «Не под ногами и не в хвосте должно плестись искусство, а гордое и могучее — нестись в высь, и музыка, и призывы его, должны быть потрясающими. Преобразите наши будни, поднимите их напряженно до пафоса борьбы. Разверзай перед людьми гнойники их жизни, бей их, заставь их поверить в могучую силу твоих слов, открой перед ними невиданной картины сильных людей и их героические деяния, пой им неустанные гимны будущему, расскажи им о людях, которых нет в их быту».

Русская литература в свое время слышала призывы пламенного певца «Песен о Соколе и Буревестнике». М. Горький составил даже формулу «лжи во спасение человека». То была особая эпоха, когда приемы автора «Челкаша» были необходимы литературе, как вода путнику. Но вот нужны ли нам сейчас «рассказы о людях, которых нет в нашем быту?». Мы считаем, что «сильных людей и их героические деяния» современным прозаикам выдумывать не придется: они сейчас есть, эти люди (хотя бы в зародыше). Романтик не должен отрыватьсь от жизни, ее явления должны заставить его стать вдохновенным агитатором строительства. И не сам ли Глад-

ков доказал эту истину образом Глеба Чумалова? За исключением положения о «людях, которых нет в нашем быту», основные приемы поэтического мировосприятия, предложенные «Кровью сердца», должны пригодиться современным писателям, оформляющим произведения по принципу революционно-романтического изображения.

Виктор Красильников.

О. Мандельштам. «Стихотворения». ГИЗ. 1928 г. Стр. 194. Цена 1 р. 75 коп.

В книге — стихотворения сборников «Камень», «Tristia» и стихотворения 1921—25 г.г. В первом разделе отчетливо выступает лицо поэта-акмеиста, пропагандирующего «осязаемость», «предметность» явлений.

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязую млечность...

... Образ твой мучительный и зыбкий
Я не мог в тумане осязать.

Это — программные стихи художника, противопоставившего символистской теории соответствий полную смысловую отчетливость образа. В свое время эти стихи были вызовом философии символистов, были полным пересмотром художественных интересов. Но так же как и стихи С. Городецкого, Н. Гумилева, М. Зенкевича и др., они не были связаны с пересмотром идеологической основы символизма. Поэтому, на ряду с «обыгрываньем вещей» и реализмом стихотворений «Кинематограф», «Лютеранин» и др., мы встречаем у Мандельштама мистические мотивы:

Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,
С певучим именем вмешался,
Но все растаяло, и только слабый звук
В туманной памяти остался.

Поэт воспевает «блаженное, бессмысленное слово», «царство мертвых», «божье имя» и т. д., отдавая дань символистским теориям о потустороннем мире.

Но такие мотивы не характерны для Мандельштама. В основном его творчество идет по линии реалистического показа действительности. «Notre Dame», «Старик», «Петербургские строфы», «Tristia» и др. являются образца-

ми скупого и завершеного письма, рельефных портретов и пейзажей. Особого искусства достигает поэт в стихах последних лет, совпадающих с периодом увлечения четким пушкинским стихом и появлением группы «неоклассиков».

Стихотворения «Феодосия», «Мне Тифлис горбатый снится», «Язык булыжника мне голубя понятней» проликуты пафосом безмятежной, живущей своей особой жизнью природы, пафосом красок и форм. Здесь утверждается торжество жизни с ее эпикурейскими радостями.

Человек бывает старым,
А барашек молодым.
И под месяцем поджарым,
О розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым.

Хороши лирические миниатюры «Я не слышал рассказов Оссиана», «Я наравне с другими», «В тот вечер не гудел стрелчатый лес органа», в которых есть необычная для Мандельштама задушевность и даже страстность. В них цвета и краски подчинены целовеческой воле, а не являются фетишами, как в других стихотворениях поэта.

Мандельштам — несомненный мастер стиха. В его торжественных и медлительных строфах, в конкретных и смелых эпитетах, в зрительных образах, в тонкой мелодической инструментовке — та сложная простота, о которой мечтают многие современные эпигоны классиков.

Но значение Мандельштама для нового читателя и роль его в современной поэзии непропорциональны его большой поэтической культуре.

Не переставая совершенствоваться, как художник, он перестал ощущать динамику жизни, перестал быть современником.

Нет, никогда ничей я не был современник.
Мне не с руки почет такой,
И как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой.

Оставаться в пределах статического изображения мира, воспевать бесстрастие вещей и наименований, значит идти по пути замкнуто-субъективного творчества. И, конечно, нельзя не

пожалеть, что поэт, обладающий по длинным зрением художника, глядит как-то поверх или мимо современности.

Поэтому рецензируемая книга воспринимается, как интересное, значительное, но уже минувшее явление русской поэзии.

Мих. Рудерман

А. Завалишин. — «Пепел». Рассказы. Изд. «Недра». М. 1928 г. Стр. 181. Цена 1 р. 45 коп.

«Пепел» — не первая книга А. Завалишина. Ряд его рассказов был выпущен ГИЗ'ом в дешевых многотиражных изданиях; издательство «Недра» в прошлом году напечатало его сборник «Первый блин». Сборник нынешнего года почти целиком содержит старый, уже печатавшийся и перепечатывавшийся материал; лишь заглавный рассказ, помнится, не выходил еще в отдельном издании.

Преобладающая тема завалишинских рассказов — деревня, старая и новая; преобладающий метод — сатирический, юмористический. Но деревня дана у Завалишина в значительной степени внешне; писатель не удосуживается заглядывать в крестьянскую избу, он предпочитает показывать своих Макаров, Тимофеев, Матрен и Васек на деревенских собраниях, на заседаниях комсомола, в помещении Загса и т. п. Раскрыть внутреннюю жизнь персонажей А. Завалишина попросту не удается, между тем, выбранная для изображения ситуация часто требует такого раскрытия. В результате необоснованность, неразрешенность темы. Когда калмыцкий «поп», Кузьма Болбусун, вешается в сарае, не выдержав преследований, читатель не убежден в объективности этого самоубийства, в художественной правдивости такого конца не потому, что этого не могло быть в жизни, а потому, что автор разработал свой материал только внешне, со стороны, не показав внутренней драмы (ведь нельзя же отнести на долю психологического анализа такие общие образы как: «На калмыков смерть Болбусуна подействовала подавляюще»). Таким же художественно-случайным и

психологически неожиданным представляется и озорство комсомольца, обманувшего деревенского священника и обвенчавшегося в церкви со своим приятелем, переодетым в женское платье. В силу внутренней необоснованности изображаемое событие приобретает анекдотический характер, и юмор автора временами бывает весьма легковесным. Там же, где нет юмора, где Завалишин пытается быть трогательным, он впадает в меньшее зло — в сентиментальность; так, не пытаясь внутренним путем показать повседневный героизм самоотверженного деревенского учителя, он прибегает к испытанному приему «награждения добродетели» и «от имени губисполкома» преподносит ему «одежду, обувь и денежное пособие» («Дожил»).

И даже тот непритязательный юмор, то пристрастие к фабульной игре, в которых нельзя отказать А. Завалишину, в очень сильной мере обесцениваются растянутым и нудным языком его рассказов. После почти двух десятков страниц церковно-приходское собрание, читатель с искренним чувством присоединяется к словам Тимофея: «До каких пор волынка эта будет, истинный господь!».

Язык А. Завалишина не только трафаретен, невыразителен и растянут, — автор допускает прямые ошибки и неслучайности: создает свой собственный родительный падеж — «грязных мордвов»; экспериментируя над читатель-

ским воображением, заставляет бабу «подпереть локтем живот»; наконец, вопреки достаточно конкретным представлениям читателей о криках, издаваемых «малютками», убеждает в одном рассказе, что герой, «как малютка, глухо зарыдал». А развернутая метафора — «на площадь вылезла, как огромная блоха, пузатая гнедая лошаденка, запряженная в широкую скрипучую телегу, с махивавшую на старом пароходе» — достойна помещения в учебники, конечно, в качестве предостерегающего отрицательного примера.

Все вышеотмеченные недостатки не снимаются тем обстоятельством, что автор подчас пытается поднимать значительные и нужные вопросы (религиозная жизнь деревни, семейные отношения и пр.). Свойство искусства в том, что значительность идеологическая осуществляется в нем через значительность художественную.

Валентина Дынник.

ПОПРАВКА.

В статье Вал. Полянского о Г. В. Плеханове («Новый Мир», книга пятая) вкралась опечатка:

На стр. 228 напечатано:

«К концу XIX века буржуазия стала отходить от империализма и повела с ним ожесточенную борьбу».

Следует читать:

«Стала отходить от материализма».